ДЕРИБАСОВСКАЯ РИШЕЛЬЕВСКАЯ

АЛЬМАНАХ

ОДЕССКИЙ

27

ОДЕССА, 2006

ББК 84(4Укр-4Оде-2Од)63-47я430+63.3,014(4Укр-4Оде-2Од)63я430
Д 362
УДК 821.161.2'06=161.1(477.74-21)-92(082.1)+908(477.74-21)(09)"452.2"

Д 362 Дерибасовская — Ришельевская: Одесский альманах (сб.) / кн. 27 Всемирн. клуб одесситов: Сост.: Ф.Д. Кохрихт, Е.М. Голубовский, О.И. Губарь. — Одесса: "ВМВ", 2006. — 320 с.

ISBN 966-8099-99-0

Д $\frac{4702640204}{2004}$ $\frac{0503020902}{2004}$

Редактор Феликс Кохрихт
Редколлегия: Евгений Голубовский (заместитель редактора)
Олег Губарь

Редакционный совет:
Виталий Амурский (Париж), Андрей Добролюбский, Игорь Коваль, Татьяна Липтуга, Игорь Померанцев (Прага), Аркадий Львов (Нью-Йорк), Александр Мардань, Юрий Стоянов (Санкт-Петербург), Михаил Рашковецкий, Нелли Харченко (Берлин), Кармелла Цепколенко.
Фото:
Вячеслав Теняков, Иван Череватенко, Олег Владимирский.

Editor Felix Kokhrikht
Editorial board: Yevgeniy Golubovsky (deputy editor)
Oleg Gubar

Editorial council:
Vitaliy Amoursky (Paris), Andrey Dobrolyubskiy, Igor Koval, Tatyana Liptuga, Igor Pomerantsev (Prague), Arkadiy Lvov (New York), Alexander Mardan, Yuriy Stoyanov (St. Petersburg), Mikhail Rashkovetsky, Nelly Kharchenko (Berlin), Karmella Tsepkolenko.
Photos by:
Viacheslav Teniakov, Ivan Cherevatenko, Oleg Vladimirskiy

ISBN 966-8099-99-0
© Авторство художественных текстов, 2006

От редакции

На финише 2006 года в Одессе побывал Атос, вернее, его воплощение, созданное Вениамином Смеховым в фильме Георгия Юнгвальд-Хилькевича "Три мушкетера". Блистательный актер, писатель, режиссер, он собрал в зале Русского театра поклонников своего таланта. Тем, кто постарше, посчастливилось ранее видеть Смехова в роли Воланда на сцене Таганки, но всем нам запал в душу его Мушкетер, в котором с истинно французским шармом слились ипостаси отважного солдата Атоса и романтического аристократа графа де Ла Фер.

В полном соответствии с периодизацией романов Александра Дюма Смехов приезжает в Одессу то 20, то 10 лет спустя... Это смотря от какого года считать. В далекие нынче 50-е он – московский мальчик – проводил каникулы на Ланжероне. Веня гостил у тети – сестры матери, Марии Львовны, детство которой прошло в Одессе. В 70-е Смехов снимался здесь в "Трех мушкетерах". В 1991 приезжал на озвучивание продолжения "Мушкетеров"...

В 1996 году один из членов редколлегии нашего альманаха был соучредителем международной научной конференции "Реалии и мифы Одессы", которая проходила в Гриннелл-колледже (США). Тамошние русисты, влюбленные в литературу Юго-Запада, сумели пригласить в штат Айова крупнейших специалистов – историков Одессы (упомянем лишь авторитетнейшую Патрицию Херлихи), потомка князя М.С. Воронцова американского профессора Александра Воронцова-Дашкова, писателя Аркадия Львова.

Доклады и сообщения были посвящены истории города, выдающимся литераторам, деятелям искусства и науки, родившимся или работавшим в Одессе. Сюрпризом стал спектакль по пьесе Исаака Бабеля "Закат", поставленный силами студентов-театроведов под руководством Вениамина Смехова, преподававшего тогда в колледже. Ребята из разных штатов с чертами разных этносов, населяющих США, каким-то образом сумели проникнуть в суть и смысл семейной трагедии, случившейся давным-давно на неведомой им Молдаванке, в Одессе, но не одной из американских, а далекой, расположенной на берегу Черного моря...

В нынешний приезд Вениамин привез в Одессу диск с начитанными им рассказами Бабеля и изысканную книжицу "Эйфоризмов", среди которых есть и такой:

"В компании одесситов я чувствую себя гостем с совещательным голосом".

Памятуя о скромности Атоса и гордыне графа де Ла Фер, мы выписали Патент на право Решающего Одесского Голоса лично В.Б. Смехову. На 20 и 10 лет вперед.

Александр ТРЕТЬЯК

Канцлер Александр Воронцов о монопольной компании

В наши дни, пожалуй, трудно представить себе то время, когда Украину без тени лукавства называли "житницей Европы". Что ж, двадцатый век, одаривший нас сверхмонопольной государственной экономикой, или, выражаясь современным сленгом, — "тотальным огосударствлением", превратил реальные факты века девятнадцатого в некий миф, о котором вздыхают, но не осознают как реальность.

Между тем факты эти отнюдь не миф. И то, что по свидетельству официальной статистики середины XIX в. южноукраинские черноморские порты имели в иностранной торговле отношение более 30% экспорта, где львиную долю занимал вывоз хлеба, и лишь 10% импорта от всего товарооборота империи, говорит о многом. О таком положительном сальдо в те времена мечтала любая страна мира, в том числе динамично развивавшиеся США, Канада и Австралия.

Но вот что интересно. Если сравнивать товарооборот черноморских портов (а именно этот показатель лучше всего отражает экспортно-импортные операции украинских территорий в целом) с аналогичным оборотом других регионов Российской империи в первой половине XIX в., то увидим — темпы развития первых, как минимум, в три раза выше. Причем это касается не столько сухопутной торговли, к слову, весьма незначительной в масштабах страны, сколько традиционных центров иностранной торговли в Белом и Балтийском морях, в частности, в Архангельске, Риге и Санкт-Петербурге.

Среди факторов поразительных успехов "юных портов" Черного моря, не имевших аналогов ни в европейском, ни в мировом масштабе, один из определяющих — отсутствие монополии во внешней торговле, которая велась через одесский, херсонский, николаевский, феодосийский и другие черноморские порты. Собственно, южная торговля и проектировалась на высшем политическом уровне второй половины XVIII века как альтернатива северному пути, практически полностью монополизированному англичанами. Более 70% всех экспортных операций через крупнейшие балтийские порты осуществлялись английскими купцами. Причем согласно Навигационному акту, на английских же судах. Это позволяло Англии с огромной выгодой для себя реэкспортировать жизненно важные товары из Восточной Европы в другие страны. И отказываться от преимуществ

своего монопольного положения "всемирного перевозчика" Великобритания, разумеется, не собиралась. "Сия земля, — писал в 1786 году в донесении российский посланник в Лондоне С.Р. Воронцов о перспективах дальнейших торговых отношений с Англией, — так привыкла делать торговые условия с прочими народами в единственную свою пользу, без всякой взаимности оным, что, будучи избалована незнанием их дел торговых, она неохотно на взаимные выгоды решится".

Между тем к выходу на стратегически важный восточноевропейский рынок посредством прямого морского пути через южноукраинские черноморские порты стремились практически все средиземноморские страны. В этом отношении показательны слова французского премьер-министра Вержена, сказанные им российскому представителю князю Барятинскому в 1776 году: "Ваше свободное мореплавание из Черного моря в Средиземное может быть полезно и для непосредственной торговли между Россией и Францией. Вы не можете себе представить, как бы много мы взаимно выиграли при непосредственной торговле от одного только перевоза, за который переплачиваем англичанам и голландцам". Помимо Франции аналогичное понимание перспектив и огромных эвентуальных возможностей торговли через порты Северного Причерноморья было и в Испании, Австрии, Португалии, итальянских государствах.

О том, что это было не сиюминутное движение, но именно долгосрочные планы, свидетельствует также письмо Наполеона Александру I, датированное февралем 1802 года: "Государство Вашего величества и Франция, — писал Наполеон, — приобрели бы много выгод, если бы открылась прямая торговля между нашими портами на Средиземном море и Россией через Черное море. У Екатерины был такой план. То было бы одно из самых полезных торговых движений: оно самое прямое и пошло бы по морям, всегда доступным плаванию между владениями Вашего величества и Францией. Мы могли бы везти из Марселя прямо в порты Черного моря произведения наших колоний и мануфактур, а взамен получали бы хлеб, лес и другие товары, легко доставляемые по большим рекам, впадающим в Черное море".

Получить монопольные права в черноморской торговле, аналогичные английским в Балтийском море, было естественным политическим фоном всех, в том числе экономических, планов Наполеона. И не только его. Ярким примером этому может служить поступивший в начале XIX столетия в правительство Российской империи проект создания в Генуе торговой компании, предназначенной для прямой торговли с черноморскими портами. Ввиду слабого понимания вопроса и, вероятно, не без помощи

некоторых корыстолюбивых чиновников, проект был уже фактически подготовлен для высочайшего утверждения, если бы не попал к канцлеру Александру Романовичу Воронцову.

Один из наиболее компетентных политических деятелей и экономистов своего времени, граф Александр Воронцов еще в царствование Екатерины II занимал пост президента Коммерц-коллегии и как никто другой был искушен в вопросах внутренней и внешней торговли. Сторонник фритредерства, Воронцов справедливо полагал, что распространение отсталого уклада внутренних губерний на так называемые "вновь присоединенные" пагубно для интересов государства. А потому он использовал возможность изложить свои взгляды молодому императору по ключевому вопросу для будущего всей черноморской торговли. В записке на имя Александра I, озаглавленной "Мнение государственного канцлера графа А.Р. Воронцова о Генуэзской компании", датированной 1803 годом, он впервые на столь высоком уровне четко и лаконично сформулировал основные принципы подхода к развитию иностранной торговли в Северном Причерноморье. По сути, данный документ можно рассматривать как блестящий хрестоматийный пример антимонопольного направления, и не только в отечественной истории.

В начале записки Воронцов изложил свое понимание правительственного подхода к иностранной торговле в Тавриде — так в то время именовались территории нынешней Южной Украины. По сути, эти положения сводились к следующим тезисам: свобода иностранцев в Тавриде; безопасность имущества и личности; соответствие качества товаров; свобода продавать и покупать; скорое и справедливое решение спорных дел. "Сие то суть пособия, — заключал данную преамбулу Воронцов, — кои правительство обязано дать иностранным (купцам) и как они желать могут, а отнюдь не монополии".

Создание Генуэзской компании преследовало цель получить такие семь привилегий:

"— Ей одной уступать треть пошлины.

— Ввозить все без изъятия итальянские товары и произведения беззапретно.

— Освободить от досмотра товары.

— Отсрочивать платеж пошлины за покупаемые компанией земные произведения.

— Корабли ее прежде всех нагружать и выгружать.

— Дозволить в случае надобности в каком-либо порту империи строить новые конторы и магазейны и на то сверх пособий, буде возможно, давать землю.

— Позволить ее поверенным и на починку кораблей требовать из адмиралтейств все, что потребно будет за наличные деньги".

"Если сих требований истолковывать прямой смысл, — писал Александр Романович, — то выходит:

— Наградить компанию третью пошлины в ее монополию за то только, что она будет в Генуе и положат в нее вклад итальянские капиталисты.

— Ей же разрешать провоз контрабанды.

— Досмотры товаров отменить.

— Пошлины брать в такое время, когда заблагорассудит компания их платить.

— Остановить выгрузку и нагрузку всех кораблей, чтоб делать предпочтение ее кораблям.

— Во всех портах российских, где захочет она, строить ей конторы и магазины собственные, т. е. — везде завести свое поместье.

— Из адмиралтейств сделать меной ее магазин".

Уже факт того, что проект со столь откровенным монопольным подходом мог появиться на высшем политическом уровне империи, свидетельствует о тех непростых условиях, в которых пыталась провести изменения небольшая группа реформаторов. Естественно, у такого опытного и искушенного в коммерческих делах человека, как Александр Воронцов, познания и талант которого высоко оценивали еще Вольтер и У. Питт, проект не мог не вызвать самой негативной реакции. "Не токмо умеренности, — писал он в своем мнении, — но никакой пристойности в означенных требованиях нет. Возможно ли, чтоб в пользу одной компании иностранной стеснить торг всех иностранцев, истребить их между собою совместничество, существенную пользу нашей торговли составляющее, не говоря уже о других странных затеях прожектеров, и все сие сделать только для того, что капиталисты складываются в Италии? Они сверх того хотят, чтоб им за столь острую выдумку платили. Не знаю, не за пропойцев ли они нас почитают".

Заметим, что мощная политическая поддержка складывающимся интеграционным процессам в Северном Причерноморье была оказана в тот момент, когда политическая нестабильность в Европе сплошь и рядом порождала насильственные, искусственные монополии в торговом обмене. И можно утверждать, что принципиальное отступление от фритредерства неминуемо привело бы черноморские порты в состояние зависимости от колебаний в более крупной политической игре, где им отводилась бы роль заложника. Если бы монополия Генуэзской компании в торговле через Черное море была таки установлена, диктат Франции был бы неизбежен, ибо Северная Италия уже подчинялась Наполеону. Печальная судьба большинства портовых городов Балтийского и Средиземного морей в период континентальной блокады яркое тому подтверждение.

И наоборот — именно с этого времени начинается поразительное по своим масштабам развитие одесского порта как главного на Черном море. Купцы из Греции, Испании, Франции, Италии, Австрии, Турции и других государств могли в полной мере убедиться в преимуществах свободы торговли, извлекая прибыль на взаимовыгодных условиях в рамках свободной конкуренции. Кстати, значительную роль в черноморской торговле играли негоцианты практически всех итальянских государств, и Генуи в том числе. Не случайно бурное развитие средиземноморско-черноморских торговых операций хронологически совпало с началом объединительных процессов в Италии периода Рисорджименто, предоставляя им существенную экономическую базу. Это был тот классический случай, когда ни экономические, ни социальные, ни политические интересы не противоречили друг другу, но строились в рамках цивилизованных процессов.

Источники

1. Архив внешней политики России, ф. Сношения России с Англией, д. 363, 424, 451, 630.
2. Центральный государственный архив древних актов [ЦГАДА], ф. 1261, оп. 1, д. 23, 27, 31, 613, 625, 655, 701, 751. 761, 79О, 840, 2345. 2926; оп. 3, д. 723, 1432, 1483.
3. Государственный архив Одесской области, ф. 2. оп. 1, д. 4.
4. Отдел рукописей и редкой книги Одесской государственной научной библиотеки им. А.М. Горького, оп. 1, д. 54, 58. 60, 62.

Литература

1. Архив князя Воронцова. Тт. 1-40. М., 1870-1895; Роспись сорокам книгам Архива князя Воронцова с азбучным указателем личных имен. — М., 1897.
2. Antoine, baron de St. Joseph. Essai historique sur le commerce et la navigation de la mer Noire. — P., 1805.
3. La Cour de Russie il y a cent ans, 1725-1783. Extraits des depeches des ambassadeurs anglais et francais. — Leipzig-Paris, 1860.
4. Documents of Modern History. The Great Powers and the Near East. 1774-1923. / Ed. by M.S. Anderson. — L., 1970.
5. (Ribas) Saggio sulla citta di Odessa e altri documenti dell archivio di stato di Napoli / A cura di G. Moracci. — Genova, 1988.
6. Берти Дж. Россия и итальянские государства в период Рисорджименто. — М., 1959.
7. Дружинина Е.И. Возникновение городов на Юге Украины и в США: общее и особенное // Новая и новейшая история. 1976. № 2.
8. Миронов Б.Н. Хлебные цены в России за два столетия (XVIII-XIX вв.). М.-Л., 1985.
9. Bouloisseau M. Les archives Voronsov // Revue historique. 1963. V. 230. P. 121-130.
10. Herlihy P. Russian Wheat and the Port of Livorne, 1794-1865 // Journal of Economic History. 1976. № 1. P. 45-68.
11. Walter F. England and France in the Mediterranean, 1660-1830. — L., 1970.

Роман БРОДАВКО

Иван Ризнич, внук Ризнича

Имя Ризнича, крупного негоцианта и многолетнего директора Одесского городского театра, связано с воронцовской эпохой. Однако не только его имя осталось в отечественной истории, но и имя его внука, тоже Ивана Ризнича, одного из первых офицеров подводников.

Старший Ризнич, Иван Стефанович, серб по национальности, родился в Триесте в 1792 году. В 1822-м приехал из Вены в Одессу, где основал контору по хлебному экспорту. Энергичный, хорошо образованный, владевший несколькими языками, увлекавшийся музыкой и театром коммерсант занимал в Одессе видное положение. Вскоре Ризнич принял русское подданство, получил дворянство и чин статского советника. Его первая жена Амалия — адресат известных стихотворений Пушкина "Простишь ли мне ревнивые мечты", "Все кончено", “Ночь”, многих строф "Евгения Онегина".

Второй женой Ивана Ризнича стала Паулина Ржевусская, одна из дочерей киевского генерал-губернатора Адама Ржевусского. Она была родной сестрой Каролины Собанской, Эвелины Ганской и Алины Монюшко, жены брата известного польского композитора. Судя по всему, брак был счастливым. В тридцатые годы Ризнич уехал из Одессы и в дальнейшем служил директором киевской конторы коммерческого банка. Его дети в истории следа не оставили. Однако младший сын "одесского" Ивана Ризнича, тоже Иван, стал отцом одного из первых российских героев-подводников.

Мальчика, который родился 19 января 1878 года, в честь деда и отца нарекли Иваном. Иван Ризнич-"третий" окончил Морской кадетский корпус и с 1895 года служил на Черноморском флоте на эскадренном броненосце "Синоп", на минном крейсере "Гридень", на крейсере II ранга "Память Меркурия", на броненосце "Георгий Победоносец". На двух последних кораблях Иван Ризнич нес службу в должности водолазного офицера и, вероятно, это обстоятельство привело его в 1904 году к стажировке на "Дельфине" — первой русской субмарине. Затем офицер Ризнич принял на стапеле Невского завода новую подлодку "Щука" — в то время серии подводных судов давали "рыбные" имена. После "Щуки" в послужном списке Ивана Ивановича значатся лодки "Лосось" и "Белуга", но наибольших успехов офицер достиг на лодке "Стерлядь". На ней он сумел в шторм перейти из Либавы в Ригу без кораблей сопровождения, что по

тем временам считалось большим достижением. Обобщая свой опыт, Ризнич написал брошюру "Подводная лодка "Стерлядь", которую современники высоко оценили как первый учебник по практике подводного плавания.

В 1907 году в Либаве капитан I ранга Э.Н. Щаснович организовал учебный отряд подводного плавания. Подводная мощь России начиналась именно с этого отряда. Щаснович лично отобрал в его состав 7 офицеров и 20 матросов. И.И. Ризнич был зачислен в отряд на должность обучающего. Во время службы в учебном отряде он составил первый "Словарь командных слов по управлению подводными лодками". Поход любой российской лодки начинается с команды "По местам стоять. К погружению!", и поскольку известный тост подводников требует абсолютного равенства числа погружений числу всплытий, то и заканчивается всякий поход командой "По местам стоять. К всплытию!". Автор этих команд — Иван Ризнич.

В начале первой мировой войны лейтенанта Ризнича назначили командиром подлодок специального назначения. Это были корабли маленького, всего 35 тонн водоизмещения. Базировались лодки в Пярну и боевых действий не вели. В 1916 году дивизион вообще разбросали по разным морским театрам, и Ризнич с флагманской лодкой оказался на Дунае, в городе Рени.

В годы первой мировой войны Ризнич совершил подвиг, который вошел в историю подводного плаванья. В сентябре 1914 года с итальянской верфи "Фиат" была угнана малая подлодка, строившаяся по заказу России. Однако по прибытии в Аяччо (Корсика) она была арестована французскими властями и возвращена на верфь. Одно время правительство Италии планировало реквизировать эту подлодку для нужд собственного флота, но фирма "Фиат" построила для ВМС Италии несколько крупных подлодок, и к 1917 году нужды в малых лодках уже не было. В это же время российский морской генеральный штаб решил принять у итальянцев подлодку и уже с российским экипажем направить ее на русский Север, для защиты Кольского залива. Вскоре в итальянском городе Специя появились моряки под командованием старшего лейтенанта И.И. Ризнича. Лодке дали имя "Святой Георгий", и 13 июня 1917 года она покинула Специю. После захода в Геную корабль взял курс на Гибралтар. Начиналась опаснейшая одиссея, которая требовала выдержки, мужества и глубоких знаний.

Уже в океане на корабле вышел из строя мотор-генератор компаса. Тогда же была сделана запись в навигационном журнале: "Зайдя за мыс Сан-Винсент, встретили свежий норд. Зыбь крупная, сильно заливает.

Подводная лодка принимает много воды"... Однако командиру удалось вывести "Святого Георгия" из штормовой полосы и благополучно привести его в Лиссабон. На рейде этого города лодка стала 6 июля. После Лиссабона предстоял самый опасный участок маршрута — переход в Англию. Шла война, и все подходы к Британским островам блокировались немцами. Пять суток русская лодка пробивалась через штормовой Бискайский залив. Морякам откровенно везло: удачно обошли минные поля, и однажды торпеда, пущенная кайзеровской подлодкой, прошла у них за кормой. 24 августа "Святой Георгий" оставил главную базу британского флота в Скапа-Флоу и взял курс к норвежским берегам. У мыса Нордкап подлодка попала в жестокий шторм. Кое-кто из команды уже начал переодеваться в чистое белье, готовясь принять смерть в океане, но капитан сохранял присутствие духа, внушая команде уверенность, что положение небезвыходное. В результате моряки под командованием Ризнича переборолись стихию. 9 сентября они прибыли в Архангельск.

Командование высоко оценило подвиг командира и экипажа. Все участники похода были награждены медалями, а И.И. Ризнич — орденом Святого Владимира 4-й степени с мечами и с бантом, его также повысили в звании — он стал капитаном II ранга.

В ноябре 1917 года, когда произошла Октябрьская революция, "Святой Георгий" стоял на ремонте в Архангельске. 17 февраля 1918 года его экипаж перешел на сторону советской власти, корабль переименовали в "Коммунар". Капитана Ризнича от командования отстранили. Уже в августе того же года город оккупировали войска Антанты, и команда подлодки увела "Коммунар" вверх по Северной Двине, где, к слову, и посадила на мель. После того как большевики возвратились в Архангельск, лодку попытались ввести в строй, но к этому времени она уже морально устарела, и ее передали ЭПРОН, которая некоторое время использовала лодку в качестве судоподъемного понтона, а затем вообще разрезали на металл.

Кавторанг Ризнич до 1918 года находился в Архангельске. Дальнейшая судьба офицера неизвестна. По одной из версий, он погиб в Шанхае летом 1923 года, когда пытался вернуть в Россию угнанное в Китай русское торговое судно.



Олег ГУБАРЬ

"Одесские катакомбы"
Сценарий с комментарием

В одесском издательстве "Зодиак" подготовлена к выпуску новая книга Олега Губаря – комментированный и иллюстрированный сценарий историко-приключенческого фильма "Одесские катакомбы". В данный момент ведутся переговоры с известными московскими режиссерами об экранизации этого сценария. Предлагаем вниманию наших читателей комментарий, воссоздающий исторические реалии Одессы образца 1871-1873 годов, на основании которых и написана эта книга.

Комментарий

В 1874 году в Санкт-Петербурге была издана авантюрно-приключенческая мелодрама В. Правдина "Одесские катакомбы". Книга очень скоро появилась в Одессе, раскупалась нарасхват и наделала много шуму ("Одесский вестник" от 9 и 25 октября 1874 года, 2 июля 1875 года и др.). В чем же причина того, что откровенно слабый роман, дилетантское подражание знаменитым "Парижским тайнам" Эжена Сю и "Петербургским трущобам" Всеволода Крестовского, вдруг сделался бестселлером, причем в городе хотя и преимущественно мещанском, однако ж одном из самых читающих в Российской империи? Мало того, книга заинтересовала даже немало столичных книголюбов, не говоря уже о провинциальных.

Причин несколько. Прежде всего, конечно, разнообразная, на любой вкус, экзотика. С пушкинских времен наслышанная об этнически пестрой, пряной, не вполне российской Южной Пальмире, читающая публика и не подозревала о наличии в ней еще и загадочного "подвального этажа" — протяженных подземных выработках, габаритами значительно превосходящих широко разрекламированные парижские и римские катакомбы. К тому же мрачные подземелья эти, как оказалось, кишмя кишели преступным элементом, прибравшим благодаря своим агентам во всех социальных институциях и верхние, наземные, этажи, по существу, весь город. Можно смело утверждать: книга сделала катакомбы одним из первостепенных одесских брендов на долгие времена.

В последующие годы появились многочисленные подражания уже самому В. Правдину — и, между прочим, того именно П.А. Гроссула-Толстого ("Одесские тайны", 1885), редактора "Новороссийских ведомостей", коего автор "Одесских катакомб" вывел под именем толстяка Бросулова. Но дело

не только в экзотике ретроспективной "мыльной оперы" — с традиционными переодеваниями и перелицовкой персонажей, пылким воссоединением семей после 30-летней разлуки, сюжетами о невольничьих рынках и гаремах в духе "Анжелики", томных до упаду красавицах, похищениях невест и опереточных злодеях, то и дело разражающихся сатанинским хохотом, и проч. Читатель одесский сразу приметил отменное знание никому не известным дотоле В. Правдиным всех без исключения местных реалий, каковых он касается. Идет ли речь о топографии и топонимии самого города, его рельефе, административных структурах, хлеботорговле, достопримечательностях, домовладельцах, расположении каменоломен, криминальной хронике и т. д., он везде проявляет удивительную осведомленность.

Самое пикантное — в романе запросто узнаваемы многие персонажи, фамилии которых легко прочитываются в прозрачных псевдонимах, а то и вообще упоминаются в оригинале. И что это за люди! Городской голова, известнейшие думцы, банкиры, предприниматели, издатели, в большинстве своем представленные как бы негативной карикатурой. После подобного "разоблачения", что называется, загорелись шапки. Книгу рьяно охаивали во всех местных СМИ и, несомненно, было за что. Но все же журналисты нет-нет, да и роняли фразу о некоей доле истины, содержащейся даже в этакой "грязной луже" ("Одесский вестник" от 3 ноября 1874 года). Через год с небольшим роман переделали в драму, и в Одессе было дано два спектакля при полном аншлаге: явственно ощущался скандальный привкус ("Новороссийский телеграф" от 25 января 1876 года). Премьера "драмы в пяти действиях" состоялась 21-го, а следующий спектакль — 24 января 1876 года в Русском театре ("Одесский вестник" от 17 января, "Новороссийский телеграф" от 21 и 24 января 1876 года).

В 1885-1890 годах, как было сказано, появилось несколько книг и брошюр-подражаний (в том числе — "Подземная Одесса 25 лет назад" Ф. Иванова, 1890), а в 1900-м, то есть через 26 лет после первой публикации (!) автор дважды переиздал свой роман, причем снова в столице. Оба переиздания, что показательно, назывались "Одесские трущобы", как бы отсылая к популярной книге Крестовского. В одном из переизданий — подзаголовок "Подземный город", в другом — "Граф Брендостели" ("Каталог Одесской городской публичной библиотеки", т. 1, 1901; сами книги в фондах библиотеки не сохранились). И снова, несмотря на все, книжки мгновенно разошлись, и на сегодняшний день сделались библиографической редкостью. Наконец, уже в начале 1910-х роман Правдина экранизировали ("Одесская почта" от 8 сентября 1913 года и др.).

Кто был автором сценической версии, в точности не известно. В одном из газетных анонсов спектакля указано лишь, что это кишиневский житель ("Новороссийский телеграф" от 9 января 1876 года), а в другом уточняется, что это некий "доктор И." ("Новороссийский телеграф" от 14 января 1876 года). Знаменательно, что в период подготовки этой постановки в Одессу из Санкт-Петербурга приезжал и сам автор "Одесских катакомб" ("Одесский вестник" от 19 ноября 1875 года).

Сценарий театрального варианта не сохранился и, судя по отзывам прессы ("Новороссийский телеграф от 29 января 1876 года и др.), жалеть об этом особо не приходится. Тем не менее, лично я печалюсь о такой потере, поскольку переделка явно осуществлялась под надзором или при участии самого автора. А стало быть, мы могли бы иметь какую-то дополнительную информацию сверх имеющейся непосредственно в романе. Так или иначе, я самонадеянно решил воспользоваться исходным текстом В. Правдина — написать свой сценарий "Одесских катакомб", очень и очень приблизительно используя кое-какие его сюжетные линии, а больше эксплуатируя собственные эрудицию и фантазию. Думаю, что имею на это некоторое право, поскольку иезуитски скрупулезно занимаюсь историко-бытовой проблематикой уже более трех десятилетий.

При написании преследовалось и выполнялось одновременно несколько задач. Во-первых, историко-бытовой фон максимально приближен к реальному на основании всех имеющихся исторических первоисточников. Во-вторых, в этом варианте более рельефно проявляется личность самого В. Правдина, разложенная на двух сценических персонажей. В-третьих, с моей отстраненной позиции легче непредвзято оценивать реальные ретроспективные события. Наконец, дозированность мелодраматической составляющей и иронического фарса, их чередование — на пользу качеству и динамике текста, а равно — современному его потребителю.

В сочетании с настоящим комментарием этот новый текст представляется занимательным первоисточником о быте и нравах Одессы конца третьей четверти XIX столетия. Тем более что подлинным автором исходного романа был не кто иной, как В.М. Антонов — бывший одесский городской полицмейстер ("Новороссийский календарь на 1872 год", Одесса, 1871; "Новороссийский календарь на 1873 год", Одесса, 1872), длительное время находившийся под следствием за якобы служебные злоупотребления. На самом деле пришлый правдолюбец — человек честный, прямолинейный, добрый, но вспыльчивый, к тому же по-российски косный, с определенными и довольно устойчивыми великодержавными преду-

беждениями — категорически не вписался в специфический контекст совершенно нетипичного для России, поистине средиземноморского города.

Антонову был не по нраву полиэтнический, левантийский уклад, "торгашеский дух" Одессы, которую он порой воспринимал неадекватно, гипертрофированно. Он не был готов к неторопливой, последовательной, кропотливой и деликатной работе. Его, собственно говоря, и прислали из Петербурга после известного еврейского погрома 1871 года (Олег Губарь, "Весы и меры старой Одессы", Одесса: "Мигдаль", 2005, сс. 3-21) наводить порядок автократическими, тоталитарными методами. Новому полицмейстеру недоставало гибкости, дипломатичности, знания местных традиций. Развернув масштабную и, как ему казалось, бескомпромиссную борьбу с криминалитетом, коррупцией и тем, что принято теперь называть мафиозными кланами, он порой выказывал нетерпение, волюнтаризм, рубил с плеча. В результате рассорился со многими влиятельными горожанами, в том числе, конечно, и с настоящими казнокрадами и нарушителями закона, нажил много врагов, был оклеветан, необоснованно обвинен во взяточничестве, прочих прегрешениях и выдавлен из Одессы. Сейчас бы выразились столь же просто, сколь и вульгарно: полицмейстера подставили. Впрочем, отчасти в этом повинен и он сам, точнее, его чересчур эмоциональная натура.

"Одесские катакомбы" — специфическая метафора — всплеск эмоций оскорбленного человека, в какой-то степени его месть коррумпированной, погрязшей в пороках "приморской Гоморре", своеобразная сатисфакция. Впрочем, мы теперь в состоянии разделить мух и котлеты, эмоции и факты, реальных и вымышленных героев, колорит фактический и фантастический, придуманный и живой город.

Несколько слов о реальных событиях, связанных с удалением Антонова из Одессы. Суть дела, в первую очередь, заключалась в изменении новым полицмейстером технологии полицейского надзора за проституцией и домами терпимости. Прежде выдачей так называемых желтых билетов занимались участковые приставы, а затем таковая перешла в ведение городского управления полиции ("Одесский вестник" от 18 июня 1872 года). То есть многие чины на местах лишились изрядной доли незаконных доходов. Выдача медицинских билетов и свидетельств содержательницам соответствующих заведений сконцентрировалось в руках коллежского регистратора Болотова, каковому Антонов безгранично доверял ("Одесский вестник" от 30, 31 октября, 1 ноября 1873 года и др.). Желая косвенно скомпрометировать полицмейстера, определенные круги сфабрикова-

ли дело, обвиняя Болотова в коррупции и притеснении особ, причастных к организации проституции.

На суде кое-кто из "обиженных" полицейских чиновников, "погибших, но милых созданий" и содержательниц домов терпимости занимались лжесвидетельством, утверждая, что Болотов незаконно и широкомасштабно взимал деньги за выдачу медицинских билетов, получал взятки от приставов и содержательниц "веселых домов", принуждал к поступлению в эти дома такую-то и такую-то даму и проч. Не исключено, конечно, что он и в самом деле получал какие-то мелкие дивиденды — это было тогда делом вполне обыденным. Но историю предумышленно раздули именно для того, чтобы бросить тень на Антонова, ибо у обывателей должно было сложиться впечатление, будто Болотов делился со своим покровителем. И даже однозначные уверения свидетелей о том, что Антонов был не в курсе дела, работали против полицмейстера, поскольку как это в таком случае главный страж порядка не видит безобразия, творящегося под самым его носом? Относительно мягкий приговор 16-ти присяжных Болотову — ссылка на два года в Тобольскую губернию — говорит о том, что вина его весьма сомнительна. Хотя определенная заслуга в достижении позитивного результата, несомненно, может быть зачтена и адвокату, присяжному поверенному, впоследствии известному думцу Якову Исаевичу Вейнбергу. Тем не менее, интрига сработала, Антонов сам подал в отставку, распродал кое-что из принадлежавших ему вещей ("Одесский вестник" от 14 февраля 1873 года и др.) и уехал в Петербург.

Характерен газетный комментарий "Дела Болотова" и всей истории. И если уж тогдашняя подцензурная пресса не убоялась расстилать столь отвратительно грязное белье полицейских чиновников, можно себе представить, как скверно обстояли реальные дела. "В Одессе считается до 52 домов терпимости... Вот почему Антонов... прежде всего обратил внимание на установление системы надзора за проституцией. От его юркого глаза не могли укрыться злоупотребления... На основании этого... он предложил участковым приставам прекратить выдачу билетов проституткам и сосредоточить ее в управлении. Легко понять, что подобное распоряжение не могло быть по сердцу участковым приставам". Разумеется, продолжает автор комментария, прежняя децентрализация была им на руку. Назревал антагонизм участковых и управления. Приставы наняли подставных свидетелей. Так, фигурирующая в процессе свидетельница Милютина — интимная подруга двух немалых полицейских чинов ("Одесский вестник" от 3 ноября 1873 года).

Желая раз навсегда покончить с коррупцией в полиции, Антонов прибегнул к невиданной чистке ее рядов, причем дошел до того, что выписал из столицы 100 тамошних полицейских чинов с незапятнанной репутацией для замещения в Одессе должностей околоточных, городовых и др. ("Одесский вестник" от 1 февраля, 27 мая 1872 года и др.); реально оттуда прибыло 56 человек, из которых к июлю 1873 года в штате осталось только шесть ("Одесский вестник" от 27 и 29 марта 1874 года). Он стал активно препятствовать перекупке хлеба, по сути — рэкету на въезде в пределы градоначальства, способствовал учреждению технико-полицейского надзора за катакомбами ("Одесский вестник" от 10 февраля 1872 года) и т. д. Все это усугубило и без того негативное отношение к "новой метле" не только тайного и явного криминалитета, но и большинства подчиненных "городового полицмейстера", его коррумпированных коллег. Исход дела был предопределен.

Не стану приводить чудовищно гадкие, прямо скажем, подробности личной жизни и быта очень многих обитателей старой Одессы. Поразительно другое — как здорово напоминает этот давний сюжет нынешние криминальные телесериалы! Ознакомившись с публикуемым вариантом "Одесских катакомб", вы удивитесь тому, что за 130 с лишним лет ровно ничего не изменилось в нашем благословенном городе. Впрочем, и тогда, как и теперь, были в нем достойные люди — одесситы, для которых слова *совесть* и *честь* — не пустой звук.

Остается указать прототипы некоторых персонажей. Полицмейстер Чернов и следователь Карачаев — сам автор, Антонов, как бы двуликий Янус. Врач Розен — реальная фигура, правда, на самом деле он был не немцем, а евреем. Де Борзей — определенно предприниматель Де Азарт, причастный к целому ряду проектов благоустройства. Бросулов — редактор "Новороссийских ведомостей" Гроссул-Толстой. Харин — небезызвестный предприниматель и общественный деятель Хари. Банкир Штейн — судя по всему, крупный предприниматель и думец Бернштейн. Копфвилль — образ собирательный, в котором просматриваются черты одного из устроителей водопровода Вильгельма Швабена и одновременно некоторых думцев, получавших от него взятки. Кучинский — участковый пристав Бучинский. Проданаки — полицмейстер Минчиаки, сменивший Антонова и вступивший в должность 7 февраля 1873 года ("Одесский вестник" от 10 февраля 1876 года). Фортацци — купец первой гильдии Федор Кортацци, брат бывшего городского головы и английского консула Джеймса Кортаццини, как и Антонов, павшего жертвой интриг. Полодузов — из-

вестный предприниматель и думец болгарского происхождения Палаузов. Гермаген Пацали — реальное лицо, содержатель заведения "Суэцкий канал" (бывший "Тамбринус", и это было первое трактирное заведение с подобным названием в Одессе, явившееся задолго до воспетого Куприным), правда, на самом деле его звали Герасим. Коколова, остальные содержательницы "веселых домов" и все "погибшие, но милые создания" — реальные лица. Болотов — как было сказано, тоже реальное лицо, как и его предшественник Трофимов, секретари управления городской полиции. "Метресса Страхова" — образ явно собирательный, однако определенно несет в себе какие-то черты увядающей Ариадны Папудовой. Данилкин — реальный фигурант уголовного дела, убитый в катакомбах. Любашов — одессит, подвергшийся разбойному нападению на Польском спуске.

Все, что касается городской топонимии, имен домовладельцев и быта в целом, исторически абсолютно достоверно, в том числе названия улиц, площадей, гостиниц, трактиров, ресторанов, кофеен и др., "именные" здания и катакомбы — Бирюкова, Микулича, Пишона, Роннеса, Институтская, Михайловская, Барятинская и др. Эпизоды "экспорта женщин" через Одессу тоже совершенно реальны: по оному факту в 1860-1890-е годы заведен целый ряд уголовных дел, причем некоторые работорговцы были изобличены и осуждены ("Одесский вестник" от 2 марта 1872 года, 20 ноября 1873 года, 24 мая и 7 сентября 1874 года и др.). Исторически достоверны факты наличия представительных криминальных сообществ, разбойничьей перекупки хлеба и рэкета на подступах к Одесскому градоначальству, злоупотреблений мерщиков, спаивания партнеров при заключении сделок, корчемства, контрабанды, масштабной скупки краденого, как и факты лоббирования отдельными думцами невыгодных для города, но выгодных лично им проектов и др. Короче говоря, все эти сюжеты, к несчастью, и поныне катастрофически актуальны...

Надеемся, "Одесские катакомбы" — книга и фильм — скоро станут общедоступны.



Александр КРАЙНИЙ*

Дедушка Валериан Михайлович



В.М. Никольский

"Бабушек у тебя много, а вот дедушка — один!" — говаривали мне домочадцы в детстве. Да, у меня было целых три бабушки. Своей родной бабушкой я считаю и сестру матери отца Степаниду Игнатьевну Кириченко, которая нянчила меня и обихаживала лет до одиннадцати. И родным считаю деда, Валериана Михайловича Никольского. Вообще-то, он был отчим моей мамы. С первым мужем Борисом Константиновичем Новиковым, потомственным военным из дворянского сословия, моя бабушка, Соковикова Вероника Васильевна, разошлась в начале двадцатых годов прошлого века. По ее рассказам, первый муж был человек отчаянной храбрости, лихо вел себя на переднем крае под пулями, но к жизни обыденной, тем более совершенно изменившейся в 1917 году, когда в офицерских семьях исчезли денщики и няньки, приспособиться не смог, даже проявлял беспомощность. Поддавшись уговорам бабушки, он пошел служить к красным, получил тяжелое ранение под Перекопом и был комиссован. Бабушка, по-видимому, его никогда не любила, а выскочила замуж в 18 лет из-за больших материальных затруднений в семье. А вот Валериан Михайлович сумел бабушку увлечь. Да и сам ею увлекся. В то нелегкое время начала 20-х годов 20-го века он, вопреки здравому смыслу, женился на женщине, у которой на руках было трое детей мал мала меньше.

Познакомились они в Курске. До революции дедушка преподавал в гимназии. Революция его куда-то там выдвинула, хотя никакого участия он в ней не принимал и всегда держался подальше от политики. Из Курска дедушку перевели в Москву на повышение, инспектором народного образования. Дали его семье особняк в Пушкино, вероятно, чью-то бывшую недвижимость. Вспоминал он о работе в Москве мало. Рассказывал, что

*Автор воспоминаний — капитан дальнего плавания А.С. Крайний.

по долгу службы приходилось ему общаться с Луначарским, Дзержинским — знаменитыми большевиками, личностями в те времена известными, в честь которых не без их согласия переименовывались улицы городов, назывались селения, школы, заводы, но имена которых подрастающему поколению ничего не говорят.

Зато он с восторгом рассказывал, какие были вокруг богатые леса, какая природа, как собирали землянику и бруснику, как много малины росло у дома. Но из-за аллергии бабушки к сосновым ароматам он попросил перевести его в другое место. И уехал с семьей на должность преподавателя русского языка и литературы в одесский мортехникум.

Он был абсолютно чужд карьеризму. Это был 1926 год. Нэп в самом разгаре. А в Одессе по сравнению с Москвой — изобилие. Дедушка часто вспоминал, как мальчишки-разносчики кричали на улицах в то время: "Капейка — дыня, капейка — дыня!". Выходец из семьи сельского учителя Новгородской губернии, он не имел материальной возможности заниматься в гимназии или реальном училище, а вынужден был оканчивать духовную семинарию, где малоимущие могли получить бесплатное среднее образование, дававшее право поступления в высшие учебные заведения. Вот дедушка этим правом и воспользовался. Получив среднее образование, он, вероятно, параллельно получил атеистическое, так как до последних минут оставался атеистом. Не воинствующим, типа Емельяна Ярославского, а просто человеком, скептически относящимся ко всем религиозным чудесам и обрядам. Но память, как все бывшие семинаристы, имел великолепную и не утратил ее до самого конца.

...Помню, учась в мореходке, мы с друзьями прошли период увлечения философией, в том числе латинскими и греческими изречениями. Дедушке в ту пору было под семьдесят. Я обращался к нему: "Дедушка, а что такое *Panta rei, omnia mutantur*?" Он тут же отвечал: "*Panta rei* — это по-гречески означает "*все течет*", а *omnia mutantur* — по-латыни "*все меняется*".

После семинарии дедушка окончил два института в Санкт-Петербурге: педагогический и археологический. Оба одновременно, и за три года. Я и теперь храню его выпускные аттестаты. Столько предметов — и по всем высокие баллы! Позавидовать можно... Он рассказывал мне, как во время занятий к ним в студенческое общежитие, бывало, прибегал надзиратель со словами: "Господа, господа, постыдитесь, ведь профессор имярек лекцию читает, а в аудитории всего пять человек!..". А господа, может, и рады бы пойти, да вот незадача: одна пара калош на троих. Подрабатывал дедушка на жизнь, как и большинство студентов в то время, репетиторст-

вом. И стоял в театральных очередях, чтобы на сэкономленные деньги купить самый дешевый билет в драму или оперу.

Но несмотря на все материальные тяготы, он так и не примкнул к революции. Упоминал вскользь об участии в каких-то студенческих заварушках... Посмеиваясь, рассказал, как во время демонстрации в Петербурге казачья лошадка сжевала его зимнюю шапку... Когда я стал совсем взрослым, а дедушке уже было много лет, он в некоторых беседах касался своих отношений с партией большевиков. "Валериан Михайлович, вы только заявление в партию напишите, а уж мы все остальное сделаем", — не раз предлагали ему руководители парторганизаций. Он вежливо отказывался, а мне объяснил это так: "Ведь при первой же чистке они сами бы меня и выперли за мою интеллигентность".

Дедушку просили: "Валериан Михайлович, прочитайте лекцию о марксизме-ленинизме". (По моему разумению, в партии большевиков всегда не хватало грамотных людей, а преобладали горлохваты.) "Хорошо, — соглашался он. — Но вы, пожалуйста, пришлите своего знающего инструктора, чтобы тот, если я ошибусь, сразу меня поправил". Зато почитаешь его конспекты по литературе — все преподносится с точки зрения марксизма-ленинизма. Я, с тех пор как он ушел из жизни, часто задаю себе вопрос: что его толкало скрупулезно придерживаться предписанной свыше программы? Трусость? Но трусом он никогда не был. Слепое подчинение власти или скрытый монархизм?

Да, Сталина он уважал — не помню ни одного злого слова, сказанного им в адрес диктатора. А ведь даже на его жену, то бишь мою бабушку, пытались завести во время ежовщины дело. Она в то время работала комендантом общежития мортехникума. И вот куратор из НКВД вдруг обнаружил на национальных расписных платках, которыми был задрапирован бюст любимого вождя, какие-то там "фашистские знаки". "Вы комендант, вы должны знать врагов народа", — заявил он. Бабушка не знала. В семье ночами не спали, ждали, что приедут забирать. Но пронесло... Когда вождь всех времен и народов помер, заметно было, что дедушка искренне переживал. И произнес тогда чисто мещанскую фразу, которую хорошо помню: "Как теперь жить будем?". Или это сказывается противоречивость тех сложных лет? Ведь чтобы жить и поднимать детей, чем только бабушка и дедушка не занимались в голодные годы помимо основной работы! Клеили бонбоньерки для конфет, кроили платья и т. д.

Казалось бы, умер Сталин, пришел реформатор Хрущев, люди свободнее задышали, и человек такого ума и с таким уровнем образования дол-

жен приветствовать это. А дедушка Хрущева не любил, считал безграмотным, некультурным, неумным человеком, и иначе как Микитой не называл. Все-таки, видно, крепко в нем держались консервативные гены его деда — сельского священника.

Как-то во времена наступившей хрущевской оттепели я спросил его про Белую армию. Он рассказал случай, как в Курске два молодых офицера-деникинца "освободили" его от карманных часов. И заключил: "Бандиты...".

Вообще, дедушка относился к сдержанным немногословным людям. Казалось бы, его профессия не допускала немногословности. Ведь дедушка всю жизнь преподавал русский язык и литературу. Война бросала нас в Удмуртию, Дагестан, Грузию. Дедушка учительствовал в местных школах. А после возвращения в Одессу, с 1944 года опять работал в Мореходном училище МФ. А может, он за свою жизнь так наговорился в аудиториях, что дома отдыхал? Но даже рюмочка за праздничным столом не очень развязывала ему язык. Мне было лет двенадцать, когда дедушка приболел. Жили мы тогда в Красном переулке, 11. Дом наш много лет не ремонтировался, благо строили до революции на совесть. Но всему есть предел. И вот в комнате, где размещались дедушка, бабушка и младшая сестра матери тетя Женя, начал трещать и провисать потолок. Приходил управдом дядя Боря, смотрел, качал головой, но ремонтировать не торопился. Комната была небольшая, и большая часть кровати, на которой лежал дедушка, располагалась под угрожающим участком. А потолки в старых домах представляли собой некую слойку: к балкам перекрытия прибивались доски, на доски набивалась дранка, на дранку набрасывалась штукатурка, заглаживалась, шпатлевалась, белилась. Вот эти подгнившие доски со всем налепленным и насыпанным на них и рухнули наконец, частично накрыв кровать, на которой лежал дедушка. Однако дедушка своевременно заметил, что потолок стал медленно валиться, и отодвинулся к самой стене. Его зацепило чуть-чуть, благо была зима, и он лежал под ватным одеялом, которое смягчило падение крупных кусков. На грохот сбежалась вся наша коммуналка. Среди охов и ахов один дедушка сохранял олимпийское спокойствие. Прибыл бледный управдом дядя Боря. Поизвинялся, покаялся и быстро организовал ремонт...

В революционные годы дедушка тяжело переболел тифом. История свидетельствует, что в те годы эта болезнь, не разбираясь в цветах, косила всех: красных, белых, зеленых и бесцветных. Дедушка рассказывал, что после болезни облысел, и у него развился тромбофлебит. В 1942-м дедушку вызвали в военкомат, ведь тогда ему было всего пятьдесят с небольшим

лет, но по состоянию здоровья освободили. Голени у него были страшные. И стеснялся он их демонстрировать даже близким. Вероятно поэтому, сколько я помню, не ходил он на море. Хотя, по рассказам мамы, очень любил водить ее на пруд, когда семья жила в Подмосковье, и сам подолгу не вылезал из воды, хорошо плавал.

Детство его прошло на озере Ильмень и реке Волхов. Скорее всего, по этой причине он к красотам моря оставался почти равнодушным. Но всегда с удовольствием вспоминал рыбалку в тихих речных заводях, на берегах лесного озерца. Я, уроженец Одессы, не видел в детстве "живых" грибов, только сушеные. А дедушка так интересно и вкусно рассказывал о походах в лес за грибами, о любимых местах, о том, какие лучше мариновать, солить, сушить...

Близ плотины у реки,
Между двух сосенок,
Там в траве, где мох густой
Вырос гриб опенок...

Но мне невозможно было представить дедушку молодым, подвижным, целыми днями блуждающим по лесу в поисках грибов. Он сохранился в моей памяти дородным, солидным, всегда подтянутым, неторопливо шагающим на работу. На нем неизменный форменный темно-синий морской китель, который в летнее время заменялся белым. Вечером он так же степенно возвращался домой, но заметно было, что ноги его устали... Не помню я дедушку в майке даже на даче. Только в рубашке или совковой пижаме.

У современных авторов, повествующих о Российской империи начала 20 века, иногда можно прочесть о вольности нравов у "прогрессивной молодежи" того времени. Ну, были кабаки, бардаки, проститутки. Был и лейтенант Шмидт, женившийся на падшей женщине из идейных убеждений... Дедушка в те годы был тоже молодым, но, видно, воспитание не позволяло ему быть достаточно "прогрессивным". Мне не приходилось встречать людей более целомудренных, чем он. Как-то, выговаривая мне за мою слабость к гулькам, он резко бросил: "Я за всю свою жизнь знал всего две женщины! Это твоя бабушка и моя первая жена".

Жизнь научила его бережливости, строгому контролю бюджета. Но это не значит, что он копил деньги, покупал на них какие-то дорогие вещи. После бабушки и дедушки не осталось ни одной золотой вещицы, ничего мало-мальски ценного. Да и откуда при советской власти было браться ценным вещам, если всю жизнь прожил честно? Не ловчил, не воровал. Даже подарки от своих моряков-заочников дедушка не принимал.

Любили ли дедушку его ученики? Не знаю. Но что уважали — так это точно. Начав плавать, я встречался со многими его учениками, в том числе с известными капитанами. Был среди них и Ким Голубенко.

До конца пятидесятых годов прошлого века в среднюю мореходку брали после 7-го класса, и курсанты доучивали общеобразовательные предметы вместе со специальными. Не помню, чтобы слышал о дедушке от кого-нибудь хоть что-то негативное. Вот его принципиальность и требовательность помнили все. Родной брат мамы Вячеслав Борисович, учившийся на судомеханическом, не раз дома упрекал дедушку: "Я, может, на пять знаю, а ты мне тройки ставишь!". "Ты мой сын, поэтому русский должен знать лучше остальных", — отвечал дедушка. Выдвигали его не раз на должность завуча, но он, проработав некоторое время, любыми способами старался вернуться на чистую должность преподавателя...

Дедушка ушел на пенсию в 1957 году. Ему минуло 66 лет. Провожал его коллектив мореходного училища очень хорошо. Вручили ценные подарки, преподнесли красочный адрес, где среди прочего говорилось, что "...за эти годы Вы стали одним из наших любимых преподавателей...". Был и приказ начальства занести его имя в Книгу почета училища, оставить на Доске почета училища и т. д. В наше время это все утратило смысл и сохранилось в воспоминаниях немногих.

Зато у моих близких товарищей, общавшихся с ним, остался след в памяти на всю жизнь. Когда мы были помоложе, они нередко вспоминали: "Вот у тебя был дедушка!". Еще года два после выхода на пенсию он продолжал ездить на приемные экзамены. Потом у него окончательно разболелись ноги.

Ходили мы с ним на базар. Дедушка умел торговаться и проявлял в отстаивании своей цены исключительную твердость. "Хозяин, почем ваши кабачки?" — спрашивал он. "Два, хозяин", — отвечал продавец. "Полтора!" — предлагал дедушка. "Два", — настаивал торговец. Мы с дедушкой уходили. Через некоторое время, проходя снова мимо этого места, слышали: "Хозяин, хозяин, добре, забирайте по полтора". Дедушка, взяв кабачки и рассчитавшись, говорил мне: "Вот, 50 копеек сэкономили, можно будет яблок на них больше взять".

С 1944 по 1958 год мы проживали в Красном переулке. ТЭЦ к нашему старому дому подвели позднее. А зимой квартиры обогревали печки, плиты. Уголек покупали, какой был, для плит его никто не калибровал, в основном, шли крупные куски. Когда я подрос, то стал помогать дедушке разбивать эти куски молотком, чтобы в плиту можно было засунуть, да ко-

лоть дрова на растопку. Это обычно происходило по выходным дням да на каникулах. А на плечах дедушки лежала уйма всякой домашней работы, поскольку бабушка часто болела. После выхода на пенсию он основательно занялся кухней, закрутками, домашним вином, наливками... Как-то я сказал ему, что цены на базаре постепенно растут. Он возразил: "Нет. У меня же записи стоимости закруток за последние три года — то же самое".

Дедушка и бабушка научили меня играть в "66". Ох и дулись мы в карты на даче! Бывало, столько народа собиралось по выходным дням, что не всем места хватало. Кроме стариков и меня была вечно проигрывающая тетя Женя, ее муж дядя Вася, мама, кто-то из приятельниц мамы или моих друзей, частенько наезжали родственники из других городов. Сколько искреннего смеха я слышал в те детские годы! Дедушка редко проигрывал, но мог и юморно схитрить. Через несколько лет, когда я уже оканчивал ОВИМУ, и ушли в прошлое дачные компании, увидел вечером, как дедушка и бабушка вдвоем сели играть в "66". И понял вдруг, как они постарели, и защемило сердце. Почему я тогда не сел с ними поддержать компанию? Как бы они обрадовались!

Несмотря на возраст и больные ноги, дедушкины руки до конца оставались крепкими. Бабушка слегла окончательно, и ему в 79 лет еще хватало сил поднимать ее над кроватью и переукладывать.

После смерти бабушки, с которой он прожил без малого полвека, дедушка потерял интерес к жизни. Умер он спустя год и три месяца. В последний месяц был совсем плох. Спросил жену Вячеслава тетю Валю: "Валя, как я умру? У меня будет отек легких?.." — "Нет, Валериан Михайлович, вы потеряете сознание", — ответила тетя Валя, которая всю жизнь проработала врачом-терапевтом.

И дедушка действительно впал в беспамятство. У его постели собралось трое его детей, тетя Валя и я. Маму, которой в последние дни досталось больше всех, тетю Валю и дядю Славу сморил сон. Был поздняя ночь. Бодрствовали мы с тетей Женей. Сидели на кухне, каждые пять минут возвращаясь к его постели. Я подошел к нему в очередной раз. Все как будто было по-прежнему: лежит без сознания, тяжело дышит. Я вернулся на кухню и буквально через минуту-другую меня словно бросило в озноб. Мы с тетей Женей поспешили в комнату... Дедушка уснул навсегда.



Олег ГУБАРЬ

Как формировался Городской сад?

Продолжаем серию публикаций, посвященных традициям градостроительства, архитектуры, риэлторства Одессы и связанным с ними общественным бытом. Неизменный спонсор этой рубрики, агентство недвижимости "Капитал", недавно отметило 10-летие своей плодотворной деятельности на отечественном рынке недвижимости. От всей души поздравляем с юбилеем его замечательных руководителей – Викторию Михайловну Старову и Валентина Константиновича Лобанова. По этому поводу и не без намека подверстываем "юбилейный материал", посвященный Городскому саду.

В канун 200-летнего юбилея нам фактически придется впервые написать внятную историю Городского сада, о прошлом которого на сегодняшний день имеются лишь отрывочные сведения, разбросанные в различных первоисточниках. В разное время встречаются следующие его названия: Публичный сад, Казенный сад, Одесский городской сад, Городской сад, Казенный городской сад, Дерибасовский сад, Дерибасовский городской сад, сад Лассаля и, наконец, анекдотическое сквер Джордано Бруно.

Чтобы получить четкое представление о том, когда, при каких обстоятельствах и на каких территориях сформировался Городской сад, надо, прежде всего, изучить первые генеральные планы Одессы. Если обратиться, например, к генплану 1803 года, представленному Александру I, легко видеть, что Ланжероновская улица как бы служит продолжением Херсонской (Пастера), и никакого расчленяющего эту важную транспортную артерию сада изначально не предусматривалось. В самом деле, и сегодня любой пешеход, следуя от перекрестка Пастера и Преображенской в сторону Оперного театра, пересекает Городской сад по оси Ланжероновской улицы, стремясь пройти на эту улицу кратчайшим путем. В начале позапрошлого столетия гужевой транспорт, поднимаясь в город с Пересыпи от будущей Херсонской заставы, мог тем же путем пересечь центр кратчайшим маршрутом и выехать на нынешнюю Таможенную площадь по Ланжероновскому спуску.

Характерна в связи с этим "ошибка" графа М.Д. Бутурлина, пушкинского знакомца, жившего в Одессе в 1824 году. В своих мемуарах он говорит о том, что одесский аристократический клуб помещался в доме на



Херсонской улице, хотя на самом деле клуб тогда функционировал в доме барона Рено, на углу Ланжероновской и Ришельевской. "Ошибка" легко объяснима: Бутурлины квартировали в доме генерала Пущина, на углу Херсонской и Дворянской, в одном квартале от Городского сада, а потому, следуя в клуб, молодой граф должен был пройти этот квартал, а затем пересечь Казенный сад по оси Ланжероновской улицы, каковую, естественно, принимал за продолжение Херсонской.

Но вернемся чуть назад, в интервал между 1803 и 1806-м годами. Тогда обстоятельства градостроительства на этом участке изменились в связи с тем, что младший брат основателя Одессы, Феликс де Рибас, подарил городу примыкающий к его дому сад. Этот сюжет надо воспроизвести во всех деталях, ибо он и заложил основы формирования Городского сада.

В ходе раздачи городских земель под застройку и их переуступки в середине 1790-х годов Феликс де Рибас, в частности, оказался владельцем участков под номерами 689, 690, 694 и 695 в LXIV квартале Греческого форштадта. Известный историк А.И. Третьяк пишет о том, что изначально они вообще принадлежали Иосифу де Рибасу, а младшему брату его отошли после отъезда Иосифа в столицу в 1797 году (от себя могу прибавить: Феликс осенью 1794-го получил участки №№ 32-33, а другой брат де Рибаса, Андрей, — №№ 29-30 в V квартале; эти четыре участка практически покрывают собой территорию будущего Ришельевского лицея, заключенную между улицами Дерибасовской, Екатерининской и Ланжероновской; комплексом этих строений впоследствии владел Вильям Вагнер, променявший на него свою гостиницу "Европейскую", о которой речь пойдет ниже). Некий отзвук того, что означенные места когда-то принадлежали Иосифу де Рибасу, находим в статье "Одесское заведение искусственных минеральных вод, 1829-1866 гг.", опубликованной в четвертом выпуске "Трудов Одесского статистического комитета" (1870, с. 180).

Ныне это часть Городского сада, ограниченная осью Ланжероновской улицы, Дерибасовской улицей, фасадами "Клара-бары" и дома де Рибаса (Дерибасовская, № 24), а с противоположной стороны — приблизительно аллеей, проходящей мимо "Кино-Уточкино" (в 1930-е — "Червоний залізничник", а далее — кинотеатр имени Маяковского). Что касается принадлежавшего Феликсу домостроения, то оно лежало на смежном участке № 686: подробная история этого дома изложена мною в очерке "Дом де Рибаса" (Олег Губарь. Старые дома и другие мемориальные места Одессы. Одесса: "Печатный дом", 2006, стр. 144-159).

Счастливым обстоятельством в истории Городского сада стало назначение одесским градоначальником и херсонским военным губернатором герцога де Ришелье, который и выбрал местом своего пребывания Одессу, сделавшуюся, таким образом, административным центром колоссального региона. Общеизвестно, как заинтересованно Дюк относился к вопросу озеленения безводной, голой Одессы, в которой от прежнего Хаджибея сохранилось буквально два-три дерева, по свидетельству современников, старых, чуть живых груш. Ришелье на свой счет выписывал саженцы и семена из Европы, ставил первые успешные опыты садоводства, разбив сад на своей даче в Водяной балке (Дюковский сад), трепетно ухаживал буквально за каждым зеленым насаждением. "Наряду с акацией, — писал профессор В.К. Надлер (1892), — герцог получил при своих опытах весьма удовлетворительные результаты с различными породами тополя, береста, ясеня, а также различных кустарников, в особенности бузины и сирени, и, наконец, с некоторыми плодовыми видами, например, абрикосами и вишнями".

По сообщению того же В.К. Надлера (1893), при Ришелье "начато насаждение деревьев по улицам". В других первоисточниках прямо говорится, что Дюк обязывал домовладельцев высаживать деревья перед своими домами и ухаживать за оными. И действительно, на гравюрах второй четверти позапрошлого столетия видны, скажем, довольно высокие уже тополя вдоль Ришельевской улицы. Посетивший Одессу еще в самом в начале 1820-х годов представитель Библейского общества британец Эдвард Хендерсон пишет: "Очень украшают город тополя, растущие по обеим сторонам улиц". Отдельные старые тополя дожили до конца прошлого века во дворах, примыкающих, например, к бывшему дому коммерции советника И.И. Фундуклея, на углу улиц Пастера и Торговой, и др.

Есть основания говорить о том, что Дюк энергично помогал Феликсу де Рибасу обустраивать сад в интервале между 1803 и 1806-м годами, когда тот де-факто был уже доступен горожанам, правда, не всем, а лишь из-

бранной публике. По убедительным выкладкам видного историка градостроительства Одессы В.А. Чарнецкого, первые деревья в этом саду Феликс и Иосиф де Рибас посадили "не позже осени 1796 года". Он же пишет о том, что по прибытии в Одессу Ришелье некоторое время жил в этом самом доме Феликса де Рибаса, а уж затем перебрался в небольшой дом бывшего полицмейстера Г.С. Кирьякова на пересечении будущих улиц Ланжероновской и Ришельевской, принадлежавший с 1802 года таможне. Кроме того, мы имеем прямое указание сына де Рибаса, Михаила Феликсовича, на то, что в изначальном оформлении сада принимал участие опытный садовод Иосиф Чижевич, отец известного впоследствии думца, служивший директором садов графа Потоцкого. При этом саженцы привозились из Тульчина. Внук Феликса, бытописатель А.М. де Рибас, утверждает, что саженцы доставлялись партиями из Умани, и что Ришелье собственноручно посадил тут несколько каштанов. Так или иначе, а к 1803-1806 годам определенные результаты садоводства были уже налицо.

Что касается подробностей передачи сада в дар городу, тут, очевидно, надо иметь в виду не один только благотворительный мотив. Дело в том, что материальное положение Феликса де Рибаса периодически, мягко говоря, оставляло желать лучшего. Между прочим, он задолжал 3250 рублей за выполненные работы одному из строителей своего дома, известному зодчему Францу Франполли. Известно, что 17 декабря 1800 года Феликс занял 1000 рублей "под залог разных драгоценных вещей и серебра", а супруга его, Октавия, взяла 1200 рублей "под залог пудренного дамского туалета, туалетной короны, большой серебряной лохани, двух подносов, соусных и других ложек и проч.". В июне 1802 года все эти вещи были выставлены на продажу, поскольку задолженность в срок не погасили.

Финансовое положение Феликса де Рибаса в это время было настолько сложным, что, продав дом на Дерибасовской (до 1811 года она именовалась Гимназской), он надолго уехал в свое имение Тузлы. Только в январе 1815 года он подал прошение на постройку другого дома, примыкающего к Городскому саду, — одноэтажного, на углу Малого переулка (№ 1, правый от ворот флигель) и Гаванной, на участке № 699 (как ни странно, этот патриархальный домик тоже стоит до сих пор!). Еще один дом де Рибаса, небольшой двухэтажный, 1819 года постройки, сохранился в начала Гаванной улицы, на ее противоположной стороне (№ 1). В этом доме останавливались Давыдовы, Раевские, Бутурлины, бывал Пушкин. Здесь де Рибас впоследствии и доживал очень скромно. А далее дом этот принадлежал фабрикантам слесарных изделий и волнистых штор Фрелиху и Бличи, по-

лучившим за свои произведения несколько медалей на Всероссийских выставках. Много позже, когда Феликс ушел из жизни (в 1845-м, на 77-м году жизни), его наследники вообще отказались от наследства, состоявшего из немалых долгов. Забавно, что даже в конце позапрошлого столетия где-то в семейных чуланах сохранялся так никому и не понадобившийся шелк в мотках, когда-то "выращенный" на фонтанской даче...

Похоже, кстати, что Иосиф не просто уступил брату вышеупомянутые участки в квартале между будущими улицами Преображенской, Дерибасовской и Гаванной, но получил за это в обмен для города те, которые затем использовались для казенных надобностей (упоминавшиеся выше места Андрея и Феликса де Рибасов №№ 29-32 в V квартале, между Ланжероновской, Екатерининской и Дерибасовской, где в конце XVIII столетия была построена резиденция главнокомандующего, а в 1804 году де Ришелье отдал оные здания коммерческой гимназии; при этом весь комплекс сооружений был оценен в огромную по тем временам сумму 77 тысяч рублей). Иначе трудно объяснить, почему Феликс запросто уступил столь выгодные участки, полученные в ходе межевания города.

Сложившаяся в 1806 году ситуация принудила Феликса продать упомянутый дом Конторе государственного коммерческого банка. Позже он также вынужденно продал всего за 3000 рублей предпринимателю Саламбье большую дачу с шерстомойней и "питомником шелковичных червей" на Среднем Фонтане. В некоторых источниках прямо сказано, что продажа городу дома на Дерибасовской улице была "не совсем добровольной". Как свидетельствуют архивные документы (описание технического состояния приобретенной министерством финансов недвижимости в марте 1807 года), на самом деле де Рибас продал два дома, первый из которых (Дерибасовская, № 24) был достроен, эксплуатировался меньше десяти лет, но уже требовал значительных починок.

Второй дом, находившийся на углу будущих улиц Дерибасовской и Гаванной, и вовсе не был окончен — у Феликса просто не хватило денег ни на ремонт, ни на достройку. (На плане города 1814 года на противоположном углу квартала, на участке № 686, по красной линии улицы Преображенской, виден дом, где позднее размещалась дипломатическая канцелярия, к которой был приписан А.С. Пушкин. Вероятно, это одно из служебных помещений при старом доме де Рибаса. На рубеже 1870-1871 годов на этом казенном месте, согласно контракту с городом, был построен дом популярного фотомастера А.И. Хлопонина.) Но это произошло много позже, а тогда, в середине 1800-х, де Рибас сделал вынужденно

широкий жест, подарив городу примыкающий к обоим его домам сад. Продажа этих садовых участков под застройку другим лицам была едва ли возможна не только по этическим соображениям (Дюк с огромным трудом озеленяет Одессу, а что же брат ее основателя: продает зеленый массив в центре под застройку?!), но и потому, что вряд ли могла кардинально поправить его финансовое положение. Очень может быть, акт дарения сада при продаже дома "в казну", как и в 1797-м, был даже заведомо оговорен на джентльменской основе. Впрочем, это лишь предположение. Как бы то ни было, а сад этот подлинно Дерибасовский.

Выдающийся историк Одессы середины XIX века К.Н. Смольянинов еще на рубеже 1840-1850-х разыскал в одном из дел (№ 74 за 1806 год; ныне многие документы, относящиеся к данному сюжету, находятся в Государственном архиве Одесской области — фонд 59, опись 2, дело 18 на 138 листах) местного Строительного комитета письмо отставного майора Феликса де Рибаса, препровожденное в комитет герцогом де Ришелье в конце ноября 1806 года. Привожу текст этого документа, впервые публиковавшегося Смольяниновым в 1852-1853 годах.

"*Ваше Сиятельство, Милостивый Государь! Известно, что Ваше Сиятельство всегда желаете при доставлении живущим в Одессе существенных выгод доставить и удовольствия.*

Я, будучи равно с прочими обязанным Вашему Сиятельству и в знак того моего чувствования приемлю смелость покорнейше просить Ваше Сиятельство принять от меня без заплаты, навсегда, в пользу города сад мой, который при двухэтажном моем доме, состоит на Греческом форштадте, в LXIV квартале, под №№ 694, 695, 690 и 689.

Вашего Сиятельства, Милостивый Государь,

всепокорнейший слуга Феликс де Рибас.

Ноября (?) дня 1806 года".

А.М. де Рибас уточняет, что письмо это датируется 22 ноября, а 25 ноября Ришелье в бумаге за № 907 предложил Одесскому строительному комитету "принять сад де Рибаса в целостное соблюдение", причем поручил комитету "выразить жертвователю от имени герцога и граждан Одессы должное возблагодарение, и письмо майора (Феликс имел чин секунд-майора по гвардейской кавалерии, а его брат Андрей — премьер-майора, что соответствовало майору и подполковнику. — **О. Г.**) де Рибаса хранить в числе документов, в архиве строительного комитета". Смольянинов, впрочем, датирует предложение, направленное Ришелье комитету, 28-м ноября.

Изучение упомянутого архивного дела показывает, что письмо Фе-

ликса де Рибаса и в самом деле точно не датировано, однако четко обозначена дата его получения — 22 ноября. Следовательно, оно написано не позднее 21-го. Письмо Ришелье в Строительный комитет отправлено 28-го, а получено 29 ноября. Но самое главное — предположение о "не совсем добровольном" дарении сада находит документальные подтверждения. Прежде всего, речь идет о письме директора Одесской конторы учетного банка на имя Ришелье от 15 ноября 1806 года, в котором определенно сказано, что за де Рибасом числится долг 9850 рублей. Деньги же выдавались исключительно под залог дома. И при этом де Рибас "сделал, было, перепродажу в партикулярные руки после поручительства по векселю, но контора, узнав, сообщила палате о не совершении купчей, пока не будут внесены деньги по тому векселю". В письме военного коменданта Кобле градоначальнику от 17 ноября говорится о том, что дом де Рибаса надо принять в казну для размещения учетной и променной конторы. Из других бумаг видно, что долг де Рибаса перед банком будет вычтен при оформлении купчей. То есть домовладелец совершил, прямо скажем, неблаговидный поступок, и чтобы деликатно сгладить положение и не ударить лицом в грязь, вынужденно дарит городу обширный сад.

Следует подробная "Опись дому господина майора де Рибаса, состоящего на Греческом форштадте в LXIV квартале под № 686, 687, 688, 692, 691, учинена ноября 27 дня 1806 года" городовым архитектором Фраполли. То есть мы видим, что речь идет о двух угловых участках — близ Преображенской и близ Гаванной, — разобщенных садом. В реестре — двухэтажный каменный дом с большою залой и девятью горницами в верхнем этаже, небольшим чердаком, в нижнем этаже 11 покоев. Со двора к дому примыкают две галереи. Под домом каменный погреб на сводах в семь саженей длины и две с половиной ширины. "Между нижнего этажа ворота въездные", то есть, очевидно, меж основного здания и углового флигеля по Преображенской. "На дворе особо каменный домик людской": вероятно, на участках 687-688. Далее конюшня с 11-ю стойлами, большой каретный сарай, кухня, под сараем погреб для съестных припасов, два нужных места, "ворота въездные на дворе большие", ограда каменная вокруг двора по периметру сада. О недостроенном доме в описи нет ни слова. Впрочем, в другом документе, от 29 ноября 1806 года, подписанном самим де Рибасом, читаем: "под № 693-м, 692-м и 691-м дом не оконченный длиною десять, а шириною семь саженей (...) которого выстроен первый этаж, под ним погреб длины десять саженей, а ширины четыре сажени". Достроенный же дом имеет практически те же габариты: десять на семь

саженей. На плане города 1814 года на каждом из углов — по три строения (то есть дома плюс службы), на плане 1828 года конфигурация их несколько меняется.

Срок погашения векселя де Рибасом истекает 1 мая 1807 года. За оба дома ему следует 16500 рублей, из которых вычтут 9750 — те, что он задолжал банку. Так что положение его существенно не поправится. Дом примут по описи 6 февраля 1807-го. Но состояние его оставляет желать много лучшего: до самого начала 1809 года под началом Фраполли станут ремонтировать то печи, то оконные рамы, то потолки, то вставлять стекла и прочее и прочее.



Городской дом по Дерибасовской улице, где основалась фабрика в 1829 г.

Но все же вернемся к акту дарения сада. Что все это означало на практике? Кто с конца ноября 1806-го имел право распоряжаться садом от имени города? Со времени введения императрицей Екатериной II "Жалованной грамоты" от 21 апреля 1785 года "городское общество" в России признавалось юридическим лицом, с определенными правами и обязанностями. Городская дума — как инструмент общественного самоуправления — наделялась правом "ведать всем тем, что для означенного общества потребно, полезно и выгодно". Таким образом, любые решения об использовании, функциональном назначении тех или иных территорий Городского сада выносились общим собранием думцев, каковые в совокупности, получается, выражали чаяния своих избирателей. Так было на протяжении всех эпох его эксплуатации, и даже в советский период, хотя тогдашние решения, понятно, носили скорее формальный характер. Сегодня, естественно, не следует забывать то обстоятельство, что хотя сад и Городской, но в то же время он памятник садово-паркового искусства, то есть имеет особый статус.

После передачи сада городу Ришелье дальновидно пригляделся к смежным с подаренным садом земельным участкам и сделал заключение о том, что территория зеленого массива в самом центре юного города может быть значительно умножена за их счет. Во-первых, можно было использовать проезжую часть и тротуары целого квартала намечающейся Ланжероновской улицы, в промежутке Преображенской и Гаванной, а кроме того, "дворовые места", примыкающие к казенным зданиям со сто-

роны сада либо к таким же частным домовладениям, каковые могли бы отойти к городу в перспективе. Так было положено начало Городскому саду, разработана и поэтапно воплощена в жизнь стратегия его многолетней эволюции. И по этой причине площадь сада, вопреки сложившемуся некорректному мнению, в последующие годы увеличилась, по крайней мере, вдвое. Историк А.И. Третьяк упоминает, что в 1809 году "там высадили целые плантации деревьев, среди которых (...) преобладали белая акация и гледичия".

Что же представлял собой Городской сад в конце градоначальства Дюка? Некоторое представление об этом дает описание из "Опыта истории Новороссии", составленного протеже герцога де Ришелье, Габриелем бароном де Кастельно и Орос, известным в России как маркиз де Кастельно, в 1810-е годы. "Этот сад, — пишет французский исследователь, — обрамляла чугунная решетка. Он был достаточно вместительным для города, в котором все зажиточные люди имели собственные дачи в городской черте. Обращает на себя внимание одна особенность, присущая, очевидно, только этому саду, — помимо декоративных деревьев в саду произрастают и фруктовые, обильно плодоносящие каждый год". Вероятно, речь идет об абрикосовых, вишневых и шелковичных деревьях, культивированных самим де Ришелье. Впрочем, постепенно декоративные породы вытесняют плодовые. Так, армянский католикос Тавриды Минас Бжкянц (Минай Медичи) издал в 1830 году в Венеции путевые заметки, в которых, между прочим, упоминается и Одесса, в каковом описании есть такая фраза: "Прекрасен общественный сад в центре города, лишенный фруктовых деревьев".

Блистательно, как бы на мгновенье опережая Пушкина, повествует об "Одесском саде" будущий декабрист, а тогда юный гардемарин Н.А. Чижов (1823): "Мы входим в сад, и волшебное зрелище поражает наши взоры: воображаешь, что все народы собрались здесь наслаждаться прохладой вечерней и ароматнейшим запахом цветов. Рослый турок (...) предлагает вам вкусный напиток азийский, между тем как миловидная итальянка, сидящая под густой тенью вяза, перенесенного с берегов Волги, подает вам мороженое в граненом стакане (...). Толпы гуляющих беспрестанно встречаются с вами. Единоземец великого Вашингтона идет подле брадатых жителей Каира и Александретты; древний потомок норманнов с утесистых скал Норвегии, роскошный испанец с берегов Гвадалквивира, обитатели Альбиона, Прованса и Сицилии собрались, кажется, чтобы представить здесь сокращение вселенной (...). Можно сказать, что в России нет другого места, где бы мы нашли подобное зрелище (...)".

Немного позже у Казенного сада — как у средоточия общественных гуляний — появляется соперник в виде Приморского бульвара. Тем не менее, значимость их остается почти равнозначной на протяжении многих десятилетий, о чем упоминает Н.А. Авдеева (1832-1842), а британский путешественник Роберт Лайелл, посетивший Одессу еще до сооружения бульварного ансамбля (1823), пишет: "Будучи расположенными в центре города, городские сады очень украшают его и являются для жителей Одессы источником удовольствия. В субботние вечера, в теплое время года, они становятся местом гуляний, в которых участвует множество людей разных национальностей, одетых в самые разнообразные костюмы и говорящие на разных языках. Военный оркестр оживляет эти собрания, на которых присутствует к всеобщему воодушевлению сам генерал-губернатор. Парки эти не очень обширные; они ухожены и содержатся в порядке, но аллеи слишком узки". Вероятно, ирония Пушкина по поводу стихов В.И. Туманского, каковой более чем восторженно "сады одесские прославил", была все же несколько чрезмерной.

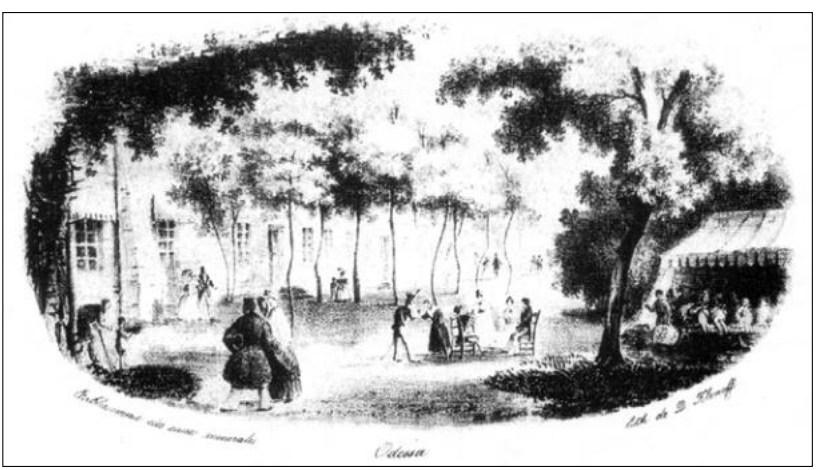
Итак, уже в самые первые эпохи существования Городской сад определил свое функциональное назначение как место общественных гуляний и увеселений. В свою очередь, подобная ориентированность предполагала явление музыкальных развлечений и, так сказать, предприятий общепита. Как видно из текста Н.А. Чижова, здесь производилась реализация мороженого и кофе. Р. Лайелл говорит и о военном оркестре. Известно, что подобные музыкальные коллективы исполняли на общественных гуляниях не только и не столько военные марши, сколько попурри из самых известных опер, впоследствии — оперетт, народные танцы и песни. Военные капельмейстеры, как правило, сами создавали всевозможные польки, галопы, попурри и прочие мелкие музыкальные формы.

В 1831 году известный уже в пушкинские времена ресторатор и кондитер Герман Кель (ГАОО, ф. 4, оп. 1А, д. 280 и др.) взамен существовавшего с давних пор деревянного павильона, который он же арендовал у города, устроил в саду, под надзором архитектора Г.И. Торичелли, каменную кофейню (ГАОО, ф. 59, оп. 2, д. 324 на 151 листе). Угол этой кофейни, ее полотняный навес, выносные столики и почтеннейшая публика, расположившаяся в тени, видны на гравюре Карло Боссоли 1837 года. Что касается старого павильона кофейни, то он, судя по всему, существовал еще со времен де Ришелье. В противном случае его бы не отдали Келю на слом совершенно безвозмездно при строительстве нового сооружения.

В 1822-1823 годах Кель содержал кондитерскую лавку в доме графини

Ржевуской на углу Греческой и Ришельевской улиц. Он сотрудничал в это время с фирмой "иностранца Флорио и К°", содержавшей в этом же доме кофейню, но желал открыть собственное кафе-кондитерскую (ГАОО, ф. 4, оп. 1А, д. 9). Таковое заведение он и открыл в 1824 году в доме, принадлежавшем католической церкви, на углу Ришельевской и Полицейской улиц (ГАОО, ф. 4, оп. 1А, д. 132). Эта кофейня числится и в реестре акцизных сборов за 1827 год (ГАОО, ф. 4, оп. 3А, д. 180). В 1832 году Кель с напарником Катани (в местной газете они именовались совладельцами "шоколадной фабрики") устраивали в Городском саду так называемый "Вокзал", по образцу столичных, а с 1834-го Келю разрешили давать здесь зимою балы. Летом он организовывал гулянья в Ботаническом саду, в котором по другому контракту с городом тоже выстроил павильон. Как сообщается в "Одесском вестнике", развлечения эти были, разумеется, платными, причем специально приглашался профессиональный музыкальный коллектив из Богемии "Бергкнаппен". Упоминавшуюся элитарную кофейню на Ришельевской Кель содержал много лет, а в 1852 году передал ее сыну, тоже Герману.

Тем не менее, кофейня Жана-Батиста Каруты на бульваре с самого начала и постоянно составляла Келю серьезную конкуренцию, уже хотя бы по самому своему приморскому местоположению. Мало того, Каруте дозволялось устраивать фейерверки над обрывами бульвара, а Келю нет — поскольку крытые дранкой ближайшие к Городскому саду дома могли возгореться. Короче говоря, Кель терпел серьезные убытки, и хотя ему

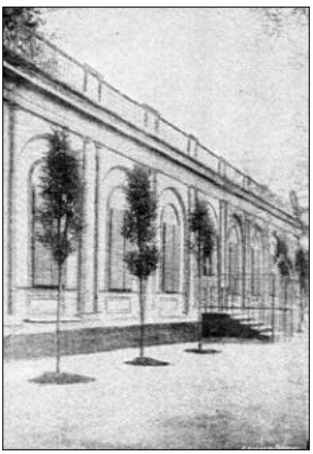


продлевали срок бесплатной эксплуатации кофеен в Городском и Ботаническом саду, каковая продолжалась в общей сложности 11 лет, он так и не сумел получить той выгоды, на какую рассчитывал, вложив в означенное предприятие не менее 14 тысяч рублей собственных и заемных денег.

Здесь уместно привести фрагмент мемуаров небезызвестного историка и статистика А.А. Скальковского "Одесса за 40 лет назад", написанных в самом конце 1860-х: "...собирались иногда, особенно охотники до мороженого, в городском саду под тенью великолепных каштанов (*marroniers*) и акации, собственноручно засаженных герцогом Ришелье, окружавших небольшой каменный павильон, где швейцарец Кель, отец нынешнего содержателя "Европейской" гостиницы, устроил кофейню и даже комнату для чтения газет. Вокруг сада были только одни развалившиеся домики прежнего времени с одной, а два двухэтажные дома, купленные у адмирала де Рибаса казною, с другой стороны. В одном из этих домов помещалась так называемая променная контора, в другом, назначенном сперва для помещения генерал-губернаторской канцелярии, обитало несколько бедных чиновников, несмотря на пыль, грязь и развалины". Покупка, как мы помним, связана не с адмиралом, а с его младшим братом. Важно другое: упоминавшийся дом на углу Преображенской и Дерибасовской, где временно размещалась дипломатическая канцелярия генерал-губернатора, оказывается, был тоже двухэтажным, и уже на рубеже 1820-1830-х крайне ветхим, аварийным. Из других архивных дел (ГАОО, ф. 59, оп. 1, д. 1910 и 1912), совершенно очевидно, что, по крайней мере, весной 1834 года этот обращенный к Преображенской флигель все еще стоял на прежнем месте. В конце концов, его разобрали, и возникло то самое городское пустопорожнее место, на котором сорок лет спустя построился Хлопонин.

Первым значительным стационарным учреждением Городского сада (небольшой каменный павильон упомянутой кофейни не в счет) стало Заведение искусственных минеральных вод, истории которого я посвятил довольно много места в той же книге "Старые дома и другие мемориальные места Одессы" (2006). А потому здесь изложу этот сюжет лапидарно, в контексте интересующей нас проблематики и с некоторыми существенными дополнениями.

Первое общее собрание акционеров этого Общества, основанного в 1828 году, состоялось 22 мая 1829-го. Стремясь помочь оной институции стать на ноги, граф М.С. Воронцов убедил городское самоуправление передать в вечное пользование акционерам тот самый бывший дом Феликса де Рибаса, что примыкал к Казенному саду. 4 ноября 1830 года бы-



Бывший курзал Общества

ла утверждена смета сооружению крытой галереи (курзала), примыкающей к дому со стороны сада. Строительство началось весной 1831 года, осуществлялось хозяйственным способом (поскольку не нашлось сторонних подрядчиков), а завершилось осенью 1833-го. Впрочем, при освидетельствовании работ военным инженером Морозовым и архитектором Козловым обнаружилось, что черепичная крыша течет, стены мокрые, штукатурка обваливается. Кроме того, получился немалый перерасход средств против заложенных в смету. Все эти обстоятельства сильно задержали пуск курзала (ГАОО, ф. 59, оп. 2, д. 321).

В 1834 году составлена "Опись дому с принадлежностями, занимаемому Заведением искусственных минеральных вод". Заведение просило об этом Одесский строительный комитет, дабы город убедился, что здание и службы находятся далеко не в лучшем техническом состоянии. В описи, составленной 16 мая, скрупулезно фиксируются все внутренние помещения (в первом этаже, в частности, помещалась химическая лаборатория, под нею — сводчатый погреб), двери, окна, вплоть до неисправных задвижек и треснувших стекол. Кроме того, упоминаются: сарай комбинированный, из дерева и камня с четырьмя жилыми покоями для слуг, каменный каретный сарай, при котором четыре жилых покоя, каменный погреб-ледник, два временных отхожих места. И все это, за исключением "новопостроенной галереи" (курзала), требует починки (ГАОО, ф. 59, оп. 1, д. 1910).

В июне 1835-го при Заведении искусственных минеральных вод и вообще в Городском саду впервые появилось сносное "отходное место". Устроено оно было не кем-нибудь, а самим Г.И. Торичелли, причем "по словесному приказанию" М.С. Воронцова. Согласно смете об издержках, постройка обошлась в 487 рублей, каковые архитектору впоследствии вернули из сумм, назначенных Городской думой на исправление и содержание казенных зданий. В соответствующем архивном деле (ГАОО, ф. 59, оп. 1, д. 2074) можно найти все подробности. Ямы рыли на глубину две сажени, а затем облицовывали пятивершковым камнем. В "нужном месте" устроили пять кабин, обили стены, сделали семь дверей, в том числе двое

входных в разнополые отделения. Всё честь по чести, поскольку в Заведении пользовали немало представителей высшего общества.

Заведение реализовывало искусственные минеральные воды, имитирующие состав лечебных подземных вод лучших европейских курортов. Здесь лечились одесситы и приезжие. Курзал функционировал в теплый период много десятилетий подряд, его здание хорошо различимо на упоминавшейся гравюре Карло Боссоли 1837 года. В начале 1840-х при Заведении построили магазин с жилыми комнатами для персонала (ГАОО, ф. 59, оп. 2, д. 541), а в 1849 году прирезали дополнительный участок земли (ГАОО, ф. 895, оп. 1, д. 365; ф. 59, оп. 1, д. 3172). Из этого плана, между прочим, видно, что в саду почти не наблюдается регулярных аллей — в основном видны лишь довольно хаотические узкие тропинки меж почти сплошными газонами. Лишенных зеленых насаждений площадок очень мало. То есть, по крайней мере, в это время сад был весьма густ.

Как видно из контракта, заключенного городом с кондитером Германом Келем в 1831 году, он обязывался запирать сад после 22 часов, то есть сад был огражден. В 1834-м взамен существовавшей уже деревянной ограды была сделана каменная, причем полученный от разборки лес использовался как на месте, так и для ограждения "плантаций возле крепости" и "устройства пробного тротуара" (ГАОО, ф. 59, оп. 1, д. 1912). Это было связано с жалобами самого Келя городской полиции и градоначальнику о том, что по вечерам и даже ночью сад наводнен "непотребными женщинами", творящими безобразия (ГАОО, ф. 59, оп. 2, д. 324, л. 52). В 1836-1837 годах под руководством архитектора Г.И. Торичелли вокруг сада устроили комбинированную стену, нижняя часть которой была из камня, а верхняя представляла собой пикообразные металлические решетки. В Государственном архиве Одесской области сохранилось несколько составленных по этому поводу Торичелли цветных рисунков — тушью и акварелью (фонд 895, оп. 1, д. 139, 141 и 297, ф. 59, оп. 1, д. 2172), в том числе с резолюцией императора Николая I (1837).

Впоследствии Общество искусственных минеральных вод приобрело комплекс строений в Малом переулке, которые граничили с Городским садом. Возникли имущественные споры с городским самоуправлением, приведшие к тому, что заведение оставило бывший дом де Рибаса и курзал. Тогда Общество пожелало хотя бы получить проход в Городской сад со стороны своего участка в Малом переулке — "для утреннего гулянья во время летнего сезона с 15-го мая по 1-е августа". Но тут возникло препятствие: слева, перед зданиями, принадлежащими Императорскому об-

ществу сельского хозяйства Южной России, на городской земле на основе аренды функционировал популярный кафешантан. Разумеется, лечебное заведение худо сочеталось с развлекательным, а потому город и отказал предпринимателям, давным-давно прочно вставшим на ноги и весьма успешно занимавшимся производством далеко не одних минеральных вод. Этот сюжет естественным образом перетекает в другой — связанный с историей соседней части Городского сада, а именно сооружений, принадлежавших Императорскому обществу сельского хозяйства Южной России, и смежной части сада, которая сдавалась в аренду под увеселительные заведения.

Что касается работ по благоустройству в 1820-1830-х, то в фондах Государственного архива Одесской области по этому поводу можно найти любопытные документы. Так мы знаем, что, например, в 1830 году под руководством городового садовника Ганса Германа в Городском саду производилась очистка всех дорожек, перекопка куртин, обрезка сухих веток, выкос травы, посадка 300 деревьев и кустарников, починка деревянных перил. Известны даже имена наемных рабочих, скажем, одесских мещан Ивана Подсолнохова, Павла Тищенко, Якова Белоусова, Павла Чубенко. Сторожем в эти годы состоял Влас Проточенко, за неграмотностью которого, получая ежемесячное жалованье в 25 рублей в месяц государственными ассигнациями, подписывался некто Кузьма Никитин, судя по всему, тоже наемный работник (ГАОО, ф. 59, оп. 2, д. 258). Подобные же работы осуществлялись и в начале 1840-х. В эту же эпоху для устройства дорожек в Городском саду специально закупался песок в колонии Люстдорф. Так, его завозили в 1831 году, а в 1834-м, когда цены на закупку значительно возвысились, заготовку песка отложили (ГАОО, ф. 59, оп. 1, д. 1938), возобновив несколько лет спустя.

Из плана Одессы, составленного Г.И. Торичелли в 1828 году, видна общая конфигурация расширившегося к тому времени Городского сада — такого, какой описан Н. Чижовым, Р. Лайеллом и другими современниками. Помимо участков, подаренных Феликсом де Рибасом, в его состав входят: весь "пассаж" от Преображенской до Гаванной, занявший проезжую часть и тротуары несостоявшегося квартала Ланжероновской улицы, а кроме того, "дворовые места" участков №№ 700, 701, 706 и 707, примыкающих к казенным зданиям со стороны Малого переулка. По Преображенской сад окаймлен квадратным в плане домом князя Гагарина (участки №№ 704-705; ныне — территория библиотечного корпуса университета) и австрийского консула фон Тома (участки №№ 702-703; теперь — угловой дом работников морского транспорта, построенный в конце

1930-х). Участок этот изначально принадлежал городу и был отведен Павлу Гагарину в 1840-м (ГАОО, ф. 59, оп. 1, д. 2445). Со стороны Ланжероновской примыкающие участки застроены неплотно, и их "дворовые места", по сути, перетекают в сад. Курзала Заведения искусственных минеральных вод на участке № 687 еще нет. Нынешняя "Клара-бара" (участок № 688) застроена лишь частично — маленьким флигелем и нынешним правым двухэтажным домиком при входе в сад со стороны Преображенской, где теперь размещается магазин по реализации CD. Позднее этот дом и флигель сливаются в единую "клюшку".

Теперь об истории поселения в Городском саду Общества сельского хозяйства. Как и Общество искусственных минеральных вод, оно возникло в 1828 году, и так же, как и первое, пользовалось огромной поддержкой М.С. Воронцова, что и неудивительно, если учесть настоятельную необходимость хозяйственного освоения колоссального южного региона. Около четверти века оно занимало помещения в здании старой биржи (ныне — Горсовета) на Приморском бульваре, где помимо всего прочего размещались его природоведческие музеи. Положение Общества здесь становилось все более и более стесненным — с увеличением коллекций, библиотеки, тематических кабинетов, лабораторий и проч. В 1850-1852 годах ходатайства Общества возымели последствия, и ему отвели принадлежавший городу дом на территории Городского сада, в тылу Малого переулка. Поскольку взимаемая городом арендная плата была чисто символической, в 1853-м одесский градоначальник А.И. Казначеев с разрешения кавказского наместника, то есть М.С. Воронцова, передал все здание в ведение Общества. Приняв довольно скромное и ветхое строение 23 февраля того же года, ученые-аграрии уже в первые годы эксплуатации затратили на ремонт более 700 рублей, а далее, несмотря на ежегодные починки, ремонтные расходы все увеличивались.

Ветхий дом надо было капитально перестраивать или же разбирать и возводить новый, однако идти на это можно было, лишь заручившись долгосрочным правом пользования. Исходя из этого, Общество возбудило ходатайство либо о передаче дома в свою собственность, либо об отводе в долговременное пользование. 4 февраля 1858 года последовало "Высочайшее повеление" об уступке Обществу без торгов занимаемого им с 23 февраля 1853 года в Городском саду дома, принадлежавшего городу, за оценочную сумму 2400 рублей. Из оценки видно, что здание это было не только в дурном техническом состоянии, но и невелико. Что касается налога с этой недвижимости, то министр внутренних дел пояснил, что он

не будет взиматься до тех пор, пока дом не станет использоваться по назначению, то есть исключительно в рамках, очерченных уставом Общества. А вот если оно надумает передавать здание в аренду или же использовать с предпринимательской целью некорректно, тогда другое дело.

Теперь можно было затевать стройку. Для нас важно понять, где именно! На плане Торичелли на сопряжении упомянутых участков №№ 700, 701, 706 и 707 видно два строения, параллельных Преображенской улице. Но если одно из них продолжается до Малого переулка и выходит на фасад, то второе, совсем небольшое, как раз попадает в стык с нынешним летним театром филармонии, а именно этот участок Городского сада всегда и сдавался в аренду под увеселительные заведения. С другой стороны, на планах второй половины XIX века два домика, принадлежавших Обществу, вычерчены параллельными как раз Малому переулку. Это наводит мысль о том, что старое городское строение, переданное Обществу, было не перестроено, а выстроено наново, и при этом была изменена первоначальная его конфигурация.

Обстоятельства строительства таковы. Пришлось взять кредит в Приказе общественного призрения в 5000 рублей на пять лет под шесть процентов годовых. На постройку и отделку небольшого одноэтажного дома на цоколе и его внутреннюю отделку издержали более 6780 рублей. В результате Общество исходатайствовало рассрочку платежей в виду несостоятельности, а впоследствии, 13 ноября 1864 года, город вообще великодушно скостил остававшийся за аграриями долг. При этом строго оговаривалось лишь одно условие: дом остается за Обществом до тех пор, пока оно будет существовать, но в случае ликвидации здание переходит в собственность города. Ремонт и страхование строения должны, естественно, производиться за счет Общества.

Развернув в 1859-м строительство дома в Городском саду, Общество в то же время заключило с одесской купчихой Х. Фендерих контракт на постройку "на уступленном городом дворовом месте при доме для склада и продажи земледельческих орудий, с тем, что по прошествии 12 лет магазин поступит в собственность Общества без всякого вознаграждения". Вот цитата, хорошо иллюстрирующая, что же собственно представлял собой означенный магазин и — в какой "контекст" он вписывался: "Смело можно сказать, — написано в отчете Общества за 1859 год, — что подобного магазина с таким разнообразным сортаментом орудий и машин еще не было в России. Если к этому присоединить еще то, что он находится в центре города, в саду, в соседстве с лучшею гостиницею, где обыкновен-

но останавливаются помещики, что выбором машин непосредственно может руководить хозяев Общество, то само собою становится очевидным, что этот магазин будет иметь огромное влияние на распространение улучшенных орудий и машин в крае".

Идея устройства экспозиции (музея) сельскохозяйственных орудий была высказана секретарем Общества, известным впоследствии литератором П.Т. Морозовым, еще в 1832 году, но осуществляться стала гораздо позднее, после переселения ученых-земледельцев в Городской сад. Благодаря этой экспозиции сельские хозяева "начали делать заказы по виденным образцам" и, кроме того, "брать орудия на срок до 6-ти недель для временного испытания", то есть апробирования. Но когда Фендерих (фирма известна сначала как Беллино-Фендерих, а впоследствии как Беллино-Коммерель) в 1860-м открыла в Городском саду упомянутый магазин-выставку сельскохозяйственных орудий, собиравшаяся в течение десяти лет Обществом солидная коллекция была распродана.

Впрочем, и сельскохозяйственный салон госпожи Фендерих не выдержал испытания временем, поскольку город постепенно наводнили передовые орудия и машины таких известных зарубежных фирм, как Маккормик, Осборн и др. Она отказалась от выстроенного магазина не через 12, а через семь лет, в 1867 году, и "с 1 апреля 1868 года Общество начало отдавать его в наймы другим лицам". Кому? Разумеется, тем, которые специализировались на ресторанном и вообще развлекательном бизнесе. И при этом оно хитроумно сохранило не облагаемое налогом и использовавшееся по прямому назначению основное здание. Вспомните приведенную выше цитату о том, что салон этот строится по соседству с лучшею гостиницей, в которой обычно останавливаются помещики! Что же это за гостиница, примыкавшая к Казенному саду?

Окончание следует



— Сэр, — сказал он, — если вы сотрудничаете с русскими агентами, надо зарегистрироваться.

Я сказал ему, что не сотрудничаю с русскими агентами, посмотрел на его напарника, который сидел в моем кресле, плотно, уверенно, по-хозяйски, и повторил:

— Сэр, я не сотрудничаю с русскими агентами.

— Его зовут Томас, — он кивнул в сторону напарника. — Меня зовут Джерри. Можете называть нас по имени.

— Есть, сэр. Но пока я не готов. Мое имя вы знаете.

— Слушай, — улыбнулся Томас, — ну чего так, сразу в бутылку. Мы сюда для чего пришли? Пришли, чтобы поговорить.

— Я не приглашал вас.

Джерри подтвердил:

— Не приглашали. Но были варианты. Мы предлагали варианты.

Это верно: были варианты. Мне позвонили по телефону, сказали, что хотели бы встретиться.

— Сэр, где бы вы предпочли: ланч где-нибудь в ресторане, по вашему выбору, у вас дома или...

— ...или, — я засмеялся, — у вас в конторе?

— Да, сэр, или у нас в конторе. Полагаю, сэр, вы знаете: наша контора на Федерал-плаза, дом 26.

Да, я знал, где контора: сорокаэтажный серый дом с посаженными глубоко, как ячейки в пчелиных сотах, окнами. Главный вход с Бродвея, там всегда в очереди, зажатой съемными железными оградами, толпятся люди, на детских площадках, крытых резиновыми матами и огороженных с четырех сторон, играют дети, в жаркий день прохожие останавливаются, берясь за опоры или металлические сетки, с улыбкой, как бывает в зоопарке, где резвятся косматые щенята, разглядывают детей.

— Сэр, — сказал я, — вы предпочитаете, чтобы я пришел к вам в контору?

— Вы можете прийти к нам в контору. Но почему не встретиться у вас дома?

Я спросил:

— Хотите посмотреть мою берлогу?

Он не ответил. По привычке, как будто собеседник был рядом, я мотнул головой:

— О'кей.

Я не говорил: "Приходите". Не говорил, что жду их, буду рад, увидимся, или другие слова, какие говорятся в этих случаях, когда приглашают в гости. Он мог бы сказать: "Сэр, а ваше о'кей — разве не приглашение?".

Он не сказал. Я знаю: он не сказал, потому что дело, ради которого он пришел, не требовало формального предлога. Если информация, которую он получил, верна, надо предупредить человека, чтобы он зарегистрировался, как надлежит всякому, кто сотрудничает с иностранными агентами.

Я спросил у него, почему, по какому праву он предложил мне зарегистрироваться.

Он посмотрел на меня внимательно:

— Я не предлагал вам зарегистрироваться. Я сказал: если вы сотрудничаете с русскими агентами, надо зарегистрироваться.

— Сэр, вы полагаете, что я сотрудничаю?

Он не отвечал. Томас, глянув на меня, на Джерри, замотал головой, засмеялся. Сначала этот смех показался мне странным, я с удивлением смотрел на Томаса, я хотел, чтобы он видел это мое удивление, и вдруг сам засмеялся, замотал головой, как Томас.

— Ну, парень, — хлопнул себя по колену Томас, — ну, парень! Да кто ж говорил, что сотрудничаешь? Ну кто, покажи пальцем.

Джерри сделал знак Томасу, чтобы унялся, уставился на меня, было ощущение, чего-то ожидает, у меня у самого было это чувство: что-то должно произойти, я показал пальцем на одного, на другого:

— Я могу сказать: уходите. Я у себя дома. Я могу вам сказать, уходите, и вы уйдете. Но я не хочу выгонять вас. Вы сами уйдете.

Томас в кресле подался весь вперед, слегка покачивая из стороны в сторону треугольный свой торс, крепко затянутый в пояснице ремнем. Джерри подошел ко мне, положил руку на плечо, тут же убрал, мне было неприятно, когда он положил на плечо мне свою руку, но еще неприятнее, когда вот так, без слов, спустя секунду убрал ее.

— Мы, конечно, знаем о вашей жизни в России, — сказал Джерри. — Ваша лояльность ставилась под сомнение. Вы не смогли опровергнуть этих сомнений. Вам предъявили более серьезные обвинения: нелегальные связи с западными службами. Естественно, нам хотелось бы уточнить: верно ли, что у вас были такие связи? Если вы не считаете уместным отвечать на этот вопрос, ваше право — не отвечать.

Я спросил:

— Сэр, вы уверены, что у меня есть право не отвечать?

Томас смотрел на меня с недоумением, перевел взгляд на Джерри, по-

том опять на меня, и хотя мой вопрос был адресован не ему, сказал, вертя пальцем перед носом:

— Здесь не Россия. Здесь Америка. Парень, здесь Америка.

Джерри не понравилась реплика Томаса. Я по глазам видел: ему в самом деле не нравится реплика Томаса, он чуть сощурился и, обращаясь ко мне, твердо произнес:

— Да, я уверен, ваше право — не отвечать.

Мне хотелось сказать Джерри, слушай, я не в России, я в Америке, нелегальные связи с западными службами мне, как праотцу Аврааму вера в Господа, здесь в праведность. Я хотел сказать именно это, я уже и слова обдумал, но услышал вдруг голос не мой, но похожий на мой, как бывает, когда слушаешь себя в магнитной записи:

— Я не буду отвечать.

Томас откинулся в кресле, скрестил руки на груди, видно было, как под рубахой играют бицепсы, Джерри не сразу, а так, секунды две-три спустя, кивнул головой: о'кей. Глянув на книжную полку, он спросил, можно ли посмотреть вот эту, на обложке силуэт Нью-Йорка, получив разрешение, снял книжку, стал листать.

Я спросил:

— Вы читаете по-русски?

Он сказал, что не читает, но знает буквы, кириллицу, отдельные слова может прочитать. Имя на обложке может прочитать, название тоже, если слова звучат, как по-английски, например, "бизнесмен". Джерри улыбнулся, улыбка доброго парня, откуда-нибудь со Среднего Запада, я таких встречал в Огайо, в Айове: с коротким, чуть вздернутым, как это бывает у ирландцев, носом и зелеными, с крупицей песка, как у камышовых котов, глазами.

— Джерри, — имя как-то само сорвалось, — вы со Среднего Запада, из трапперов?

Он перестал листать книгу, вскинул голову, улыбнулся, улыбка была та же, опять пришли на память Огайо, Айова, где были у меня встречи с тамошними университетскими профессорами, студентами и рослыми, с удивительно белой кожей и рыжими крупными веснушками вокруг носа и над грудью, в широко развернутых воротах лазоревых и густо-синих рубах, студентками, все, как одна, влюбленными в Россию, Толстого, Достоевского, Чехова.

— Я не из трапперов, — сказал Джерри, — но вы немножко угадали: в роду были охотники, только не со стороны европейцев, а со стороны ин-

дейцев. Так что в жилах есть кровь аборигенов. Я читал, русские сильно верят в инстинкт. Наверное, какие-то основания есть.

Я подтвердил: несомненно, есть, вот он, Джерри, пошел в охотники.

Томас набычился, сжал пальцы в кулаки, а Джерри, наоборот, весело, по-мальчишески засмеялся:

— Есть, есть, только скорее не в охотники, а в следопыты. Мне говорили, русские школьники до сих пор читают книги Фенимора Купера и Майн Рида. А наши, я думаю, многие, даже не слышали про этих писателей. Конечно, в этом немножко вина нашей школы.

Джерри перестал листать книгу, глянул в окно, отсюда казалось, Ист-Ривер катит свои воды между домов, два моста, Манхэттенский и Бруклинский, немного заслоняли устье, где Гудзон сходился с Ист-Ривер, статуя Свободы и приземистые дома Губернаторского острова, с его зелеными лужайками, как будто специально раскрашенными, чтобы положить отрадное для глаза пятно на свинцовые воды, воспринимались как детали гигантского макета.

— Я думаю, — сказал Джерри, — это психологическая загадка: почему такие большие комплексы, смотрите, немножко даже видно верхушки ферм моста Верезсано, воспринимаются, как макет? Наверно, для человеческого глаза это как кубики, как детали конструктора, из которых по Вселенной строятся города людей.

Джерри подошел к окну, Томас весело, как свой своему, подмигнул мне — во, дает! — Джерри вдруг резко, как будто почувствовал, что за спиной у него перемигиваются, обернулся, не к Томасу, который гримасничал, на лице еще сохранялась веселая ухмылка, а ко мне:

— Вам нравится Нью-Йорк?

Я сказал, да, нравится. Нью-Йорк — это рай с наиболее привлекательными чертами ада.

Томас сделал большие глаза. Видно было, что не прикидывается, видно было, что в самом деле удивлен. Джерри, напротив, как будто ждал этого ответа или, если не именно этого, то чего-то в таком роде, спросил:

— Черты ада?

— Я не сказал черты ада. Я сказал: наиболее привлекательные черты ада.

— Вы могли бы указать конкретно?

— Да, — ответил я, — мог бы. Столь же конкретно, сколь и черты рая.

— Но вы отчетливее видите черты ада. Скажите, это всегда или только тогда, когда вы пишете об Америке?

— Когда я пишу об Америке, я вижу Америку.

— А когда вы пишете о России, — без паузы, как будто говорил один человек, уверенно продолжая монолог, твердо произнес Джерри, — вы видите Россию. В ваших рассказах о родном городе много солнца. В вашем Нью-Йорке нет солнца.

— В моем Нью-Йорке столько солнца, сколько увидел или хотел увидеть тот, кто читал про этот Нью-Йорк.

Томас сощурился:

— Что значит хотел увидеть? Сколько есть, столько увидел. Сколько есть, — повторил он, — столько увидел.

— Джерри, — сказал я, — вы знаете кириллицу. Это немало. В детстве, когда меня готовили в школу, я полгода бился над буквами — "ш" и "щ". Я думал, если к "ш" прибавить палочку, она будет "щ". Если у "щ" отнять палочку, она будет "ш". Эти рассуждения должны были помочь мне, но на самом деле запутали еще больше. Мама приходила в отчаяние. Она говорила, с такими знаниями меня не примут в школу, и я буду весь день бегать по городу, как беспризорный. "Беспризорный" в моем городе это было бранное слово. Джерри, вы не читали моих рассказов о родном городе, о России. Вы не читали моих рассказов об Америке. Как, не читая, можно сравнивать?

— Не странно ли, — улыбнулся Джерри, что Брайтон-Бич называют "Одессой у моря"? Один ваш соотечественник сказал: "Это глупо. Где же еще может быть Одесса, если не у моря?".

Томас засмеялся. Не засмеялся, а зареготал, громко, с раскатами, как в солдатской казарме:

— Мне нравятся ваши земляки. Крепкие ребята. Есть такие, ну, прямо готовые американцы.

Я сказал, да, есть. Марк Твен в Одессе, когда первый раз вышел в город, почувствовал себя, как будто дома, где-то на американском Западе.

— Я думаю, — кивнул Джерри, — тогда это могло иметь место. Теперь, конечно, по-другому. Скажите, на Брайтон-Биче у вас есть знакомые?

— На Брайтон-Биче?

— Не только на Брайтон-Биче. Ну, — Джерри задумался, видимо, вспоминая другие районы, — можно назвать еще, Фар-Роккэвей. К примеру.

Я спросил: Фар-Роккэвей? Это у черта на куличках. Почему Фар-Роккэвей?

— Забудем Фар-Роккэвей, — сказал Джерри. — Вы хотели бы назвать кого-нибудь из знакомых?

— Для чего? — спросил я.

Джерри не ответил. Он смотрел на меня в упор, в зеленых глазах появилась желтизна, я думал, отчего эта желтизна, возможно, наследие от его предков-охотников — команчей, апачей, дакотов. Вот так, когда глаз засекал дичь или другую цель, появлялась эта, взятая от пламени костра, желтизна.

— Я вижу, — сказал Джерри, — я понимаю: вы не хотите называть.

Я повторил свой вопрос: для чего называть?

— Вы ждете от меня ответа, — сказал Джерри. — Какого ответа вы ждете?

Джерри был прав: какого ответа я ждал от него? Что мои соотечественники, мои земляки, те, с которыми у него было собеседование, рутинная процедура службы безопасности в эмигрантском улье — называли имена, чтобы представить свою осведомленность в делах, имеющих для ФБР большой государственный интерес?

Джерри сказал:

— Я думаю, у вас есть ответ. Вы правильно угадали: ваше имя называли. Не торопитесь с заключениями. Утверждали, что знают вас хорошо. Но как вы изображаете Америку, — Джерри сощурился, подыскивая нужное слово, — одобрения не было. Я думаю, вы не можете удивляться, что люди видят некоторые факты не так, как видите вы. Эти люди говорят, что социалистический реализм, который заставляли их учить в школе, хотя во всех отношениях был неправильный, в одном отношении был правильный: по тому, как автор описывает жизнь, можно судить, какое у него настроение и какие взгляды. Даже Пушкин, который был такой большой поэт, как в Англии Байрон, невольно открывает свои взгляды, когда пишет, например, о гавани или об опере в Одессе, где он был целый год в ссылке. Это очень интересный феномен с точки зрения психологии. Сами авторы готовы отрицать, но со стороны, кто занимается и умеет анализировать, обязательно заметит.

Томас подтвердил, это так, и чего у русских не отнять, так это помешательства на литературе. Китайцы, корейцы, даже индусы — те целиком в своих лавках, в бизнесе. А русские, даже кто в бизнесе, не с одного, так с другого конца гребут под литературу.

Я спросил Джерри:

— На эти собеседования вы ходите обязательно вдвоем, в паре, как сегодня с Томасом?

Я был уверен, мой вопрос не понравится. Собственно, этого я хотел: чтобы вопрос не понравился. Чтобы Джерри сам убрал академический этот плюмаж, от которого рябило в глазах там, в родном краю, когда в дор-

туарах Галины Борисовны толмачи объяснили мне главный канон соцреализма: кто не с нами, тот против нас.

— Я готов ответить на ваш вопрос, — сказал Джерри. — Но прежде я хотел бы спросить вас, для чего вы задаете этот вопрос? Я вижу, вы хотите укусить. Признайтесь, — улыбнулся Джерри, — хотите.

— Не, — осклабился Томас, — не признается. Ни за что не признается.

— Мы, — Джерри кивнул в сторону Томаса, — делаем одно дело. Но каждый слышит и видит по-своему. Это в ваших интересах, чтобы нас было двое. Но когда один, есть свои преимущества: человек чувствует себя свободнее, самоконтроль меньше. Ваши соотечественники, можно думать, скорее предпочитают тет-а-тет. У многих хорошая память и острый глаз. Бывает просто удивительно, сколько подробностей они держат в уме.

Да, подтвердил я, бывает просто удивительно.

— Скажите, — спросил Джерри, — дубленка это что? Шуба такая или скорее крестьянский тулуп, кажется, я видел в картине "Доктор Живаго" или в русской хронике.

Я предложил Джерри сходить в магазин Коли, Орчар-стрит, пара блоков от Дилэнси, там можно увидеть дубленку и потрогать своими руками. Пик моды давненько прошел, но все равно покупают много и посылают родичам, друзьям.

— Дубленка, — улыбнулся Джерри, — это знак достатка, положение в обществе, как леопардовое манто у Жаклин Кеннеди?

Почти, чуть поменьше, сказал я и снова предложил сходить в магазин Коли, Орчар-стрит, в двух блоках от Дилэнси, там дубленки всегда в ассортименте.

Томас загоготал:

— Леопардовое манто от Коли, два блока от Дилэнси! Далеко, босс, ходить — а поближе нет лавки!

Была бы ближе, сказал я, какой резон таскаться в такую даль, пятнадцать минут ходу от Федерал-плаза.

Джерри посмотрел удивленно:

— Вы хотите нас уколоть? Я понимаю вас.

Томас сказал, он тоже понимает, но лицо вдруг переменилось, сошла веселая ухмылка, как будто невидимая рука в долю секунды стянула маску. Странно было наблюдать это стремительное превращение. Странно, но притом приятно, как бывает на сеансах иллюзиониста, когда удается хороший фокус.

Джерри повертел в воздухе пальцами, вроде ищет, завинчивая-отвинчивая, нужное положение регулятора.

— Будем откровенны, — сказал Джерри. — У вас такое чувство сейчас, как будто из КГБ пришли к вам домой. И вам это сильно не нравится.

— Сэр, вы не угадали. Ко мне домой не приходили. Наоборот, звали к себе, чтобы спросить: "А что, если нагрянем в гости?". И всегда предупреждали: "Смотрите, как бы не застрять". Откровенность за откровенность: вы не тянете на КГБ.

Джерри удивился:

— Не тянем? Вы в самом деле так думаете?

Томас, как давеча, оторвал треугольный свой торс от кресла, бицепсы под рукавами обозначились, как у штангиста, выходящего на вес.

— Надо будет, — сказал Томас, — потянем.

— Не, сэр, не потянете.

— Не, потянем. Потянем, — повторил Томас.

В голосе его звучала нота обиды. Я отчетливо слышал эту ноту, и захотелось мне подойти к нему, положить, как другу, руку на плечо и сказать: "Хей, Том, дружище! Конечно, потянете. Как пить дать — потянете!".

Я готов был уже сказать Томасу эти слова, но Джерри вдруг повернул разговор:

— Когда вы говорили, что благородное мальчишеское правило "лежачего не бьют" не работает в Америке, как должны были понимать эти слова те, кто слышал? Я думаю, надо уточнить: это были ваши слова?

Да, это были мои слова.

— Да, Джерри, это были мои слова. Благородное правило мальчишеского рыцарства "лежачего не бьют" — в Америке не работает. Я повторяю на тот случай, чтобы магнитофоны, если они у вас есть, могли записать.

Джерри сказал:

— У нас нет магнитофонов. Если бы у нас были магнитофоны или какое-нибудь другое записывающее устройство, мы поставили бы вас в известность.

Томас захватил пальцами углы подлокотников, было впечатление, готовится к прыжку, машинально я сделал шаг навстречу, он остался в той же позе и с хрипотцой, какая появляется в голосе, когда приходится сверх меры сдерживать себя, произнес:

— Вы оскорбили должностное лицо при исполнении служебных обязанностей. Вы сказали, мы прячем под полой магнитофоны и ведем без вашего ведома запись.

— Я этого не говорил.

— Не говорили, — подтвердил Джерри, — но ваше предложение повто-

рить слова строились на том, что запись ведется. Здесь не было прямого утверждения, но был определенный намек, чего вполне достаточно, чтобы толковать как клеветническое измышление. Но, конечно, — улыбнулся Джерри, — никто не будет. Просто гипотеза.

Я протянул руку Джерри, он мгновенно, без промедления, подал свою, сухую, с неожиданно крепкими пальцами, другую руку положил мне на плечо, сделал движение, как будто хочет привлечь к себе, прижать.

Томас скорчил гримасу, видно, вся сцена была не по вкусу, сказал, кивая на Джерри, не зря говорят русские, свой в доску, понимает с полслова.

— Полслова, — подмигнул я Тому, — много. Если считать от тезиса про клевету, который просто гипотеза, в нашем случае и полслова не было. Чистый импульс.

Джерри сказал, у русских импульс это голос сердца, крик души в обход цензуры. Люди так намаялись под цензурой, что всякому первому чувству, первому слову рады дорогу дать. Талейран, который сначала был епископ, а потом министр у Наполеона, говорил: бойтесь первого движения сердца — оно обычно бывает искренним.

Джерри улыбнулся:

— Если бы я не знал, что это сказал Талейран, я бы подумал, что сказал Достоевский.

— Джерри, Достоевский не сказал бы: бойтесь!

Джерри засмеялся, ткнул меня кулаком в грудь:

— Конечно, правильно. Достоевский, наоборот, сказал бы: верьте первому движению души — оно обычно бывает искренним. Это как у детей. Я заметил, что русские, не все, но большая часть, — это просто, как маленькие дети, которые все замечают и торопятся найти кого-нибудь, чтобы рассказать. У них такой запас накопляется, что обязательно хочется описать. С Брайтон-Бича письма бывают по десять страниц из школьной тетради, с такими подробностями, что Шерлок Холмс, который по следам грязи на каблуках угадывал, из какого района Лондона, мог бы удивляться, сколько у него еще остается незамеченным. Особенно если взять детали из быта. Скажите, это правда, — спросил Джерри, — что когда русские зовут в гости на обед, неприлично ставить на стол курицу, а обязательно надо какой-нибудь стейк из говядины или другого мяса?

Да, сказал я, лучше всего из дикого кабана или аляскинского оленя. Но если нет ни того, ни другого, кусок медвежатины тоже сойдет.

Томас чуть не заржал:

— Ну, даете, ребята: кусок медвежатины тоже сойдет!

Джерри кивнул: он понимает, это шутка, но каждый день на завтрак медвежья колбаса — это тоже шутка?

Мне не нравился гастрономический поворот темы, не нравился жеребячий смех Томаса, не нравился юмор насчет завтрака, где на каждый день непременное блюдо — медвежья колбаса.

Джерри сказал, он видит, я чем-то недоволен, но не понимает причины недовольства.

Томас с ходу объяснил:

— А ему завидно, что другие имеют каждый день на завтрак медвежью колбасу, а он не имеет. А паюсную икру имеет? А паштет из гусиной печенки, самолетом из Мюнхена, из Праги? А трюфель, только что выкопали из земли, заправили и прямо на стол? А на десерт — марципаны в сметане? Имеет? Не имеет!

Я не ожидал от Томаса такого монолога. Я сказал ему:

— Отличный монолог. А география какая, а гастрономия!

— Я думаю, — улыбнулся Джерри, — нетрудно догадаться: Томас цитировал, не дословно, но по смыслу очень близко.

Джерри спросил: как можно объяснить, что здесь, в Америке, многие из этих людей, хотя сами могут позволить себе разные деликатесы, пишут о своих соседях или знакомых, как будто есть что-то предосудительное в меню, которое тем нравится?

Скорее всего, сказал он, в этом можно усматривать детскую зависть. Именно детскую, потому что дети, даже когда нет особенного аппетита, заглядывают друг другу в тарелку, чтобы узнать, у кого больше.

То же самое, наверное, можно думать насчет одежды, когда пишут, например, про дубленки или какие-нибудь шубы, больше всего норковые, как будто у всех женщин одинаковый вкус. Или, если взять другой пример из быта, про итальянскую, голландскую и шведскую мебель. Хотя, конечно, это немножко загадочно, что русские так много говорят про мебель.

— Знаете, — улыбнулся Джерри, — я думаю, это все-таки какая-то инфантильность. Я читал у Гейне, что немцы в своих домах наделяли предметы домашней утвари душой. У каждого предмета — шкафа, комода, кровати — была своя душа, которую обитатели дома чувствовали. Конечно, это было двести лет назад. Предметы мебели, по внешнему виду неодушевленные, на самом деле были для хозяев как друзья, как близкие родственники. Я заходил в русские мебельные магазины. Это же целое царство. Люди, которые обставляют свои жилища такой мебелью, наверное, чувствуют большую безопасность. Я думаю, это можно понять. Но здесь есть другая сто-

рона. В письмах, какие к нам приходят, можно найти имена, адреса людей, которые живут на пособие, а могут позволить себе такую обстановку.

— Джерри, — сказал я, — но у этих людей, которые живут на пособие, есть дети, есть внуки, которые помнят, что у них есть папы-мамы, бабушки-дедушки.

— О, — кивнул Джерри, — это очень правильно: у вас, русских, родственные связи — это прямо традиция. Но в письмах можно найти, что не дети помогают пожилым родителям, а как раз наоборот: родители помогают детям. Иногда бывают самые неожиданные подробности. Старики идут к своим русским докторам, те выписывают не только лекарства, но всякие снаряды для физических упражнений, так что у некоторых в квартире целые спортивные склады. Или...

Джерри засмеялся, спросил, что означает русское слово "хомейка", я машинально повторил — "хомейка"? — и сказал, что такого слова, *хомейка*, в русском языке нет.

Джерри нахмурился:

— Вы уверены?

— Абсолютно. Сто процентов. Томас весело зачастил:

— Поймался! Поймался! А прислуга по-русски как? Хомейка! Поймался, поймался!

— Так вот, — сказал Джерри, — старикам прописывают, на двадцать четыре часа по уходу, хомейку, а старики либо своих родственников пристраивают, либо со сторонней хомейкой сладятся из половины.

Я твердил про себя: хомейка, хомейка, хомейка... Слово казалось до странности знакомым, смысл был где-то рядом, но, приблизясь почти вплотную, тут же ускользал. И вдруг отчетливо, как голос электронного говорящего словаря, прозвучало по-английски: *homemaker*.

— Джерри, — сказал я, — держите: ваша *homemaker* — от русской *хомейки*.

Джерри смотрел на меня удивленно, сильно наморщил лоб и вдруг, хлопнув себя ладонью, расхохотался:

— Ну, конечно, *homemaker*. Как можно было не догадаться! Ну, немножко не совсем точно: *homemaker* скорее домохозяйка, а не прислуга, но, конечно, часто делает работу как прислуга, домработница. По-моему, у русских получился очень удачный неологизм. Наверное, имеет смысл рассказать славистам из Колумбийского университета. Вообще, я думаю, им интересно было бы провести такое исследование по лингвистике: неологизмы в языке русских эмигрантов.

Я сказал, по-моему, тоже очень интересно. Такая работа и для конторы, в которой трудится Джерри, не без пользы. Тем более что у людей может быть свой практический расчет на пользу.

Да, сказал Джерри, в России практическая польза могла быть. И бывала. Лубянка, в каждом городе была своя контора, приучала людей: зайдешь с черного хода — проводят с парадного. Но в Америке не так. Здесь, Джерри постучал костяшками о стол, через какую дверь вошел, через ту и выйдешь.

Конечно, иногда можно заметить, что люди рассчитывают на вознаграждение. Словами об этом не говорят, но по глазам, по движениям видно, что стараются угадать, как лучше угодить. Рассчитывают, что можно получить должность инструктора, воспитателя где-нибудь в средней школе или место в публичной библиотеке. Конечно, это неоправданные ожидания.

— Вообще, — Джерри задумался, видно, мысль пришла в голову сейчас, по ходу разговора, — наверно, следовало бы предупреждать, а то получается немножко нечестно, какие-то жмурки, конечно, только с одной стороны. Но есть хорошая поговорка: когда находишься в Риме, делай так, как делают римляне.

— Мудрая поговорка, — сказал я, — Александр Бэрлинсон, ваш коллега, любил вспомнить ее.

— Александр Бэрлинсон? — удивился Джерри. — Я вижу, вы немножко интересуетесь нашей службой...

— Агент Бэрлинсон, поэт, сочинял стихи, мастерски играл на фортепиано, в музыке превыше всех ставил Стравинского и Прокофьева. Россия была для него жар-птицей с опаленными крыльями.

— Увы, — развел руками Джерри, — старина Бэрлинсон прошел свою земную дорогу. Вам не говорили?

— Нет. Говорили об американских интеллектуалах, для которых ремесло филёра исполнено романтики. Разговор был в университетской компании, за чашкой кофе.

— В России, — засмеялся Джерри, — в этом случае, конечно, кроме кофе, была бы на столе бутылка водки.

Джерри подошел к окну, некоторое время стоял молча, вдруг замахал рукой, призывая к себе:

— Русский пароход! Как будто специально выбрали момент. Мистика!

Белые буквы на корме отчетливо были видны: "Колыма". Джерри громко, по слогам, прочитал вслух, удивился: какая Колыма, в Сибири, где Гулаг?

Я сказал: Колыма река, больше Колорадо, по длине — пять Гудзонов.

Джерри засмеялся:

— Наверное, можно сказать, что в три раза меньше, чем Миссисипи и Миссури. Но впечатление, конечно, будет другое.

Я сказал:

— Джерри, держу пари: вы убеждены, что у всех из России, почти у всех, ностальгия. Даже Колыма не исключение для них.

Джерри опять засмеялся:

— А что, не так? Несколько человек, которые по разным причинам имели срок на Колыме, говорили мне, что какая-то тоска держалась довольно долго и даже теперь иногда возвращается. Достоевский хорошо знал этот феномен из мест заключения и ссылки. Привычка — большая сила. Очень большая сила. Особенно в России.

— Джерри, когда в последний раз вы были в России?

— Я не был в России, — сказал Джерри. — Но бывает чувство, как во сне: знаешь, что не был, но одновременно другое чувство, что был. Я думаю, наш мозг можно сравнить с компьютером, где программа дает каждому уровню автономию.

Томас прямо заерзал в своем кресле: ну, точно, это у него еще со школьных лет, как будто в голове разные полки, на каждой полке своя жизнь, делаешь вид, что слушаешь учителя, а учитель вдруг подойдет, возьмет за подбородок, потянет кверху, ау, где ты?

Джерри, пока Томас вспоминал о таинственных извивах своей школярской психологии, смотрел в окно, видимо, следя за судном.

Внезапно обернувшись, но оставаясь по-прежнему в оконном проеме, как будто вставленный в раму, Джерри произнес громко, быстро, уверенно:

— Вы убеждены, что вас оговорили. Я просил вас назвать имена. Вы этого не сделали. Я готов повторить: назовите имя.

Ослепленный солнечным светом, бившим мне в глаза, я видел лицо Джерри, как бы припорошенное синькой. Это было неожиданно, я засмеялся, сказал Джерри, он для меня сейчас, как некий дух в лесной избушке у Амброза Бирса, где по пари, которое заключили между собой два американских парня, один из них при свете свечи в ночной этой избушке, читает страшный рассказ, и в тот момент, когда ужас, охвативший его, достигает своего пика, замертво сваливается на пол, где и застает его друг, пришедший утром в избушку, чтобы убедиться, что выиграл пари.

Джерри — лицо его уже прояснилось — смотрел на меня пристально, моментами я видел глаза друга, пусть не друга, но, несомненно, доброже-

лателя, я готов был назвать имя, которое он хотел услышать от меня, но тут же, как бы во всем теле синхронно сработали тормоза, был этими тормозами остановлен.

Джерри усмехнулся:

— Я понимаю, тормоза. Механизм. Вы не хотите говорить, вы хотите услышать. Скажите, вы полагаете, что у человека могли быть личные мотивы, претензии, какие-то неоправданные... или, скажем по-другому, не оправдавшиеся расчеты?

Я сказал Джерри, оправдались или не оправдались эти расчеты — это ему лучше знать.

Джерри спросил:

— А какие, по-вашему, могли быть расчеты? Или не обязательно расчеты, какие-нибудь другие мотивы? Скажем, просто желание сотрудничать с теми, кто, как это привыкли видеть русские, представляют власть. Вы не думаете, что это может быть совсем бескорыстно?

Я сказал, да, может, как в романе Генриха Манна "Верноподданный". Инстинкт верноподданничества.

— Инстинкт верноподданничества? — Джерри поморщился. — По-моему, это немножко оскорбительно. Генрих Манн — немецкий писатель. Вы не могли взять какой-нибудь пример из русской литературы? В русской литературе много примеров патриотизма.

— Джерри, — сказал я, — можно полагать, ваши конфиденты приводили свои примеры из русской литературы. Из русской советской литературы.

— Приводили, — улыбнулся Джерри. — Говорили про пионера Павлика Морозова, который выдал своего отца, потому что тот был против колхозов, и отца расстреляли в КГБ. Но больше говорили про русских писателей, особенно про Пушкина. Со стороны одного литератора была готовность даже прочитать целую лекцию про Пушкина. Она объяснила, в городе, где она провела свое детство, до сих пор стоит очень красивый памятник Пушкину, и для нее лично Пушкин как живой. Если бы можно было дать ей хорошего переводчика, она бы прямо сегодня села за книгу о Пушкине. Но, конечно, — пожал плечами Джерри, — по таким вопросам надо говорить где-нибудь в журнале или книжном издательстве. Возможно, повторяю, это наше упущение, что люди сохраняют какую-то надежду на содействие.

Я кивнул Джерри: да, надежда на содействие — это, конечно, пустое. Но возможна и другая реакция: противодействие. Я спросил Джерри: практикует ли его контора этот вид ответа на активность особи, естествен-

но, оставляя ее в неведении относительно источника противодействия, если деятельность особи подвергается сомнению?

Джерри вопрос не понравился. Было очевидно, он обдумывает ответ, какой уместно было дать, чтобы, с одной стороны, не допустить посягательства на честь мундира, а с другой стороны, не подвергнуть сомнению его готовности вести, в наметившихся границах, честный разговор.

— Скажите, — Джерри скрестил руки на груди, чуть склонил голову, прищурил правый глаз, вроде прицеливается, — вот этот журналист, корреспондент московской газеты, с которым вы ходите в сауну, в бассейн в Бруклине, где можно по-русски выпить и закусить, он что-то делает для вас в Москве или обещает сделать?

— Джерри, — сказал я, — есть хорошая идея. Хотите?

Джерри кивнул: говорите.

— В Москве у вас есть, конечно, свои люди. Я думаю, они могут дать точную информацию. Надо будет добавить — добавим.

Джерри стоял все так же, скрестив руки на груди, только поднял голову, а Томас, как будто засадили из-под сиденья шпильку, подпрыгнул в кресле:

— Слушай, да он же просто хамит: свои люди в Москве! А ты назови. Назови. А нет — клевета!

Джерри — молодец. Интеллигентный парень. Спросил Томаса, все ли, немного подождал, может, тому захочется добавить, и продолжал со мной, вроде никакой не было паузы:

— Вы с этим журналистом встречались прежде в Москве?

Я сказал, нет, не встречались, познакомились здесь, в Нью-Йорке.

— А в Лондоне, — спросил Джерри, — встречались? Вы ездили в Лондон по литературным делам? Как раз в тот период, когда вы ездили, он вторично, после перерыва, был там московским корреспондентом. Лондон — прекрасный город. Мне лично даже больше нравится, чем Нью-Йорк. Наш Бостон немножко напоминает.

Я согласился, да, напоминает, но, конечно, не тот масштаб.

Джерри сделал знак рукой: он понимает, видимо, у многих, не у всех, но у многих, такое впечатление.

— Кстати, — улыбнулся Джерри, — когда вы повезли его на своей машине в Бостон, на конференцию славистов, он тоже, я думаю, сравнивал Бостон с Лондоном. Были, наверное, какие-то воспоминания у вас, у него?

Я подтвердил, были. Досадно, что Джерри не было тогда с нами рядом. Теплая получилась бы компания: московский корреспондент, эмигрант со стажем и стопроцентный янки с долей индейской крови.

Я спросил: кстати, это верно, что слово "янки" пришло в американскую лексику из индейской?

Томас смотрел на Джерри, на меня, на лице то появлялась, то исчезала плутоватая ухмылка, если бы не торс атлета, вполне мог бы сойти за Фальстафа. Джерри, как будто прочитав мою мысль, весело произнес:

— Ну, прямо Шекспир!

Томас нахмурился: кто Шекспир? Но тут же, не дожидаясь ответа, дал свое толкование: где писатели, там всегда цирк или театр. Им только бы подходящий случай. Сенатор Маккарти, тот хорошо понимал, тот раскусил.

Джерри скорчил гримасу, я ожидал, сделает коллеге реприманд, мода на Маккарти, почитай, годов уже за тридцать, как прошла, но никакого реприманда не было, Джерри дал отмашку рукой, дело, дескать, давнее, чего вспоминать, и воротился к теме:

— Московский этот журналист имел привычку привозить для сауны березовые веники из России. Он и для вас привозил? Я имею в виду, конечно, презент.

Нет, сказал я, мы не были настолько близки, чтоб привозить мне в презент из России березовые веники. Березовый веник в России — это мера близости. Конечно, не такая, как березовая каша, известное угощение на Руси, еще со времен царя Гороха.

Джерри засмеялся: он знает, царь Горох в России — это любимый персонаж из фольклора. Но березовая каша? Вообще у русских каша — это почти главное блюдо. Даже в поговорку вошло: мало каши съел, то есть недостаточно умный, проще говоря, дурак. Американцы этого не понимают, что от каши, в зависимости от того, сколько съел, делаешься или дураком, или умным.

Томас очень удивился, что каша играет такую большую роль в жизни русских, но тут же вспомнил, что в семье у них тоже по утрам ели порридж, овсянку. Мать говорила, что овсянка выводит холестерин из организма, и меньше шансов заболеть атеросклерозом. С этой точки зрения русских можно понять.

В России, сказал я, одно время был прямо культ овсянки. Даже название было заграничное, культовое: "Геркулес".

Джерри кивнул, да, русские любят давать имена из истории, хотя, в данном случае, скорее из мифологии.

— С этим русским репортером, когда ходили на Брайтоне в ресторан, — Джерри свойски подмигнул мне, — вы, конечно, не заказывали "Геркулес". Кстати, у меня будет к вам профессиональный вопрос. Я имею в виду по

вашей профессии. Если бы где-нибудь в рассказе или романе вам пришлось изобразить героя, который похож на русского этого репортера, какой бы жанр вы скорее выбрали: психологический или детектив?

— Джерри, — сказал я, — у меня к вам тоже профессиональный вопрос. Я имею в виду вашу профессию. В данном случае, можно полагать, вы предпочитаете детектив: инструкции из центра, спецзадания Лубянки и кадровый вопрос — вербовка осведомителей?

Джерри спросил:

— А что, это первое, что пришло вам в голову? И вы, можно считать, готовы были бы включить это в рассказ или роман?

Мне хотелось положить ему на плечо руку и сказать без фиглей, как говорят другу: "Ты, старик, гайки бы подкрутил. Ну, что ты ловишь меня, как железнодорожного зайца, который забрался в купе, в нужник, а у тебя ключи в кармане. Вокруг наводчики, доброхоты, прямые вагоны Хацапетовка — Нью-Йорк, Егупец — Нью-Йорк, Сивцев Вражек — Нью-Йорк! Ту-ту, станция Брайтуха. Далее везде!".

Джерри улыбнулся:

— Я вижу, вы обдумываете ответ. Я заметил по вашему лицу, вам не понравилось то, что я сказал. Я думаю, мне бы тоже не понравилось. Не обязательно отвечать, если внутри протест или просто нет желания. Писатели и поэты, как они сами говорят, отвечают только, — Джерри поднял глаза, поднял высоко вверх указательный палец, — только перед Ним. Но, конечно, в то же время они живут на земле и, как заведено у вас в России, каждый имеет паспорт с пропиской. В Америке прописки нет, но каждый, — Джерри засмеялся, — даже бездомные, занимает какое-нибудь место. Я уверен, вы хорошо понимаете, не надо объяснять.

Я подтвердил, объяснять не надо, я сам стою за учет и восхищен американской системой учета, которую нет дня, чтобы не было причины или просто какого-нибудь случайного повода почувствовать на личном опыте. Один мой знакомый, гарвардский профессор, нашел, как мне кажется, очень образную формулу, чтобы выразить этот личный феномен как комплекс полулегального бытия. Он полагает, что в Америке каждому индивидууму, не исключая самого президента, в той или иной мере свойственен этот комплекс. Конечно, в местах особого режима, при пожизненном или другом долгосрочном заключении, этот комплекс, поскольку закон уже сказал свое слово, теряет почву.

У австрийского писателя Франца Кафки, сказал Джерри, описано такое чувство в романе "Процесс". Но Франц Кафка, пражский еврей, жил

в империи Габсбургов, в Австро-Венгрии, где не было демократии, а был авторитарный режим.

— Опустим все другие стороны, возьмем, — Джерри на мгновение задумался, — только одну сторону: психологию. По-вашему, нет разницы между психологическим опытом современного американца и героя Франца Кафки? И от комплекса, как говорил ваш знакомый профессор, полулегального бытия сегодня можно освободиться только в тюрьме?

Откуда он взял это? Я не говорю, что можно освободиться только в тюрьме.

— Джерри, я не говорил, что только в тюрьме. Я говорил...

— Ну, да, — встрял Томас, — он не говорил, что только в тюрьме, где закон уже сказал свое слово. В сумасшедшем доме тоже. Если, понятно, нет какой-нибудь хитрой болезни, которая сама от комплекса полулегального бытия.

Я был уверен, что монолог свой Томас закончит реготом, гоготом, просто здоровым солдатским смехом, подтянет свой торс, поиграет бицепсами. Но ничего этого не было, как будто непонятно когда, каким способом, подменили человека: вместо простака, недотепы с плутоватой ухмылкой, сидел в моем кресле парень, какого я видел уже прежде, много лет назад, с теми же, отдававшими стеклянным холодом протеза, синими глазами, с пробуравленными точно по центру черными, из черноты извлеченными и в черноту уходившими зрачками.

Джерри явно была не по вкусу эта метаморфоза. Он смотрел на Томаса, не то ожидая продолжения монолога, не то какого-то кульбита, который вернул бы напарника к начальной его роли, вносившей манежную, если не расслабляющую, то амортизирующую, ноту во всякую сцену, когда коверному надлежало подать свою реплику.

Томас, то ли гонор не позволял, то ли просто не под силу было отработать кульбит, переводил взгляд с одного на другого, в лице произошла заметная перемена, видно было, сам на себя досадует; странно, я чувствовал за собой какую-то вину, ну, скорее, не вину, а жалость к этому парню, делающему свою работу, поддавшемуся невольному порыву чувств задетого за живое американца, он вдруг засмеялся и, точь-в-точь как ранее, как будто патефонную иглу вернули снова в свою бороздку на пластинке, воскликнул:

— Ну, даете, ребята!

Джерри смотрел на Томаса, я мысленно прорабатывал варианты, гадая, какое слово найдет он, чтобы дать тому знать, теперь порядок, опять все в норме, но Джерри внезапно оборотился ко мне:

— Скажите, эту формулу полулегального бытия в Америке, которую вы получили от знакомого профессора из Гарварда, вы применяете только к другим или к себе тоже? Если, как можно думать, соблюдая логику, к себе тоже, то в чем вы усматриваете полулегальность лично своего бытия?

Я сказал Джерри:

— Сэр, вы хотите, чтобы я поминутно расписал свою жизнь? Чтобы ответить на ваш вопрос, надо написать роман в том же ключе, какой нашел для своего романа доктор Франц Кафка.

— Вы собираетесь писать такой роман? Я повторю свой вопрос: какими штрихами надо нарисовать портрет репортера из России, чтобы было похоже на действительность? Кстати, он, конечно, делился с вами, что у него были проблемы с аккредитацией.

Нет, сказал я Джерри, не делился. А мне, собственно, какое дело, были у него проблемы с аккредитацией или не было?

— Джерри, каждый журналист по природе своей разведчик. Это мнение полковника Фарраго, который был большой спец в своем деле.

— О, — воскликнул Джерри, — я вижу, вам попадалась его книжка "Война умов"! Он, конечно, был гений. Как раз по его опыту иностранных репортеров и тех, кто с ними в близком контакте, надо держать в поле зрения.

— Джерри, — сказал я, — только что вы просили у меня несколько примеров полулегальности бытия из личного опыта. Вот первый пример.

Джерри весело засмеялся:

— Понимаю, понимаю! Но вы немножко переставляете акценты. В данном случае мы как раз доверяем, и пришли, чтобы убедиться.

Я спросил: в чем убедиться?

— Знаете, — сказал Джерри, — это, конечно, русский феномен, что у людей такое настойчивое желание рассказывать, как живут другие. С одного Брайтон-Бича пишут столько, что получается прямо шестой боро Нью-Йорка. Несомненно, это привычка за долгие годы. А привычка, заметили древние римляне, вторая натура.

— Сэр, но вы сами...

Джерри перебил меня:

— Я знаю, вы хотите сказать, что мы сами даем зеленую улицу. И зеленая улица привела нас сюда, в это жилище, где хозяин сочиняет разные истории о полулегальности бытия своих соседей по этажу, по дому, по городу.

Я сказал:

— Сэр, мне знаком этот реестр. Для полноты требуется еще один компонент: страна.

— Родина! — игриво погрозил пальцем Джерри. — У ваших компатриотов чуткий нюх и наметанный глаз. Они чувствуют потребность высказаться раньше, чем находят слова. Можно, конечно, не придавать значения, не замечать. Но не замечать, показывает практика, не значит оставаться незамеченным.

Томас, видно было, опять в колее, буквально залился:

— А страус? В песок, в песок! Не только яйца — голову тоже!

Джерри поморщился, глянул машинально на часы и воскликнул: заговорились!

— Да, — сказал я, — заговорились. Пора додому.

Пожали друг другу руки, Джерри потряс с чувством, поблагодарил, просил, если будет нужда, звонить, не стесняться, я проводил до порога, оставил дверь приоткрытой, чтоб услышать, когда придет лифт.

Дважды, открываясь и закрываясь, громыхнула дверь. Бай, бай! Я запер на ключ, повернулся, чтобы идти, но принужден был остановиться: в мою дверь стучались. Я отворил: передо мной стоял Джерри, я предложил ему, пусть зайдет, но он не зашел.

— Да, сэр, — сказал Джерри, — если будете сотрудничать с русскими агентами, надо зарегистрироваться.

Пришел лифт. Чтобы не прозевать, Джерри тут же поворотился, припустил с места. Я ждал: успеет не успеет? Успел.

Нью-Йорк



Сергей РЯДЧЕНКО

Человек в среде культурной
Хроника смутных времен

Было это не со мной.

Вы ж договорить дайте, а потом уже.

Не со мной, а с нашим Аликом Полупановым. Вот видите. Альфредом Степановичем. Что? Будем слушать? Человеком, между прочим, не дайте соврать, весьма и весьма солидным. Он и у нас, как вы помните, еще в ЭСЭСЭСЭРе был кто? Правильно — театральный деятель. И притом какой? О! — самобытный. В одном лице вам и режиссер, и драматург, и художник с композитором, и хореограф с кем вы только ни захотите. Другого, представьте, на ту пору не сыскать — ни в нашем лагере развитого, ни в их с гнильцой, ни среди остального человечества. Сам не проверял, но энциклопедиям верю. Ни дать ни взять, человек Ренессанса, достояние нации! И сочинять ведь умел ничуть не хуже их Ибсенов с полунашими Ионесками. "В ожидании Годо"! Можно подумать! "Играем Стриндберга"! Да играйте хоть в очко, господа, да живите себе, месье, хоть в Париже, а наш Алик еще в двадцать пять по молодому такую пьесу себе набарабанил, что ее тогда же навсегда нам и запретили. "Студентка в цилиндре без ничего по бульвару на закате на самокате". Что-то вроде. Читали? Какой к черту ксерокс?! Когда было! А шестую копию машинописного или, что вернее, от руки на кальке семнадцатью разными почерками честных девушек из Черноморгидростроя не хотите?

Но я ведь что рассказать хочу.

Прибыли мы на гастроли. И не в Таллинн, скажем, который давно уже не Ревель и где нас с вами и так на дух не переносят; тогда бы понятно. Нет, в самый что ни на есть обыкновенный Кировоград, угу, который, конечно, уже тоже успел побывать даже Зиновьевском, а так вообще назван на самом деле когда-то вполне по-людски в честь Елисаветы, маменьки Иоанна Крестителя, но не в этом же дело. А в том, что Политбюро всегда нам на беду сыщет в своем нутре какого-нибудь геранта*, которому больше других, ё-маё, неймется увековечить серость свою посредством какой-нибудь запретительной кампании. И не станет жисти нам с вами ведь. А еще, конечно, в том, что Альфред Степанович Полупанов, как бы мы

* Вероятно, рассказчик рискнул создать неологизм, призванный обозначить объект геронтологии, науки, изучающей причины долголетия, но запутался в орфографии, что случается, ибо русское правописание, даже на слух, не всякому по плечу. (Прим. автора).

вам тут его сейчас ни расхваливали, а страдал уже на ту пору некой манией величия и гастроли в провинцию переносил мэтр не без труда, не без известных потерь для бесценного своего здоровья.

Стучит он мне в номер в первый же день с утра пораньше и требует на правах начальства, чтобы я сей же момент прекратил работать над собой, если таковое имеет место, мол, и так уже более чем достаточно, — а когда он видит жизнь в таком ракурсе, то сразу ж понятно, что ему от меня что-то нужно позарез, и действительно, а в другой раз скажет: нет, старик, тебе еще лепить себя и лепить, так что пардон, но то в другой раз, — и немедленно следовал за ним, ибо есть дело и нужны люди.

Я вообще плохо умею отказывать, а с утра так и подавно. И наскоро умывшись в истоптанном заведении в конце коридора, я плетусь, зевая и кивая сентенциям Альфреда касательно постановки "Дяди Вани", что Питер Брук давал намедни премьерой в Лондоне, откуда Алик только третьего дня и воротился, чтоб как раз, понятно, поспеть на гастроли в бывший Елисаветград.

— Не зевай, — говорит Алик. — Это невежливо. А если уж зеваешь, то зевай вот так.

И он показывает, как это, а показать, мы знаем, он может все что угодно, и деться от этого некуда.

— Понял? Покажи, — требует он. — Ну вот, совсем другое дело.

И опять же, коль скоро мой вариант принят вот так с ходу и никто не заставляет меня повторять по тыще раз, аж до тех пор, пока Полупанову не покажется, что теперь да, оно, поехало, потекло, понеслось, то яснее ясного, что нужда во мне в то утро велика.

— Старик, ты комсомолец?

Желая показаться остроумнее, чем позволяют обстоятельства, я скакнул через один ход и ответил сразу вопросом на вопрос:

— Давай не расставаться никогда?

— Да нет, — сказал Алик. — В смысле ножик у тебя при тебе? А то они теперь бескозыркам всем всё на фиг поотрывали. И что? Теперь это ермолка, тюбетей, кипа, тиара, шапка моджахеда, да все что угодно, но только ленточки нет как нет, и зацепить не за что. Гляди!

И с этими словами помятый Полупанов извлекает из закромов потертой дубленки раздобытый им где-то, а скорее всего прихваченный в чемодане меж носков из дому сверкающий шкалик Российской, который смотрится в его лапище почти что бессмысленным мерзавчиком.

— Так борьба ж, — поясняю я отсутствие язычка на пробке. Хотя чего тут пояснять, когда и так все яснее ясного.

— Геноцид, — соглашается Полупанов. — Собственного народа.

Ножик у меня был при мне, потому что я обожаю затачивать карандаши.

— Молодчина, — хвалит Алик. — Я в тебе никогда не ошибаюсь.

При всей его сомнительности другого комплимента в то утро мне не сыскать.

— Ты б запрятал назад, — говорю. — Не афишировал бы.

— А чего вдруг? — уныло ерничает Полупанов. — Шкалик мой. Я его не крал, я его приобрел на свои. Могу чек показать из спецмагазина на Гаванной. И вообще перестройка у нас или не перестройка? Так я вот в ней фронда по данной теме, не похож?

— Похож, — говорю. — На полунепризнанного гения с бодуна перед спектаклем. Просто вылитый.

— Перед репетицией, — уточняет Полупанов, размахивая шкаликом на морозе. — На одиннадцать. Надо ж сцену их протоптать тут.

— Тем более. Прячь бутылку, а не то заметут. Здесь тебе не Лондон.

— Эх, — Полупанов, замечтавшись, возвращает шкалик в закрома. — Там, старик, в Альбионе туман. Там укрыться можно.

Этот еще совсем недавно невыездной человек удивительно спокойно относится к тому, что он теперь выездной. Все-таки, что ни говори, а масштаб личности, хотите вы или не хотите, а сказывается во всем, и в большом, и в малом.

Ближайшая забегаловка это стоячая "Їдальня" на улице имени кого-то. Не знаю, как обычно, но в то утро тут без толпы. Изо рта валит пар. Вместо столов круглые на железной ноге стойки-подставки из молотого щебня в расчете один такой круг на трех-пятерых или всех, кто станет. А в меню митетей — и хватит вам. О, славные времена второй нашей молодости! Да, еще помидоры моченые.

— А стакана я вам не дам! — говорит нам, не успели преступить порог, хозяйка заведения в шапке-ушанке со звездочкой и белом фартуке поверх ватника. — И даже не просите.

— А мы не будем, — в тон ей отвечает Полупанов. — Мы у вас компот возьмем. А еще лучше сок томатный. Два.

— У вас что, повылазило? — то есть, в Кировограде, значит, тоже могут. — Разуйте буркалы, — говорит беззлобно эта добрая женщина. — Витрина ж на то и под стеклом, чтоб видеть мочь.

Эх, лень моя подруга! С тех пор минуло столько лет, а так и не вписал я сей бессмертный пассаж ни во что более объемное, чем тогда же на ходу возникшее:

Я вышел в ночь,
чтоб видеть мочь.

— Ух, ты! — воскликнул Полупанов, когда по совету хозяйки разул буркалы. — И ни чаю, да? Ничего?

— Ни-че-го! — подтвердила хозяйка, и в одиннадцать на репетиции Полупанов ее б, конечно, подправил бы и не слез бы с живой аж до тех самых пор, пока несчастная не попала б наконец в яблочко, в том смысле, что не угадала бы своей интонацией безошибочную пропорцию ледяного отчаяния с полным смирения драматизмом; но то в одиннадцать, а сейчас недоказуемо дрогнувший голос и мимолетное облачко пара изо рта вполне устроили великого постановщика. — Вы ж не слепой, — сказала она ему. — И вы же не глупый, в дубленке.

— Ладно, — сказал Полупанов. — А как насчет бумажных стаканчиков?

— Вы что, глупый? Говорю ж, ни-ка-ких. Ни бумажных и никаких.

— Ну а чашка? Вы ж из чего-то пьете в обед. Давайте мы у вас ее арендуем на пять минут за большие деньги.

— В обед домой бегаем, — сказала хозяйка, и эту ее интонацию Полупанов не стал бы трогать даже перед премьерой в Кремле. — А в заведении, согласно указу, — она извлекла из-под прилавка машинописный текст, усеянный печатями, и, демонстрируя его нам, ткнула, не глядя, красным от холода пальцем в эти самые печати, — "не держим ничего, пригодного для распития спиртных напитков". Ни-че-го.

— Эка! — восхитился я.

— Экко это Умберто, — сказал Полупанов в задумчивости. — "Маятник Фуко" читал? Так вот сейчас, — предупредил он, — нам это не поможет. Ну, а тарелку чистую, хозяюшка, дадите?

Женщина снова извлекла листы с печатями и молча помахала ими в холодном воздухе.

— Что?! И тарелки?!!!

— Тут до вас таких уже было, — сказала эта кировоградка. — Смекалистых. И потому в указе, мальчики, все учли. Ничего это ни-че-го.

— Все учтено могучим ураганом, — подытожил наш деятель театра проездом из Лондона. — А митетей вы в чем подаете?

— Так вот, — хозяйка протянула нам кружок серого, слегка гофрированного по периметру картона. — Не в руки ж.

— Эка! — снова вырвалось у меня.

— Действительно, — сказал Полупанов. — Бедный Дали. Ему б до такого в жизни не догадаться. И что ж у вас так во всем Кировограде?

— Ну почему? Там дальше тут кафе на углу. При всем параде. Только вас там обыщут всего на входе от шнурков до темечка и отнимут, да, а нет, так и в милицию. Вы б, мальчики, не гоношились, а обошли б нас с черного хода. Там ящик с мусором. Там из горлышка, а бутылку в снег. Так все делают. Живы, как видите.

Мы с Полупановым оглядели тех, кто жив. Их было немного. За двумя стойками в двух углах в общей сложности не больше пятерых. Меня как меня, а Полупанова осмотр, видно, не убедил.

— Два митетея, — сказал он вполне официально.

— Ну как знаете, — вздохнула хозяйка и потерла, нащупав, звездочку на шапке. — Но только в заведении из горла не рекомендую. Патруль застукает, хлопот не оберетесь. И меня пожурят.

Полупанов ей больше не отвечал. Он сопел и шуршал купюрами. Тогда я спросил:

— А у вас там под прилавком под указом кнопка красная, чтоб сигнализировать?

— А как же! — хозяйка хохотнула хрипловатым контральто, и мне, хочешь не хочешь, пришлось обратить внимание на то, что она моложе, чем кажется на этом холоде, и симпатичней, чем видится в этой экипировке. — Вот вы думаете, что я пошутила, да? А вы так не думайте. Теперь же всем еще, вы знаете, и на работу надо ходить, вот о чем подумайте. А патруль заглянет, так документик личности. Почему тут, спросят, а не там, не на производстве? А нет, так туго будет. Метут всех без разбору.

— А этих? — спросил я, кивнув на тех, кто живой.

— Этих? Этих нет, — вздохнула хозяйка. — Этим уже можно.

Пронзительность формулы всколыхнула во мне что-то полузабытое, из юности спортивной. Так выгоняли из команды: тебе уже можно.

— А нам, стало быть?

— А вам, стало быть, еще пока нет. Низззя.

Полупанов, сложив наконец в голове какие-то цифры, а в лапище рублевки с мелочью, возвратился в разговор:

— Метут?! А у нас после Андропова сразу перестали. Ну, в смысле за отсутствие в присутствии.

— А у вас это где? — спросила хозяйка.

А мы ее:

— А вы случайно, по разговору, не из Одессы?

— Я? Нет. Я из МГУ.

— ?...

— ...?

— А, — отмахнулась хозяйка. — Помидорчик давать?

— Кладите.

И каждому из нас вручено было по картонке с митетеем и солением, унавоженными чем-то вроде томатной пасты. Мы возложили это на ближайшую стойку, и Полупанов стащил со своего лысеющего черепа мохнатую кепку с наушниками.

— Из горла не буду, — сообщил он, угрюмо глядя в митетей. — Это насилие. Я против. А ты?

— По утрам не пью, — сказал я, свято веря в то, что сказал.

— Обычно не пьешь, — поправил Полупанов. — А сейчас придется.

— Тогда и я против, — согласился я в надежде оттянуть момент истины.

— Вот видишь, — сказал Полупанов, и тут его осенило, и лик его просиял. — Гляди! Сие знак есть, а я болван старый, — и он указал на центр нашей стойки, где мирно покоился высокий стакан из шершавой пластмассы грязно-розового цвета с воткнутым в него куском от рулона туалетной бумаги со щепками. — Гони ножичек. Эврика!

Став из уважения к нашей хозяйке к ней спиною, дабы заслонить от ее добрых глаз свои манипуляции, Полупанов лихо взрезал жесть "шапки моджахеда", подхватил бумажный ком и, сверкнув глазом, выбулькал в освободившийся стакан весь шкалик одним махом.

— Вот же упрямые, — вздохнула хозяйка у него за спиной.

— Ну, пополам, — подмигнул мне расцветающий на глазах Полупанов. — Родина вас не забудет.

Он протянул свою лапищу и ухватил розовую пластмассу.

На лице его отразился ужас, который я сперва приписал проникновенному осознанию предстоящих глотков, но тут же сообразил, что произошла катастрофа. При всей своей гениальности и при всем своем могучем телосложении выдающийся деятель советского театра Альфред Степанович Полупанов оказался не в состоянии отделить пластмассовый стакан от каменной поверхности круглой стойки. В панике Полупанов навалился на стойку и заглянул в розовое нутро.

— Так и есть, — выдохнул он, как кит из-под воды. — Привинтили гады.

Я тоже заглянул. Добавить нечего.

Установление причины поубавило ужас, но не внесло ясности относительно дальнейших действий.

— Ну, а я что говорила? — сказала хозяйка. — Надо было, как все, а не как у вас там в столице.

— Да какой к черту столице! — буркнул Полупанов.

— В Лондоне, — подсказал я. — Не надо, как в Лондоне. Надо, как все.

— Поздно, — произнес Полупанов человечьим басом не по-театральному. Он вручил хозяйке в ее красные в золотых кольцах руки пустой шкалик, передал ей на временное хранение обе картонки с алюминиевыми вилками и, развернувшись ко мне, собрался, как голкипер перед пенальти, и зычно скомандовал: — Наклоняй!

— Так говорю ж, упрямые люди, не получится, — сказала хозяйка, не дав мне толком подналечь на молотый щебень. — Все ж принайтовлено, как на крейсере.

Согласитесь, встретить поутру в кировоградской їдальні женщину в армейской шапке, свободно распоряжающуюся словом "принайтовлено", уже колоссальная удача не только для работников театра, а для любого разумного человека. Но в то утро эта удача несколько омрачалась неудачей. Мы опустили глаза долу, дабы, увы, убедиться в справедливости сказанного. Железная нога у пола расходилась натрое, и две ступни из трех были привинчены к бетону сквозь цемент между плиток крупными болтами с головками "на двенадцать".

— Уффф, — сказал Полупанов. — А откуда вы знаете, как на крейсере?

— А мой первый был с БПК.

— С чего?!

— С большого противолодочного. От него и сбежала в Москву на исторический.

— А дайте нам, пожалуйста, будьте любезны, Любовь Станиславовна, гаечный ключик, если можно, — сказал я, идя ва-банк и понимая, что отказ будет смерти подобен.

— Не дам, — сказала хозяйка. — Потому как нету.

А смерть все не шла.

— И не Любовь, а Людмила, — хозяйка протерла полотенцем пришпиленный к фартуку ламинированный квадратик, на котором значилось: Бойченко Л.С. Шеф-повар. — И не Станиславовна, а Сергеевна.

— И не просто шеф-повар, — подхватил я, — а очаровательная женщина в расцвете сил.

— Вы экстрасенс?

— Да жуир он, каких свет не видывал, — заявил без обиняков Полупанов. — Не верьте ему, врет он все.

— Ну почему, — сказала Людмила Сергеевна. — А я как раз поверила. Только разводного у меня все равно нету.

— А как же быть?

Те, кто еще жив, из двух углов подтянулись и обступили поле нашей неравной битвы, наполнив холодную, с паром изо рта, атмосферу заведения цоканьем языков и неподдельным сочувствием.

— Гляди, одна ж нога не схвачена.

— Так, может, братцы, навалимся? А те две и отогнутся.

— Я вам навалюсь, — сказала хозяйка, и этот план был исчерпан.

После чего, разумеется, каждый из нас попробовал крутить болты пальцами. Но ведь нельзя ж было не попробовать?

Следующие несколько минут ушли на мозговой штурм под постоянное причитание одного из живых, полуживого, что какое ж это счастье, что стаканец прихвачен накрепко и не протекает, а не то б несчастье.

Среди озвученных идей мелькнули такие. Первая: раскрутить шариковую ручку, и из корпуса получится вполне сносная трубочка.

— Так там же водка. Как ее высосешь?

— Так надо было шмурдяк лить.

Этому велели не умничать. У людей беда, а он.

Вторая: окунуть в стакан носовой платок, если чистый, впитать побольше и мигом в рот. Не стали. Третья: макать туда хлеб и есть, как тюрю. Полупанов и эту забраковал, на что знатоки пришли к выводу, что подготовка его оставляет желать лучшего и что с такой сидеть дома, а не пускаться в рыск. Были и еще.

Я тем временем снял куртку и проследовал к рукомойнику на стене над тазом на табуретке. Вода в нем замерзла не вся, и мне удалось вымыть руки, а потом и ножичек хозяйственным обмылком.

— Что ты задумал?

— Значит, так, Альфред. Если это не сработает, разворачиваемся и уходим без оглядки. Уговор?

Отвертка в ножичке была короткой, и чтобы дотянуться до винта в днище стакана, мне пришлось окунуть в водку полруки. Ножичек, конечно, выскальзывал, винт, конечно, не поддавался. Помощи мне никто не предлагал, потому что мыться на такой холодрыге дураков не сыщешь. И никакая кино- и фотоаппаратура не передаст выражение глаз, следивших за моими усилиями.

— А митетеи стынут, — сказала хозяйка, и это было первое и последнее неуместное, что она сморозила в тот день.

И как бы в подспорье, что ли, на выручку этому случайному диссонансу распахнулась тут же неслучайно, скрежетнув по бетону, сварная дверь

из катаного железа, и в наш зарождающийся уют полутайного братства проник весь в клубах пара беспардонный дискомфорт развитого, а теперь, чтоб ему, перестраиваемого, социализма в виде пыхтящей без намордника овчарки на поводке и двух свирепо-малиновых с мороза милиционеров в темно-синих тулупах.

Если бы, думаю, Иероним Босх проживал бы с нами о той поре бок о бок, он бы, думаю, ужо изобразил бы нам с вами ту картинку со всеми ее причиндалами всем и каждому на века, и не надо б тогда ему было особо никаких иных полотен.

В моем запрятанном под кашне негероическом организме возникла паника, хотя правильнее было бы свидетельствовать, что с момента моего тут, у нас, где меня угораздило, нелегкого посередке века рождения паника никогда не оставляла меня в покое; она лишь переходила из одного своего состояния в другое, подстать небезызвестному закону Михайлы Ломоносова, а интенсивность ее в диапазоне от среднестатистической до чрезвычайной всецело зависела от предлагаемых обстоятельств. Мохнатый холодок пробежал вдоль хребта и отметил уровень перепуга вдвое выше против обычного. В голове, разумеется, промелькнул калейдоскопом паноптикум отвратительных сцен, среди которых срам с позором в вытрезвителе и неизбежное после с треском изгнание Полупанова за пределы родины, а меня из партии и театра были еще не самыми душещипательными. Не досмотрев калейдоскопа, я вдруг вспомнил, что в партии не состою, и дабы исключить меня из ее рядов, меня сперва туда принять надобно, и тут же представил себе — отдельным витражом — насильное, под конвоем с овчаркой, зачисление меня в ряды КПСС по доносу из вытрезвителя. Быть может, я бы даже бы рассмеялся, но тут овчарка зарычала, и я перестал думать и воображать себе, а, ведомый одним лишь инстинктом самосохранения, продолжил, ничтоже сумняшеся, дабы ничем не выдать себя среди неровностей новой ситуации, делать, что делал, когда возникла опасность, то бишь, крутить в стакане винт наружу и сопеть сосредоточенно. После Полупанов, конечно, скажет, что актер из меня, как из верблюда балалайка, что нету во мне, разумеется, ни меры, ни вкуса, да и откуда, когда я огульно столь отвергаю, не разобравшись, и в системе Станиславского что ни попадя, и в теории Эрика Бентли, и вообще отношусь к театру по недоразумению, и что мне только и демонстрировать свое искусство, а вернее, его отсутствие, разве что вот именно перед волкодавами. Но то будет потом, не сразу, а на тот морозно-затруднительный момент, полагаю, моего верблюдства, видать, с невозмутимостью на

все про все, оказалось, хватило с лихвой. А если Полупанов против того, чтоб с лихвой, так это уж дело вкуса. А о вкусах, как известно, не спорят.

— Так, значится, — пропихнул к нам морозные слова сквозь клубы пара старший патруля в звании сержанта. — Документики готовьте, товарищи, а нету, так пройдемте, — и направился со своим подчиненным с овчаркой прямиком не к нам, из чего стало ясно, что мы ему с его подчиненным с овчаркой, значится, на закуску.

Надо думать, всё и все тут, кроме нас, были этим двоим и их собаке знакомы до обрыдлости, даже с учетом их природной тяги к любимому занятию стращать и курощать, так что нам, судя по всему, предлагался некий спектакль, который в иных обстоятельствах мог бы и развлечь не хуже любого другого спектакля, но иных обстоятельств, как водится, просто так не дадут, и если кто-то тут и мог послужить объектом развлечения, так это, как ни крути, хоть шуруп, хоть что угодно, были, конечно, мы с Полупановым сами, оба два, для любого, случись, количества зрителей.

Полупанов, надо отдать ему должное, да и кто сомневается, времени тоже зря не терял. Он отнял назад картонки с митетеями, выстроил между нами из них мизансцену скорой трапезы и чревовещательно велел мне откусить от митетея хотя бы что-нибудь.

— Сам кусай. Я делом занят.

То, как Полупанов вращал во гневе утренними, с заревым отливом, белками глаз над страшными своими усищами, я передать не берусь ни словом, ни делом. Сюда бы к Босху хорошо бы еще и Пикассо. Пабла бы.

И опять же из чрева шепотом Альфред донес до меня:

— Побойся Бога, — это он сказал это мне, и не было у меня свидетелей, кроме вышних. — Нигилист хренов, — провещал он, не шевелясь. — Ты что ж, не видишь? Я ж вот это, — ткнул он вилки алюминий в распростертый митетей, — без вот этого, — нахлобучил он усищи над моей рукою с ножичком с отверткой в пластмассовом стакане с винтом и водкой и повторил бесшумно, — вот то без вот этого, дядя, я в себя не пропихну, хоть бы ты что, хотя б даже во имя искусства, понял?

Я кивнул. А винт все скользил и не поддавался. Да и что бы я стал с ним делать, если б он сейчас вдруг пошел?

— Кусай, — потребовал Полупанов хоть и из чрева, но на правах главного, и в глазу у него сверкнула даже кочевничья степная слеза.

Я взял в левую руку вилку, умудрился отделить митетей от принавоженной картонки и укусил. Каков он был на вкус, я расскажу только внукам у камина по достижении ими совершеннолетия.

А милиция тем временем, порыкивая овчаркой и побуркивая начальником, осмотрела всех не нас и установила, что ничего предосудительного и противоправного меж ненами не наблюдается.

— Жуй как следует, — велел мне Полупанов. — Не балуйся.

А сам ухватил клок туалетной бумаги и принялся отирать им себе усищи и так и эдак после якобы на одном дыхании проглоченной снеди.

— Сержант Яковченко, — козырнул по-тулупному наскоро старший патруля, а младший с овчаркой зашли Полупанову с тыла. — Ваши документики.

Больше всего мне не хотелось, чтобы Полупанов стал умничать, и он, разумеется, не замедлил это и сделать:

— А у нас что, комендантский час?

— Никак нет, гражданин, — сказал сержант ледяным, холоднее, чем на улице, тоном, и мне сделалось жарко. — Зато у нас, — сказал сержант, кашлянув, — как вы изволите, рабочее время в будний день. И всем положено быть на местах при исполнении. Если, конечно, они не калеки или на пенсии.

— А те добрые люди, — не унимался Полупанов. — Они у вас по какой категории?

— А вот этим, гражданин, вам интересоваться совершенно лишне. Это наша забота установить-выяснить, кто здесь почему, а не там, где ему положено. А не ваша. Ваши документы!

Полупанов долго рылся в своей дохе, а другой рукой с бумагой расцарапал себе таки щеку над усами.

— Вот и кровь у вас, — сказал сержант. — Нехорошо. Пройдемте.

Но тут Полупанов извлек и предъявил. Я это не столько увидел краем глаза, будучи всецело занятым собственной деловитостью, сколько почувствовал по набрякшей тишине.

— Гм, — сказал сержант, раскрыв темно-вишневые корочки. Молчал он долго, хотя листать там, вроде, было нечего — раскрыл-закрыл.

— Что ж вы, товарищ Полупанов, заслуженный артист СССР, а не на работе?

Я чуть не булькнул от удивления, и первое, что представил, как Полупанов только что, копаясь в дохе, дописал на ощупь в свое обычное удостоверение главрежа еще и заслуженного, но чем, но как, и что за цвет?

— Спектакль вечером, — сказал Полупанов, и теперь в его тоне было столько же льда, сколько прежде в сержантском. — А репетиция, когда назначу. Так вот.

— Да вы не воспринимайте, — сказал сержант по-свойски. — Я же пошутил. Мы же понимаем. Мы ж не с Аляски.

Он строго глянул в мою сторону.

— Монтер?

— Монтер, — сказала мне Людмила Сергеевна, а я кивнул.

— Что ж ты, — сказал сержант, — при исполнении, а запах от тебя хоть закусывай.

— Это со вчера. Виноват.

— Рассказывай! Со вчера. Дураков, герой, знаешь где ищи? В зеркале! Понял?

— Да понял он, — сказала мне Людмила Сергеевна. — Никакой он не герой. Ну не совсем здоров человек в мороз поутру, это правда, а понять все понял. Правда ж?

Я кивнул.

— Не мешает? — спросил сержант Полупанова.

— Да нет. Даже наоборот.

— Ну давай, крути, — сказал мне сержант. — Чтоб намертво. Чтоб вся социалистическая собственность, да, была, одна, бл, к одному. Понял?

Я кивнул.

— А вот что я не понял, — сказал сержант, — и действительно удивительно, так это заслуженный артист, а едите черт знает что. Это как же?

— А мне нравится, — сказал Полупанов чуть ли не искренне.

Сержант козырнул, и патруль покинул заведение. Овчарка, выходя, несколько раз оглянулась на меня с большим подозрением.

— Все, — я бросил ножик. — Не крутится.

Я был выжат своей игрой в этом спектакле. И сказал Полупанову:

— Мне так не нравится. Я так не люблю, чтоб меня овчарками, понятно?

Мне никто не ответил.

— Все, — сказал я. — С меня довольно. Пошли отсюда.

И вновь тишина. И взоры всех, кто тут есть, и Людмилы Сергеевны, обращены к моей скромной издерганной персоне. Как они на меня смотрели, такое и внукам не передашь.

Я сунул руку в водку и ухватил ножичек, и снова нащупал отверткой паз в головке винта.

— Да, — сказал Полупанов. Потом он скажет другое, вы помните? А тогда он сказал вот что: — А ведь ты, старик, похоже, сыграл монтера. Никуда не денешься.

— Не, — сказала Людмила Сергеевна. — Захотелось просто сержанту, чтоб вы монтер, вот и. Вы ж не наивные. Из уважения ко мне, если вам так подходит. А не захотел бы, так и.

— Нам все подходит, — сказал Полупанов, зажимая царапину на щеке изодранным в щепки клоком туалетной бумаги. — Но замечу, любезная хозяйка, что тут, однако, больше объема, чем просто, при всем моем уважении, захотел, не захотел. Нет. Тут, понимаете, — он простер ко мне свою лапищу, — мой друг не только не сделал ничего лишнего, как положено артисту, да? Так нет! Куда там! Мой друг шагнул по ту сторону. Понимаете?

Думаю, Полупанов с его интуицией в сей миг уже вкушал недобытую еще водку и на глазах приободрялся.

— Да, он, мой друг, представьте, во всей этой вот тут действительности, среди нас с вами, не сделал вообще ни-че-го. Воплотил мечту, да? Ничего на фиг в действительности не делал. Грандиозно!

— Не спорю, — сказала Людмила Сергеевна. — Но только ментуру, мои дорогие, все равно не проведешь. И это тоже факт нашей жизни. И без него, скажу, тоже никуда.

А я сказал Полупанову:

— Я, между прочим, потел. Вот, до сих пор. Я пугался. Я, елки-палки, винт крутил. Если это безделье, так, может, Алик, рвануть нам отсюда лучше на БАМ?

Ответить мне Полупанов не успел, потому что винт, наконец, скрежетнув, поддался, и мне удалось его полраза провернуть. По всем, кто тут был, прокатилась предположительная волна.

— Стакан надо вверх тянуть.

— Вверх его, а не то прольется!

Полупанов ухватил розовую пластмассу своей лапищей.

— Да тише ты, — сказал я. — Мне ж еще крутить. И вообще смотри, не разлей на потолок.

Под одобрительные возгласы винт стал выворачиваться из прессованного щебня.

— А что за ксива? — спросил я, хоть и кряхтя, но между прочим.

— Так вручили ж. В министерстве. По пути в Альбион. А ты, думаешь, я что обмывал?

— Я не думаю, Алик. Я кручу.

И наконец счастливый Полупанов держал в одной лапище стакан на весу, а пальцами другой что есть силы тянул вниз винт за резьбу, дабы его головка плотно прилегала к розовому днищу.

Остальное в известном смысле труда не составляло. Пополам так пополам.

Пока мы уплетали за обе щеки холодные митетеи с цвиркающими соленьями, публика, похлопав нас каждого по плечам и спинам, возвратилась восвояси. Внятное в ту минуту, пульсирующее чувство победы, одержанной вопреки коварным обстоятельствам, сплотило нас. В заведении в клубах пара воцарилась бессловесная эйфория. А Людмила Сергеевна, кажется, даже прослезилась от чего-то.

— Какой к черту Дали, — бурчал Полупанов. — Это ж Эсхил с Еврипидом. Классика.

— Какая ж классика? — я не соглашался. — По классике герои гибнут, сражаясь. А мы тут вроде как пока живы.

— Тут ты прав, буквоед, — бурчал Полупанов. — Но мы ж не в Древней с тобой, старик, Греции. Мы же тут дустом сыпаны, дефицитом морены. Мы ж ножом себе добудем аква виту, а туалетной бумагой вдруг возьмем да зарежемся. Ты согласен?

— Добыть — да, а зарезаться не хочу.

— Да нас никакой Софокл, брат, угробить уже по-своему не смог бы, так я тебе скажу. И не греки мы с испанцами, не французы с тобой с англичанами. Мы ж, старик, совки как совки, и нам их классика с их сюрреализмом, выходит, тесноваты будут. Лопнут в плечах. И на жопе лопнут.

Думаю, толкни он такую речугу на каком-нибудь съезде лет двадцать тому, так и не запрещали б его никогда, каталась бы себе его комсомолка по бульвару нагишом на самокате под "ура" и аплодисменты; судьба иной сложилась бы. Но было, как было. И оказалось, что даже в Кировограде, где все еще по инерции метут за отсутствие в присутствиях и где, как и по всей великой империи, ничего нельзя достать до двух и после семи, все достать можно, если нужно.

А было нужно, и душа раскрылась.

И мы, те, кому, по словам добрейшей Людмилы Сергеевны, все еще пока нельзя, чтоб по утрам и без документов, и те, кому, по ее ж словам, все уже давно можно, съели вместе много митетеев с цвирками и без цвирок и не раз пустили по кругу розовую чашу с необходимым в днище ее винтом. И не было в тот день репетиции. А спектакль вечером по Пристли прошел без сучка, без задоринки, а точнее, с большим задором. И, согласитесь, что же тут удивительного?

Да, нет-нет да и попадется на глаза в старой записной телефончик Людмилы Сергеевны, но так, увы, ни разу и не пригодился.

А Полупанов давно обретается в Америке и даже мелькает там на Бродвее. Говорят, у него в мюзикле участвует дрессированный мишка. Как бы это не он сам в шкуре гризли. Недавно после долгого, в семнадцать лет, перерыва он мне телефонировал. И под конец разговора сказал среди прочего своим проникновенным баритоном нижнего регистра:

— Старик, что ни говори, а все-таки мы его тогда одолели.

— Кого? Шкалик?

— Шкалик? Ну да, а с ним заодно и весь СССР.

И тогда, осмыслив, я повторил ему его давние слова:

— Альфред, — сказал я ему. — А как оно могло быть иначе? Мы ж с тобой советские люди.



Ефим ЯРОШЕВСКИЙ

Главы из повести "Лето и ливни"

Останки рыбного базара



Кто, кроме меня, опишет и взрежет ножом пожухлую рыбу заката над пустым азиатским базаром, где золотой мусор, дыни, хурма, и ветер-подметальщик сносит последних одиноких продавцов — одноглазого седобородого мусульманина, творящего намаз над вечерним товаром под первой звездой, и девочку с двумя кучками инжира на земле? Краски над площадью легчайшие, акварельные, и лиловый рисунок рериховских гор (под Самаркандом?) — гортанный рев трубы или осла... Тоскливый, пыльный вечер в Намангане — под пение джурбаев и клекот арыков, холодных, мутных, ледяных, освежающих, сомлевший от жары город, где кружится голова в переулках от запаха роз...

О, останки рыбного базара!.. Девчушка-узбечка, улетающая косичками в горы, и смуглые коленки бьются в беге, налитые воздухом густым, вечерним... О, быстрая азиатская кровь, ударяющая в щеки девушкам Узбекистана!

Узловатые старики-узбеки, в кривых ичигах и темных халатах восседающие за чаем в чайхане, смотрят на меня древним восточным взглядом: я для них случайная косточка России, росточек, который сюда закинула эвакуация и война, — маленький, испуганный беженец-иудей, а кругом Восток... Но другой. Не Средний, не Ближний, не Дальний...

Сплошной туман

Я вышел рано, до звезды...
А.С. Пушкин

Сегодня такой туман подползал к городу, сплошной, первобытный... Из тумана торчала ветка, угол дома, кусок отмороженного белья — гипс, камень — окаменевшая тряпка, листок... На балконе третьего этажа висел не шелохнувшись бледный месяц. Он почти умер. До весны ему не оттаять...



Туман рос, подымался, он наползал, обволакивал, лепился. Ночью он замерз и остановился. Скрепил пространство. Окаменел совершенно... Утром я не мог открыть форточку. Туман зеленой глыбой льда торчал в стеклах окна — в трещинах и кристаллах я видел замороженное, заколдованное холодом лицо утра. Снег, ворота, двор, хворост, куски улицы. Ни скрипа, ни ветра. Только ревун ревет... Наспех одеваюсь, выхожу. Тьма, в двух шагах — ничего...

На троллейбусной остановке пусто, как в Антарктиде... Как же люди пойдут на работу? Хотел бы я знать. Успокойся: они не пойдут. Как? Так. Не пойдут — и все. Двери не открываются. Следующей станции не будет. Какие-то блокадные трамваи, пустые, холодные. Их занесло снегопадом.

...Никто уже никуда не идет. В гигантском обморочном холоде медленно, как дирижабль, погибал город... Хотя все утренние кафе почему-то работали. Кофе был приготовлен. И это вселяло надежду...

Сорок папиных кальсон

Толик мне рассказывал:

— Дома я замесил белье. Как тесто. И дал ему взойти. Когда в миске набралось штук сорок папиных кальсон, я успокоился. Я себе решил: пусть отмокают. И отправился в библиотеку со столярным клеем. Там я часа два клеил книги одна к другой. Это мой отдых и одновременно рацион. Потом пришлось вернуться. И снова замочить уже замоченное белье (чтоб оно уже совсем замочилось...). И сварить рисовую кашу со всеми кухонными принадлежностями. Затем я смолол мясо — все, что было в доме. И нашлепал штук двадцать котлет для родителей. И уже потом к нам пришел этот депутат из райсобеса, чтобы рассказать, как быть тому, у кого плохо с квартирой... В частности, нам он рассказал много полезного. И мой папа сразу начал жаловаться (ты же знаешь моего папу?). Например, он тут же рассказал про форточку, которую трудно за-





крывать в эти холодные зимние дни... Потом нам обещали. Нам обещали квартиру — в текущем квартале будущего года или в последнем — текущего, с отдельным санузлом (для общих нужд).

— Так это же неплохо... Это же неплохо, Толя!

— А я не говорю, что плохо. Главное, что мы пожаловались. Теперь у отца легче на душе. Но предстоит еще много забот... Фима, ты заметил — весь день на улице был туман. В такой туман одни стихи на ум идут, правда? Про дождливый туман какого-то города, где должен жить Павлов с вязанкой своих рукописей. Как будто это пожитки его дров... В этом городе он наконец закончит свои рассказы. Но такого города нигде нет...

— Послушай, Толя, вот ты пишешь: "левосторонней музыкой плеврита"... Как это понять?

— Очень просто. Это как правосторонний костный перелом луча спины ключицы. Или перегиб предплечья "локтем кости онемелой". Я уверен, что ты меня почти понял. Потом идут стихи. Стихи хорошие:

Я уже большой, как видно,
я иду пешком по крышам,
я иду на нерест ночью,
глухо кашляя в кашне.

И за мной плетется ветер,
кровожадный провожатый,
языком глухонемецким
заразив родную речь.

Вот теперь все встало на свои места.

В дурную погоду

Мы собирались часто. Гасла осень...
Е. Я.

В дурную погоду мы собирались и играли в слова: глауберова соль, гауляйтер Прибалтики, глинобитные машины, глобус, гамма-глобулин, глициния, гланды, Галапагосские острова... И так далее, и так далее. Мы уже не могли из этого выбраться и уже не хотели. Нам было уютно, нам было хорошо. Как в добротной шахматной партии, где глупость неуместна. Куда посторонним вход запрещен...

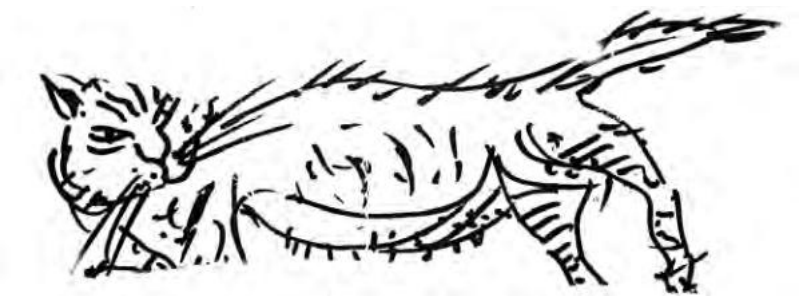
Не мешайте нам жить! Там, где мы хотим. Социум за окном нам не указ... И не забудь сюда слова: глина, глупость, глисты... "И обязательно — кофе-гляссе! Я его обожаю". Гамма, гимн, гипноз, глинобитные машины, голуби, Ганнибал... И еще — застряли во мне из школьных лет гиксосы. Кто они такие? Хотел бы я знать. Их давно уже нет. Зачем же тогда они? И дивная фамилия — Гиммельфарб... Все. Мы впадаем в детство. Мы становимся немного дефективными, зато свободными. Мы пьем чай, играем в слова и наслаждаемся друг другом... Мы почти счастливы.



Представь себе: дождь, единство, разговор с Лерой, все однажды собираются — все, кто любит друг друга. Телефон... Какое счастье, что изобрели наконец телефон! Толик прав. Мы живем отдельно, каждый у себя, но родина (духовная) у нас одна. Когда осень, дождь и пустеют улицы, нас всех охватывает тоска по общности. И море, и снегопад... А в комнате тепло. И дух, который веет, где хочет. Это счастье... Ты меня понял? Мы были как дети. И мне не стыдно об этом говорить, не стыдно в этом признаться. Мы были невинны, чисты и прекрасны...

Между кошкой и собакой

— ...Между тем, когда наступает ночь, моя кошка оживает. Она — тайна ночи. Кошка таинственна. Страшно бессмысленны ее глаза. Но именно поэтому кажется, что она знает и понимает больше, чем моя собака. Ей внятно нечто непостижимое для меня... Она жмурится, раскрывает, распахивает глаза, вбирая в свою теплую пушистую плоть когти... Хрусталик глаза заполняет весь зрачок. Кошка не думает, — она вбирает, всасывает меня, мир — и тут же отпускает. Потому что я не нужен ей. Возможно, она ничего не знает ни про меня, ни про мир. Это через ее зрачки проливается ночь. Она — душа ночи. Темная, древняя душа вдруг появляется и пугливо прячется снова... Она боится меня. Это не кошка смотрит на меня, а древний Хаос, темное правремя, джунгли... Я тоже боюсь ее, я не могу на это долго смотреть и суеверно опускаю глаза...



Да, ночью кошка значительна, она почти пума, почти царица. Она не спит. Наоборот — она оживает...

А собака спит. Спит, дышит, стонет во сне, вздыхает... Ей снятся сны. Почти человеческие... Она почти человек, эта собака. Все знает, все понимает, все предчувствует, ко всему готова. И знает, что умрет. Вот что нас сближает. Но ведь и я сам знаю, что умру. То есть я подозреваю это. Но не знаю наверняка...

— Не знаешь наверняка?!

— Ну... все может случиться...

— Счастливчик!

...Однажды был Новый год. Мы встречали его у Леры. Там была Люда Кругликова. Я был безумно влюблен в нее. Совершенно обессиленные от встречи, мы вышли на балкон. Было утро, был туман. "Туман, как у Коро... Да?" — сказала Люда, но в тумане я не видел ее. Дерево роняло крупные капли пота на гранитную мостовую. Мы считали эти капли. Досчитали до сорока. Потом вернулись в комнаты. Все спали вповалку. Чьи-то ступни оказались на моей голове. Острое ощущение блаженства охватило меня... Впрочем, ненадолго.

Еврейский праздник (Москва, синагога, 1981 год)

Я в синагоге. Впервые в жизни. Сегодня йонтыф. И кантор с пейсами поет. Красный от натуги. Голос его звенит, как у итальянского певца. Но иначе. Он берет за душу и уносит высоко... Царь Давид, он в парче. Алхэд и Тора. И любимые бабушкины слова: швуэс, талес, лехаим, Готыню, умейн... — уносят меня, и я впадаю в древнее детство... И могендовиды горят из лампочек во тьме, и древние письмена... Лехаим, Готыню, умейн... И всё.



...Плачут свечи. Мы молимся. И потом — пляска вокруг свитка с Торой... Прекрасные юные лица. Неужели это совершается? Неужели возврат к жизни — полной, не стыдящейся себя, теплой, теплокровной, горячей? Свободной... Неужели?.. Я не знаю. Трудно сказать. Я молчу. Эти завиточки волос у раскрасневшегося ушка... И могучий голос кантора: "Разомкни мои уста, Владыка, и мой язык воспоет Тебе хвалу! Благословен Ты, Господь!.." Неужели Кол-нидрей? Свечи... Первая звездочка в небесах.

...Но я ошибся. Кажется, я смешал два празднества. Это неважно. Главное — что это уже жизнь!.. Я плачу. Я почти пою...

Благословен ты, Господь Бог наш и Бог наших отцов, Бог Авраама, Бог Ицхака, Бог Иакова, великий, могучий, грозный Бог... Запиши нас в Книгу жизни ради Тебя самого!

Твоя глава полна лучезарной росой, Твои локоны — каплями ночи...

Назревает скандал



— Вообще, ты стал всех нас слишком жадно и нехорошо слушать. Особенно меня. Почему я должен это рассказывать тебе? Почему именно тебе?

— Ты действительно все должен рассказывать именно мне...

— Но почему? Почему тебе??

— Потому что ни в ком это так не застрянет. Я слушаю тебя не просто внимательно. Я впиваю твои рассказы. Я становлюсь тобой, когда ты рассказываешь. Я сам рассказываю себе, когда ты говоришь. Я твой рот. И ты напрасно волнуешься. Все это во мне застрянет. Как ни в ком. Никто так не схватит обеими руками на лету твою жизнь, как я. Только во мне щепочка твоего рассказа (твоих рассказов) начнет обволакиваться нежным гноем искусства... Она почти съедобна, почти вкусна. Грех ее выбрасывать.

Твои занозы я превращаю в тело своего рассказа. Пусть застревают. Застрянет то, что нужно. Здесь я не властен. Они поселяются во мне,



в моих тканях нарывают, нагнаиваются, дают цвет и влагу, — твоя лимфа идет на мой эпителий, и кровь разносит ее дальше, в самые сокровенные места. Это уже не ты. Это я. Ты преображен, претворен — ты уже стал другое.

Не обижайся. Здесь не моя заслуга. И не твоя вина. Так получается. Я просто отзывчив на твои щепки. Во мне болит твой зуб. Представляешь? Я этого хочу. Я прикусываю десну, прижимаю ее к болящему зубу, — радужный мост боли опоясывает мои десны теплой, пульсирующей шиной. И этот сочный, сладкий, саднящий зубчик — уже мой. Я люблю его. И так просто я его не отдам.



Так назревает скандал. Дождь. Горячий тропический ливень. Зреют яблоки — уже мои. Там твоя косточка, но моя мякоть. Тело моего рассказа. Моя сладостная плоть. Можешь ее покушать. Я ее поливал, но мне не жалко. Ты понял? Так что твоя косточка не пропала.

...Попробуй теперь сказать, что я плохо поступил...

Авитаминоз



Тает весна. Стекла машин забрызганы нефтью, свежей водой из-под снега. В машину бьет тугой ветер весны. Пахнуло детством, тортом, сладким сиропом грачей... Смотрю: с изумрудным в морозе лицом, весь в седине из детства, старый Миклухо-Маклай в шапке-ушанке и чуть ли не в трусах с капюшоном. Лик профессора, из Жюля Верна — чело загорелое, отморожены руки... сосульки с усов... взгляд вдохновенный, наполненный звездами... Он просто обжигал своим взглядом горячим, этот Миклухо. Зима... В слезах, в сумерках звезды, подтекают калоши, теплый паркет, книги, уют, тишина, библиотечные полки... "Добрый вечер, профессор", — хочется сказать мне, и я говорю это, и он от-

вечает: "Добрый вечер, коллега". Бесконечные математические расчеты. Это очень уважаешь... но вижу, что чистое безумие... Все равно, он прекрасен. Рядом с ним хорошеешь...



"Нарциссизм весны, да? Две первые зеленые девочки на Сабанеевом мосту, первые ласточки... Как первые огурцы, первая зелень. Еще авитаминоз, а девочки уже появились..." — Мишель лениво курит и комментирует погоду.

Сабанеев мост заносит рыхлым снегом, бледными цветами весны. Туман съедает памятники... Жрет воду каналов. Каналетто. Дом на набережной... Зимний дворец. Зимний насобачился, сгорбился, готов к гибели в тумане...

...Потом на город обрушилось бесшумное лето. Успенская церковь. Лето и ночь, белая от страха... Дома пугаются друг друга. Испуганная белая ночь в Одессе... Теплая темная коммуналка, где живет Гирш, где добротно, надежно пахнет теплыми коржиками и супчиком нежным... Мама подходит к двери, долго прислушивается, потом возвращается в комнату и говорит растерянно: "Гриша, там пришли...". Павлов стоял у порога.

Высокое пламя костра

...Горел, догорал диван Павлова.

— Поджарим их на медленном огне, — говорил он в азарте. — Но лучше на быстром.

— Кого — их?

— Клопов. Они заслужили это высокое пламя. Они меня извели.



— Ты просто безумен...

— А ты?

— Да, и я безумен. Ну и что из этого? Ровным счетом ничего.

Догорает диванчик, дотлевает прошлая жизнь, трещат и лопаются клопы... Там такой маленький металлургический заводик внутри, плавильня... Кто бы мог подумать — завод Павлова! Там бушует алхимическое пламя, плавятся слитки золота, золотые слитки жизни. Воняет кожей старого кресла,

старого мира. Дерматином, опилками, всем, чем был набит диван, — горелым тряпьем, керосином, железом... Там шевелится огонь, и души клопов улетают к небесам. В мерцающем перегаре железа роятся птицы. Очистительное пламя костра уносит дурные мысли и поступки... Мы не можем оторваться от этого зрелища. Весь двор завороженно смотрит на это аутодафе. "И мы преобразимся", — шепчет кто-то...

Диван догорал уже вторые сутки. Наконец дождь загасил тленье, костер зачадил.

— Слава Богу. Я от него избавился. Хотя он знал и помнил много прекрасного. Помнил счастливые дни. Наши разговоры, чаепития. Наш бред, спиритические сеансы, беседы, исповеди, любовные признания, стук сердца и часов...

— Тебе не жалко?

— Мне жалко. Но мне не жалко. Это должно было случиться. Рано или поздно. И это произошло. И слава Богу.

Рисунки автора



Норма МАНН

Гестаповна

Памяти брата Сергея

В первые послевоенные годы на Французском бульваре, в районе Отрады и примыкающих переулков, была известна одна пожилая интеллигентная дама как непривередливая и самая недорогая учительница музыки. Это была пора, когда родители многих моих сверстников всячески пытались стереть из нашей памяти неустроенность и заброшенность военного времени. Не то чтобы все желали видеть своих детей пианистами и скрипачами, просто стремились дать отпрыскам достойное воспитание. Учили играть на фортепьяно, аккордеоне, на трубе, а одной девочке выпала виолончель, и ее все жалели. У моего младшего брата Сергея обнаружился а б с о л ю т н ы й (!) музыкальный слух, и он стал учиться по классу скрипки в школе Столярского. Но брат скрипку невзлюбил, и когда дело доходило до домашнего задания, он прямо заявлял родителям:

— А я к вам со скрипкой стоять не нанимался.

Когда он играл свои упражнения, наш отец подчеркнуто заметно укладывал ремень на ближний стул. Брат обливался слезами и еще чем-то из носа, но все-таки вытягивал из скрипки устрашающие звуки. Я на это время просила отпустить меня погулять. Кто бы сказал, почему по радио скрипка звучит нормально, а в доме — жуть?

Мне тоже угрожала скрипка, но мама сказала:

— Для девочки лучше фортепьяно. Даже если и не станет пианисткой, всегда будет душой компании.

Так мне выпало фортепьяно. Тоже не подарок. Я представляла это учение так: придет учительница, откроет секрет — как это делается, и я быстро-быстро начну играть разные песни, дети вокруг меня будут петь, а я буду в компании душой. Наш папа вообще не учился музыке, а играл на мандолине, гитаре и пианино — что хочешь. И он был душой всякой компании. И у мамы в детстве была учительница музыки, но играть мама не научилась, у нее не было музыкального слуха. Она была душой компании по стихам и шуткам.

У брата отношения со скрипкой так и не наладились, и его пришлось забрать из знаменитой школы. Мама сказала, что он относится к инструменту (скрипке) устойчиво варварски, а возить его в школу и из школы и быть свидетелями ежевечернего садизма никаких сил нет. Было решено, что мы оба под присмотром Анны Порфирьевны (Анюты, Аню, Нюню,

Ниты) будем заниматься дома. К нам будет приходить учительница. Ее зовут Юлия Густавовна.

— Гестаповна?! — вскричал брат. — Я с гестаповными заниматься не буду!

— Еще как будешь, — сказал папа. — Научись выговаривать правильно ее отчество: Гус-та-вов-на. Повтори. Человека обижает, когда неправильно произносят его имя.

И вот она пришла. Маленькая, старая, сморщенная. Ее одежда, включая шляпку, была выцветшая, цвета жидкого кофе с молоком. Бедность и выношенность ее наряда даже в то нищее время выделялись ветхостью. Она была не просто бедна, а бедна как-то по-старинному. Пелерина на ее пальто (папа сказал, что такое пальто называется салоп) была обшита каким-то замысловатым шнуром, в котором узелки и стеклярус еще сохранили свои цвета. За этим мне мерещилась какая-то тайна. Когда она сняла пальто, ее юбка и блуза — такого же цвета, как и салоп — мне показались уже где-то виденными, то ли на старой открытке, то ли в какой-то книжке.

— Вам известны мои условия? — спросила она маму. — Знаете ли вы, что я ничего не играю? Я показываю, как надо играть, но сама стараюсь не касаться клавишей. Только в крайних случаях.

— Да-да, — сказала мама. — У вас очень хорошие рекомендации.

— Ну и славно. Мне бы не хотелось объяснять, почему так.

— Я знаю про успехи ваших учеников. Этого достаточно.

Так мы начали заниматься с Юлией Густавовной.

Каждый раз она приносила с собой толщенную папку для нот. На одной из ее сторон золотым — тоже выцветшим — тиснением было написано слово MUSIK, на другой — тоже тиснением — портрет Бетховена. И — началось! В нашу жизнь вошли новые имена: Гречанинов, Черни, Гедике, Майкапар. Гаммы, упражнения, этюды. Этюды, упражнения, гаммы.

— Считаем! Кисти круглые! Представьте, что вы держите в руке круглое яблоко. Локти! Спина! Все участвует. Раз —и! Два— и! — командовала Юлия Густавовна и отбивала такт своими ладошками.

Вот ладошки у нее были белые. Белые-белые. Очень хорошо вымытые. Всегда хотелось свои куда-нибудь спрятать, потому что чернила на наших пальцах отмывались только по субботам, в банный день, когда Анюта терла их колючей пемзой. Но таких рук, как у Юлии Густавовны, я лично иметь не хотела бы. Дело не в чистоте. Ее руки были очень узкими, а пальцы длинные и худые, тонкие, как щупальца. И это еще не все. Кожа на ру-

ках тоже износилась, как все ее вещи, и была похожа на приклеенную папиросную бумагу, и при этом она еще была всегда холодной. Когда она клала свою ладонь на наши руки (Выше локоть! Кисть круглая!), я терпела, потому что была старше. А брат просто сбрасывал ее руку.

— Еще раз попробуем, — говорила Юлия Густавовна, не реагируя на подобные выходки. — Немного лучше. Молодец. Еще раз!

И так — дважды в неделю. По полтора часа.

Юлия Густавовна никогда не принимала приглашение отобедать или выпить чаю. Когда у нас собирали на стол, она поспешно заканчивала урок и уходила.

Больше всего от наших занятий страдала Анна Порфирьевна (Нита, Аню, Нюню — я эти имена перечисляю, потому что в детстве мы так ее называли). Наши занятия — по полтора часа на каждого — были для нее тяжким испытанием. Особенно невзлюбила она Майкапара. (Звидки цей хранцуз узявся на мою голову!) А мы объясняли, что он написал "Бирюльки", а она: "Правда, що бирюльки якись. Якбы щось путне!". Между тем она строго выполняла предписание Юлии Густавовны не позволять нам играть по слуху. Как только она слышала какой-нибудь мотив, тут же принимала меры (Писни не дрымбать!).

Наконец настало время, когда мы стали играть н а с т о я щ и е в е щ и: "Менуэт" Моцарта, "Времена года" Чайковского. Потом мы выучили Бетховенского "Сурка". Со словами. Мы играли и пели. А Юлия Густавовна нам подпевала. У нее оказался совсем не противный голос. Песня про бедного бездомного мальчика нас очень разжалобила. Я, конечно, держала себя в руках, а Анюта и Сережа всхлипывали.

Когда дело дошло до игры в ч е т ы р е руки, я стала часто заниматься у моей одноклассницы Юли Грельской. Мне всегда казалось, что Юлия Густавовна к Грельской относится лучше, чем ко мне. Может, потому, что они были тезками? Или потому, что она е щ е р а н ь ш е была знакома с Юлиными родителями. У Грельских Юлия Густавовна п и л а ч а й.

Юлины родители были не как наши. Они были старше, но не в этом дело. Они были д р у г и е. Сергей Иванович, полковник в отставке, казался мне человеком подозрительным, хотя и симпатичным. Когда мы с жаром говорили: сбор, слет, спевка, он как-то узко улыбался. Мама Юли, Маргарита Георгиевна, была родом из Астрахани и очень красиво разговаривала. Она не стеснялась рассказывать, что ее отец — там, в Астрахани, — был купцом первой г и л ь д и и, и детей их было двадцать, поэтому м а м е н ь к а не работала, а д а в а л а им воспитание. Всех своих сестер

и братьев, которые жили где-то далеко, она называла Тамуся, Ануся, Николаша и так далее. Я думала, что все они еще маленькие. А однажды приехала погостить сестра Любаша. Она оказалась старухой, как Юлия Густавовна. И Маргариту Георгиевну называла Маргоша, Маргошенька. У них в доме так было принято. Там всех называли ласково. Маргарита Георгиевна, как сказала моя мама, очень любит уменьшительные с у ф ф и к сы.

У Грельских в двух маленьких комнатушках было очень много безделушек, а на стенах — фотографии всей семьи: родители Юли в молодости, родители родителей, братья-сестры — все на толстых старинных паспарту. И, конечно, Юли в детстве. Но больше всего — развешанных, облокоченных на что-то — фотопортретов Маргариты Георгиевны. В шляпе, без шляпы, с веером, с зонтиком, с красивой повязкой. А под одним портретом была надпись: "Спешу сказать Вам от души: Вы здесь, как всюду хороши". Я знаю, что моя мама назвала все эти картинки мещанством, и я, конечно, с ней была согласна. Но я бы не возражала, если бы под моим портретом кто-нибудь написал такие стихи.

Однажды Юлия Густавовна принесла к Грельским странные ноты — сложенный вдвое большой лист плотной пожелтевшей бумаги, как бы вырванный из середины большой тетради. На первой странице, которая служила обложкой, по п е р и м е т р у (мы недавно проходили) тушью нарисована изгибающаяся ветка с листками и цветочками. (Маргарита Георгиевна сказала: "Какая чудная в и н ь е т к а!".) А в центре — портрет певицы в цыганском наряде. Честно говоря, эти ноты были принесены не для нас. Мы заинтересовались картинкой.

— Если вам любопытно, — сказала Юлия Густавовна, — можете попробовать разыграть самостоятельно в четыре руки. Без пения. Это старинный цыганский романс. Слова интереса не представляют.

Как только Юлия Густавовна ушла, мы сразу взялись за р о м а н с. Мы играли его не в четыре, а в две руки — левая Юлина, правая —моя. Мы торопились разложить с л о в а по нотам. Слова — вот что было главное! О Любви!

Ты мне ласки дарил!
Целовал, не любя!
И шутя, разлюбил...
Так сгублю ж я тебя!
И-шу-тя-а раз-любил!
Так сгуб-лю я тебя!
О-том-щу! О-том-щу!

Сначала мы пели, как написано. Потом на три счета — как вальс:

Так-сгуб-люж я-те-бя!

Пели, как народную песню, протяжно:

Ты мне ла-аа-а-ски дариллл.

Ох!..

Цы-лава-а-аллл не любя...

Ох!

Потом — как марш:

А-тамщу, ать-два!

А-тамщу, ать-два!

И еще, если получалось, подсвистывали.

Маргарита Георгиевна смеялась до слез. Сергей Иванович терпел молча.

Соседи постучали в стенку. Сергей Иванович подошел к нам командирским шагом. Скомандовал:

— Руки убрать! — и захлопнул крышку пианино. — Концерт окончен. Вы уже всем отомстили.

Юлия же Густавовна, которой наверняка про наш концерт рассказали, урока по Романсу не спрашивала.

Постепенно и в нашем доме Юлия Густавовна понемногу оттаяла. После вечерних занятий оставалась пить чай с вареньем и при этом иногда рассказывала истории из своей жизни.

Она училась в одесской консерватории в эпоху Неждановой и других знаменитостей.

— Наша семья и о с е л а в Одессе, потому что в консерватории был очень сильный преподавательский состав. Меня готовили к пианистической деятельности, но не случилось.

— Почему же? — спросила мама.

— О, это очень печальная история. Жил на свете один молодой человек, многих достоинств. Мы были с ним п о м о л в л е н ы. Он ушел в Белую армию... Вас это не смущает?

— Нет-нет, — сказал папа, а мама метнула на него один из своих строгих взглядов — в то время было трудно разобраться, "что такое хорошо и что такое плохо".

— На войне этой он погиб. Я решила, что будет несправедливо, если после его смерти я буду разъезжать с концертами, наслаждаться музыкой. Мне будут аплодировать... И я отказалась от концертирования.

— И никогда не пожалели об этом? — спросила мама.

— Нет. Согласитесь, что это не большая цена за человеческую жизнь... Так я стала преподавателем... Потом, много позже, не стало моей мамы. Мы были на свете одни. Папа умер, когда я была ребенком. Но у меня осталась музыка... То есть — какая-то радость. Я сочла, что не должна радоваться, когда никого не осталось... Вот только музыка... И я отказалась от нее. Я даже продала рояль, чтобы он не искушал меня. Так я стала учительницей музыки, которая не играет... Такое вот чудо природы, — добавила она и улыбнулась. — Я хотела полного сосредоточенного одиночества, чтобы постоянно думать о тех, кого нет. Этого не получилось. Когда живешь среди людей, привязываешься к ним. Вот, к примеру, я сижу сейчас с вами. Мы пьем чай, разговариваем. Человеку свойственно сближаться, отдаляться... Но отменять что-то в моих давних решениях...

— Но они исковеркали вашу жизнь! — воскликнула мама. — Вот так, "изречь монашеский обет..."?

— Нет-нет. Совсем другое. Это не обет и не зарок. Просто другое качество жизни.

Так понемногу все начало разъясняться.

Однажды Юлия Густавовна принесла бумажный пакет. Когда попили чай, она этот пакет положила на стол.

— Я тут принесла для вас несколько извещений о смерти моего дяди.

Она развернула пачку старых пожелтевших газет. Я запомнила "Санкт-Петербургские ведомости", напечатанные по-дореволюционному. С ять и с твердыми знаками в конце слов. Там было извещение о том, что знаменитый польский писатель Генрик Сенкевич скончался в 1916 году и т. д.

— "Камо градеши"?! — воскликнула мама. — Ваш дядя Генрик Сенкевич? Автор "Камо градеши"?

— Да, так случилось.

— Если не ошибаюсь, Генрик Сенкевич был одним из первых нобелевских лауреатов в о б л а с т и литературы?

— Да, он был представлен за трилогию и многое другое. Я его видела только в детстве, так что помню плохо. Он долго жил в Швейцарии. И умер там. Мы с мамой не могли поехать на похороны, потому что шла мировая война. В 1924 году его п р а х перевезли в Польшу и похоронили на родине. Мы тоже не смогли поехать. По другой причине. Так что я никогда не была на его могиле.

Бывали еще случаи, когда Юлия Густавовна приносила старые концертные и театральные афиши и программки. На них обязательно было

напечатано: "С дозволения начальства" или "Печать разрешена полицмейстером".

— У меня завалялось еще кое-что, — и она показала нам две узкие, напечатанные на тонкой пожелтевшей бумаге концертные программки. — Может, вам будет интересно.

Интересно? Еще как интересно! "В зале дворянского собрания имеет быть концерт в пользу недостаточных учениц женской гимназии".

— Что значит — недостаточные? Они недостаточно учились?

— Совсем нет. Это означает, что эти ученицы из бедных семейств, и им нужно помочь окончить курс. А здесь, взгляните, объявление о концерте в пользу приюта общества вспоможения неимущим. Бедным то есть. В прежнее время делалось много благотворительных дел.

— А нам на уроке истории учительница сказала, что это была жалкая благотворительность, и она унижала человека.

— Ну, учительнице истории виднее. Я же преподаю музыку.

— А вот тут написано, — сказала мама, — "исп. Ю.Г. Сенкевич". Вы играли в этом концерте?

— В обоих. В одном я играла *Scherzo* Шопена, в другом аккомпанировала певцу, который исполнял арию Демона из оперы Антона Рубинштейна "Демон": "Не плачь, дитя, не плачь напрасно...". Я много выступала в таких благотворительных концертах, еще когда училась в гимназии...

— А тут еще написано, — сказал брат, — "Рояль фабрики Беккер". А почему на нашем рояле "Беккер" написано не по-нашему?

— Оттого, что рояль немецкого мастера, оттого и написано по-немецки.

— Нашему "Беккеру" более ста лет, — сказала мама.

— Это и хорошо и плохо. Я бы посоветовала вызвать мастера.

Однажды она принесла несколько фотографий своей семьи. Не могу сказать, чем именно, но они отличались от фотографий родственников Грельских. Мне казалось, что они были з н а т н е е. Но не это важно. Важно то, что среди других там была фотография девочки-гимназистки! Я такой красоты никогда не видела! Светлые волосы тонкими локонами спускались на лоб и виски. Толстая светлая коса лежала на груди. А на темени был красиво уложен темный бант. Совсем не похожий на те торчащие банты, которые нам всем завязывали, туго до боли стягивая волосы; считалось — чем больше бант, тем больше ребенка любят. А бант гимназистки был похож на маленькую шляпку.

И это — не самое главное!

Главное — ее лицо. С большими светлыми глазами и тонким острым

носиком. А губы! Их уголки были задраны вверх, как будто девочка только что отсмеялась или вот-вот начнет.

— Кто эта девочка? — спросила я.

— Не узнаешь? Совсем-совсем? Это же я гимназисткой, — сказала Юлия Густавовна...

...Я часами торчала перед зеркалом, защипывая пальцами кожу на своем лице. Мне хотелось узнать, какой я буду, когда стану старой.

Я была веселая, счастливая девочка. Была уверена, что ни я, ни все, кого я люблю, никогда не состарятся и не умрут — война же кончилась. А фотография девочки — Юлии Густавовны — не то чтобы изменила мою жизнь, нет; внешне все оставалось по-прежнему: бег гурьбой "с весельем и отвагой". Но внутри — то сильно, то слабее — ощущалось присутствие знания о превращении чудной девочки в сморщенную маленькую старушку, не сохранившую ни одной черты.

Я не помню точно, как прекратились наши занятия. Началось с того, что Юлия Густавовна однажды подняла крышку рояля и увидела, что от колков пошли мелкие трещины. Ремонт стоил дорого. Приходили мастера. Говорили: "Беккер, Беккер. Сложная работа", — и запрашивали большие деньги. Денег на ремонт не было. Занятия откладывались. Маме многие советовали купить подержанное пианино. То есть старое, но в хорошем состоянии, а рояль выбросить — вон сколько места занимает. Или, в крайнем случае, к а р д и н а л ь н о переделать. Но мама отвечала, что на кардинальный ремонт вряд ли в о б о з р и м о м будущем появятся деньги, а папа сказал, что он попытается раздобыть какую-то замечательную смолу и сам зашпаклюет трещины. А Анюта пробурчала: "Ще асфальту цьому роялю не хватало". А мама сказала: "Подождем, может, премия какая-нибудь... А пока мучить не будем, пусть лучше умрет своей смертью".

Так занятия наши с Юлией Густавовной откладывались, а потом и вовсе прекратились. У нас появились новые интересы: спортивная школа, Дом техники, Дворец пионеров, велосипед — по очереди — и еще много чего.

Юля Грельская пошла на гимнастику, и у нее там все хорошо получалось.

С Юлией Густавовной мы совсем перестали видеться. Иногда кто-то говорил, что надо бы ее проведать. Но никто не собрался. Однажды Анна Порфирьевна случайно встретилась с Маргаритой Георгиевной на Пироговской, и они стали прохаживаться. Дошли до Ясной, а там, за углом, где-

то на Уютной недалеко был особняк, поделенный на многих, — с сараями, пристройками, верандами. Там и жила Юлия Густавовна.

Возвратившись, Анюта сказала:

— Все. Гестаповны больше нет. Преставилась. Хотя она и в католыцьку церкву ходыла, надо помянуть.

Сейчас, по прошествии стольких лет, я плохо помню лицо Юлии Густавовоны, а девочку с фотографии помню, как будто видела вчера. Знаю, что она и девочка-гимназистка — один и тот же человек. Но они несовместимы. Они — отдельно. Девочка на фотографии впечаталась в память. От нее исходил сигнал тревоги, который, как оказалось впоследствии, давно сложился в призыв: *memento mori.*

Memento...

ФРГ



Лилия ИШУТКИНА

Конечная остановка

1.

...В студенческие времена я относилась к ней всяко: то хорошо, то плохо. Причиной были не столько ее недостатки, сколько мои: мне явно недоставало тогда доброты и терпимости...

Мы учились на одном факультете, гуманитарном, и потому преимущественно женском по составу народонаселения. Девичья красота у нас представлена была на все вкусы: от экзотичных до строго классических. Но и в этом цветнике ее нельзя было не заметить. От матери-гречанки ей достались в наследство фиолетово-черные косы. Прямо как у Алкея: "Сапфо фиалкокудрая, с улыбкой нежной"... Длинные, до висков, темные глаза и античная линия профиля делали ее настоящей гречанкой...

Прошло много лет, чуть ли не полсотни, с момента окончания университета и нашей разлуки... Однажды я отправилась на вернисаж в маленькую, но очень славную по ценности меняющихся выставок галерею. Знаменитый художник, бывший одессит, передал галерее для обозрения землякам несколько десятков своих изумительных акварелей. И тут я увидела ее. И сразу узнала! Она стояла в группе лиц, известных в городе, очень даже европейская, сияя улыбкой, сединой непривычно коротких волос и белым воротничком английской блузки. Я была безумно рада видеть ее, полузабытую и такую красивую, вопреки и несмотря на годы! Мне подумалось, что, наверное, старость, как любая иная пора человеческой жизни, эволюционирует по триаде: начало, кульминация, финал. Пик старения, его расцвет — это наш вечер, теплый, с ароматом только-только отшумевшего женского лета!

Мы обнялись...

2.

Оценив по достоинству акварельную ностальгию художника, который ничего не забыл, мы вышли на улицу, только что воспетую им, и побрели, беседуя "за жизнь"... Ее жизнь, говорила она, сложилась вполне. Взлеты и карьерные падения завершились финансовым благополучием. И оно ощущалось в ее неброской элегантности и в той спокойной корректности, с которой держатся люди, не думающие о содержимом своего кошелька,

ибо оно всегда там в наличии... Я помнила, что она рассталась с мужем, и спросила, одна ли она сейчас:

— Да, это так! — и она улыбнулась...

На улице серьезно ведь не говорят о серьезном. А поговорить ей хотелось! Я появилась неожиданно после длинного отсутствия, и вряд ли встреча повторится. Так уж все складывалось! И было, как в поезде, когда два человека, никогда ранее не знавшие друг друга, вдруг мгновенно сближаются в тесном пространстве купе. И ночью, когда за окном темнота и все в вагоне спят, когда оба знают, что на рассвете один неизбежно сойдет на маленькой станции, а другой тут же умчится прочь, тогда и распахиваются люди настежь, говоря о вещах, скрытых подчас от самых близких, а часто и от самих себя...

...Нам захотелось посидеть в кафе на открытом воздухе. Весна в этом году была ранняя, столики уже заняли свои места на тротуарах. Только нужно было, чтобы не гремела дискотека и чтобы не было приложенных к меню (специально для стареющих дам!) юношей с нехорошо взрослыми глазами, которые искренне дивятся вашему удивлению.

Мы нашли очень милое кафе — рядом со знаменитым в нашем городе мостом, на самом краю высокого склона, сбегающего к припортовой улице. Пахло морем, немного нефтью, чуть-чуть кофе и освежающе травой, днем, наверное, скошенной на газоне. Внизу, в порту, ухал работяга-локомотивчик, волнами к нам доносилась музыка с лайнера у причала, далеко на побережье перемигивалось огнями городское предместье.

3.

— После развода, — говорила она, — я долго болела. Жить не хотелось! Но долг перед старыми и малыми людьми, оставшимися мне в наследство, заставил взять себя в руки, и каждый божий день я шагала на работу, которая из-за перемен в стране кормила нас все хуже и нерегулярнее. Чтобы выжить всей семьей, нужно было действовать умно и отчаянно. Я бросила прежнее место и начала искать новое... Немало лет прошло, прежде чем я поднялась! Взрослели дети, умирали родные старики, и не было времени, чтобы остановиться и оглянуться. На себя! А когда дети, слава Богу, стали самостоятельными людьми, и мой собственный статус удовлетворил меня по всем статьям, остановившись и оглянувшись, наконец, я поразилась своему многолетнему полному одиночеству и задалась вопросом: где же он, человек, который мне нужен?! Есть ли он?

...Она закурила. Пусть простят меня поборники бездымной жизни, но сигарета удивительно шла ей. Тонкие пальцы привычно щелкнули зажигалкой, дальний угол губ принял в себя зажженную сигарету, и карий глаз рефлекторно сощурился от табачного дыма...

— Да, — сказала она, — я никогда ничего и никого не боялась в жизни. И никого не любила, кроме, наверное, родных! Друзья? Но те немногие, которые были, состарились раньше меня... Да и не по мне — переиначивать отношения! Настоящая дружба притягательна для меня именно своей внепостельностью, что ли! Наверное, цинично прозвучит то, что я скажу, но, обозрев свое жизненное пространство, я содрогнулась: из умниц-мужчин, по-настоящему интересных мне и равных во возрасту, никто не сохранил подлинно мужского обаяния, а сравнительно молодые люди мужского полу от бессилия интеллектуального казались вообще бестелесными.

Господи! Прости нас, грешных, от души смеявшихся! Сквозь женские слезы, разумеется!

4.

— Я, как ты поняла, поставила крест на своих любовных и матримониальных грезах... Но однажды поздним вечером раздался телефонный звонок, и мужской голос с полузабытыми интонациями попросил меня к телефону. Я мигом вспомнила, кто это: мой давний коллега по давней преподавательской жизни! И мысленно я вновь увидела его хорошей лепки голову, неожиданно маленькие по-женски ухоженные руки, весь его отутюженный, тщательно продуманный в тон и по моде облик... Великий дамский угодник, он был аккуратистом и педантом в работе: мыслил технически четко, говорил кратко и емко, был безапелляционен в суждениях, любил декларировать свои незыблемые жизненные принципы. К искусству имел, как он считал, прямое отношение: писал подражательные любовные стихи, экономно посвящая один и тот же текст нескольким избранным дамам, каждой — по секрету!

Он был женат (во всяком случае, на моей памяти!), и жена была много старше его... Говорили, что он ей чем-то обязан. Она была мудра и величественно не замечала его любовниц...

Но первое, что он, представившись, сообщил мне по телефону, было грустное признание во вдовстве...

Не встречаясь, мы стали названивать друг другу — все чаще и, к моему удивлению, все интимнее...

5.

...Я прервала ее, извинившись и сказав, что ее телефонные воспоминания и мне напомнили о необходимости позвонить домой, предупредить, что, возможно, появлюсь я очень поздно — сегодня, или ранним утром — завтра...

Взяв такси, мы без помех добрались до ее дома в одном из самых уютных и дорогих кварталов города. Было далеко за полночь. Лифт с мелодичным звоном доставил нас на верхний этаж. Ее квартира была составлена по-современному скупо и казалась грустной из-за громадности пустого пространства. Со стен с кронштейнами для еще отсутствующих полотен лился мягкий свет из ламп, спрятанных по горизонталям. Она готовилась разместить тут свою коллекцию живописи...

Огромный холл с единственным слоноподобным креслом аркой соединялся с обширной, в электроплитах, кухней. И только балкон, протянувшийся во всю длину наружной стены, был обжит: с шезлонгами, пледами, журнальными столиками и баром, который немедленно был распахнут, — и вот уже я беру из ее рук бокал с глотком коньяка на самом дне...

Светляками смотрелись далеко внизу белые кисти каштанов, не знаю, ароматом каких цветов напоен был воздух, невидимое море плескалось где-то совсем рядом... Она говорила:

— И я уже не могла жить без его телефонных звонков! Все, что случалось утром и днем, что привиделось мне ночью, странно для себя, стала пересказывать ему вечером, и мне казалось, что он мыслит и чувствует, как я... Я поражалась, почему в прошлом я не угадала его, и долгих тридцать лет понадобилось мне, чтобы оценить по достоинству и его такт, и душевную тонкость. Я убеждала себя, что далеко не всегда люди с годами меняются к худшему. Разумеется, в какой-то из вечеров мне захотелось личной встречи, и я стала мысленно готовиться к ней. Я признала факт чудовищной недолюбленности, имевшей, как говорится, место быть в моей жизни. И сама я, каюсь, во многом была здесь повинна! Ибо гордость собственной силой была во мне безмерной, как и страх потерять личностную свободу... Я никогда не прощала ни бывшему мужу, ни кратковременному другу, ни возможному возлюбленному малейшей шероховатости в общении с собою. И если они уступали мне, что бывало постоянно, я презирала их за мягкость и не скрывала этого! В итоге я обрела возможность делать все, что считала нужным. Но это была свобода абсолютно одинокой женщины!.. И оказалось, что от нее тоже можно устать. И за-

хотеть быть трогательно слабой! И затосковать по защите. Знаешь, я так устала побеждать, что теперь согласна была уступить без боя...

...Нервно закуривая, она тут же тушила сигарету. И чем быстрее она говорила, тем яростнее бросалась из одного угла балкона в другой, удивляя совсем молодой силой своих жестов.

— С трепетом, — продолжала она, — шла я на встречу, которая, верилось мне, должна была изменить всю мою жизнь...

...Дверь мне открыл совсем дряхлый человек. Его лицо не могло быть лицом того умного и сильного человека, которого я знала, потом забыла, а затем вновь вообразила себе. Но это было его лицо!!

Потрясенно прошла я мимо него, молча сняла шарф и расстегнула пальто, покорно дала прикоснуться к себе дрожащими в Паркинсоне руками и рванулась обратно, на волю!..

...Заплакала я только в автобусе, который подхватил меня с проезжей части дороги. Покорно взобравшись по неожиданно оказавшейся рядом лесенке, я опустилась на сидение, где кто-то уже разместился у окна. Наверное, я плакала так горько, так безнадежно, что к лицу моему вдруг протянулась рука, и чье-то дружеское плечо придвинулось, чтобы мне уткнуться в него и забыться... А потом я вышла там, где все, — на конечной остановке!..

...Она замолчала. Молчала и я. Мир вокруг был так же бесшумен и тих. И вдруг она наклонилась ко мне, зорко взглянула в лицо и — улыбнулась!..



Алена ЯВОРСКАЯ

Кошки и женщины

История отношения кошек с людьми достаточно сложна. Совсем в древние времена (скажем, при фараонах) их просто обожествляли. А обидевшему кошку полагалось такое... Нет, лучше не вспоминать...

Но человечество взрослело и, как любой подросток, с наслаждением расправлялось с недавними кумирами. В Средние века кошек и топили, и сжигали, и вешали. А за компанию с ними и хозяек. Женщин при этом называли ведьмами. Обвинения в адрес и тех и других сводились к прельщению мужчин и порче чужого имущества. Что поделаешь, и женщины, и кошки к этому бывают склонны. Правда, женщины больше к первому, а кошки ко второму, но кто ж в запале разбираться будет? Предполагаю, поэтому Средневековье и сотрясали эпидемии: кошки не ловили крыс и мышей, а женщины не так уж рьяно убирали дома и мылись сами — с одной стороны, ведьме полагалось быть старой и уродливой, а вот с другой — кто ж на такое прельстится? Излишняя чистота тогда могла нанести непоправимый ущерб здоровью. Парадоксально, но в зарождавшемся примерно в то же время мусульманстве к кошке относились с большим уважением: как известно, сам Мухаммед отсек полу своего плаща, чтобы не будить заснувшую кошку.

С началом Возрождения кошки и женщины в Европе слегка расслабились. И если вторые осмелели и стали не только умываться, но еще и краситься, то первые сделались любимцами королей и художников. Можно вспомнить и Леонардо да Винчи, и многих из Людовиков, и кардинала Ришелье.

Прошло еще немало лет. И сочетание "женщина и кошка" стало синонимом понятия "старая дева". Причем если кошек держал в доме одинокий мужчина, ничего такого не говорилось. Его мужские качества или холостяцкий статус с владением кошками или котами никак не соотносился. Несправедливо получается. Возможно, думали, что настоящий (то есть мартовский) кот подчеркивает своим поведением достоинства и полноценность хозяина, а кошка гуляет так, что хозяйке, на это действо глядя, уже ничего самой не захочется.

Впрочем, кто ее поймет, мужскую логику. Называть ласково любимую "кошечкой", говорить о кошачьей грации, с которой она движется, и при этом называть женщину с кошкой "старая дева"! Правда, есть и еще одно толкование. Может быть, это намек на то, что женщины слишком

малому учатся у кошек, да и вообще, кошка создание более совершенное, нежели женщина.

Давайте вдумаемся. С определенного (не будем уточнять, какого) возраста любая женщина задумывается о размере талии, бедер и всего остального. Какие деньги зарабатывают на этом диетологи, производители тренажеров, личные тренеры, пластические хирурги и прочие, никому не известно. Мне лично кажется, что это даже прибыльнее, чем торговля оружием или нефтью. Женщины прилагают потрясающие усилия, мучаются, страдают, отказываются от вкусненького, стараются побольше двигаться и поменьше расслабляться. Те немногие, кто достигает цели, постоянно живут в напряжении. А кошки...

Ну кто видел хоть одну кошку, которая отказалась бы от лакомого кусочка, которая бы изнуряла себя физическими упражнениями? Нет, поиграть с клубком или просто порезвиться кошка может. Но — только в свое удовольствие и ни секундой дольше. Если бы мы могли столько спать... И столько есть... И при этом так сохранять фигуру и двигаться с таким царственным достоинством.

И вообще — видал ли хоть один человек некрасивую кошку? А неграциозную? А разжиревшую (за исключением несчастных домашних, кастрированных и в компенсацию раскормленных до габаритов хорошей овчарки)? А о кошке без поклонников (опять же не считая домашних, вынужденных соблюдать целибат) и речи быть не может. У каждой вышедшей во двор их не менее трех. И это минимально возможное число для любой уважающей себя кошки. А уж как они себя любят — лишь отдельные, очень продвинутые женщины могут с ними сравниться.

Особую зависть у женщин вызывает то, какие минимальные средства требуются кошке для приведения себя в порядок. Лапка, язычок, и ни Диора, ни Шанель. Мы тратим времени не меньше, чем кошки, но результаты все же неравноценны.

Да, у кошек женщина может многому научиться.

В подтверждение можно рассказать историю из жизни. Начнем издалека. В одной приличной одесской семье дочь мечтала иметь дома что-то пушистое — чтоб погладить, потискать. Семейные предания гласят, что когда ребенок приближался к дому, где были кошки, с громким криком: "Кись, брысь!" — несчастные животные, сметая все на своем пути, убегали подальше. С годами речь стала более внятной, но на предложение "Давай заведем кошку" мама неизменно отвечала, что держать животное на четвертом этаже городского дома — мягко говоря, садизм.

Первую попытку взбунтоваться дочь сделала, когда поклонник вручил ей черного кота (до этого врученного ему же предметом предыдущего поклонения). Кота торжественно окрестили Одиссеем и в сумке привезли с Фонтана на четвертый этаж. Мама смирилась. Правда, через несколько недель выяснилось, что в процессе перехода из рук в руки животное таинственным образом ухитрилось сменить пол и оказалось Пенелопой (или Одиссеей). В отличие от царственной тезки, кошка не желала ждать мужчину своей мечты и требовала все и сейчас. Ошалевшая от такого напора хозяйка выпустила кошку во двор. Увы, сказалась магия имен. Пенелопа, бывшая Одиссеем, обнаружилась через год в витрине близлежащего ателье, но возвращаться не пожелала.

Понятно, что после этого желание завести кошку если и не угасло, то сильно ослабело.

Но... Прошло несколько лет. Когда девушка с сотрудницей прогуливали ДНД (то есть вместо того чтобы красными повязками наводить ужас на хулиганов, мирно сидели в кино), созвездия на небе уже складывались в коварную кошачью улыбку. Сотрудница кошек недолюбливала. Поэтому когда на остановке из ниоткуда возник котенок, она сказала: "Брысь!". Котенок, точнее, кошечка-подросток, подбежала к девушке и потерлась об ее ногу. Девушка, сцепив зубы, не прореагировала — нельзя же обнадежить бедное животное.

Котенок обегал остановку, внимательно рассматривая людей и жалобно мяукая, но ни к кому больше не подходил. Он был самый обыкновенный, белый с серыми пятнами, совершенно беспородный. Во Франции таких называют, кажется, "кошка водосточной трубы" а у нас — "дворянской породы".

Подошел троллейбус, сотрудница уехала. Девушка собралась уходить. Котенок вновь подбежал к девушке и пристально на нее посмотрел, сев у ног. Девушка стоически делала вид, что ожидает троллейбуса. Котенок был явно домашний, потерявшийся или выброшенный на улицу, но взять его — нет, немыслимо. Прошло еще минут пять. Когда котенок в третий раз приблизился, она не выдержала. В конце концов, как всем известно, число три — магическое, сказочное, да и мама еще три дня будет в командировке. Котенок был схвачен — нет, "схвачен" предполагает попытку сопротивления — взят на руки. Пока девушка с кошкой добралась от Пушкинской до Пастера, она получила одно нескромное и три скромных предложения (это начали работать кошачьи чары), но гордо ни на одно не отреагировала.

Котенок оказался очень понятливым, умным, веселым. К приезду мамы котенок был приучен ходить в коробочку. Дочь устроила генеральную уборку, вымыла четыре окна, перестирала, перештопала, приготовила — чтобы смягчить ситуацию. Войдя в сверкающую квартиру, мама сразу поняла, что что-то здесь не так. Но котенок был таким обаятельным... Дело его воспитания мама взяла в свои руки. Для начала кошка выбрала себе имя — семь бумажек с именами были разложены перед ней, одну она тронула лапкой. Мама приучила котенка ходит на унитаз — правда, без сливания воды, бегать за шариком из фольги и приносить его в зубах. Кошка сочувствовала дочери во время любовных трагедий, лечила мать от простуды.

Понятно, что когда такое замечательное животное надрывно потребовало личной жизни, терять его хозяйки не хотели. Кошку приучили спускаться с четвертого этажа во двор, где обитало штук восемь разномастных котов. Наконец она была торжественно выпущена во двор для устройства личной жизни. Дочь пошла следить, чтобы кошка не потерялась и не была никем обижена. Во дворе к даме подлетели сразу пять кавалеров. Дама, прижав уши, зашипела. Вся любовная истома, одолевавшая ее еще полчаса назад, моментально исчезла. За несколько минут она злобно расправилась с черным обыкновенным и серым пушистым — коты, весом в два раза больше, отлетали, как пушинки, — и уселась возле машины. К ней осторожно подошел рыжий — его постигла та же участь. Кот неопределенной окраски поступил мудрее — он начал выводить рулады, осторожно придвигаясь. И дело вроде пошло на лад, но когда он решил перейти от теории к практике — повторилась все та же история. Пятый кавалер решил применить грубую силу и прямиком ухватил ее за шкирку. Сценка расправы хрупкого создания с насильником привела бы в восторг любого мастера черного пояса и инструктора по самообороне. Как ловко и вдохновенно это было проделано! Расправившись с последним поклонником и обиженно шипя, кошка забралась под машину. Кавалеры уселись поодаль.

Так прошло еще минут сорок. В другом конце двора появилась женщина с рыбьими потрохами в миске, и коты решили удовлетворить другие потребности. Кошка продолжала сидеть под машиной. Вдруг она насторожилась: к подъезду приближался полосатый кот, такой себе серо-зеленый Скумбриевич. Он медленно шел домой, прихрамывая и не обращая внимания на окружающее. В данный момент, похоже, кошки интересовали его меньше всего. И вдруг послышалось разъяренное шипение. Выскочив из-под машины, кошка догнала несчастного инвалида, хорошенько его от-

метелила и вернулась на прежнее место. Тут-то хозяйка поняла, что кошка ее не пропадет. Махнув рукой, она вернулась домой. Через пару часов вернулась и кошка. А еще через день соседский мальчик, хозяин хромого кота, сказал, застенчиво потупив глаза: "А ваша кошечка с нашим котиком гуляет...". В этом хозяйки убедились сами.

В те времена дверь на ночь еще можно было оставить открытой, подстраховавшись лишь цепочкой. Вечером кошка уходила во двор, утром возвращалась. На четвертый день, часов в пять утра, раздалось требовательное мяуканье. Потирая глаза и поругивая нахальное создание, девушка подошла к двери. За ней сидела кошечка и стоял ее ухажер. Как всякая приличная женщина она привела его домой показать и просила распахнуть двери — кот, похоже, попался стеснительный. Требования были выполнены, дама провела кавалера к своей кормушке, угостила и стала развлекать. Хозяйка попыталась уснуть. Коты зашли в комнату, посидели около кровати, и внезапно кошка набросилась на беднягу и с позором и криком изгнала из квартиры. Что послужило причиной — осталось загадкой. То ли кошка решила поделиться с хозяйкой кавалером, то ли решила, что домашние не одобряют ее выбор, — кто знает. Но все же в дальнейшем гуляла она только с этим котом. Котята у них — при обыкновенной внешности родителей — получались потрясающе красивые. Говорят, когда люди друг друга любят, — дети рождаются красивые.

А чем кошки хуже?



Андрей ПУСТОГАРОВ

Без оглядки

Родословную украинской поэзии принято вести от Тараса Шевченко.

Первыми ростками "новой" поэзии стали стихотворения и поэмы Грицка Чубая (1949-1982), поднявшиеся на исходе недолгой оттепели после сталинской зимы. Чубай – пожалуй, первый после долгого времени крупный украинский поэт, писавший без оглядки на государственную идеологию. Не оглядывался он и на идеологию "национальную". Бытовавшие в советский период в андеграунде стихи Чубая стали образцом почти невиданной в то время свободы.

Олег Лышега (1949) повстречался с Чубаем во Львове в начале семидесятых. По выражению долгое время прожившего во Львове русского писателя Игоря Клеха, "Чубай вынял из рук Лышеги Шевченко и Лесю Украинку и вложил книги Паунда и Элиота". Не случайно изданные в 1999 году в США "The Selected Poems of Oleh Lysheha. Translated by Oleh Lysheha and James Brasfield" были названы американским пен-клубом лучшей переводной книгой года. Лышега вернулся из истоптанной зоны культуры на пограничные территории первобытных навыков и инстинктов, на которых эта культура когда-то и зародилась. Осязание – прикосновения к дереву, камню, глине, жар от огня, ощущение боли – позволяют поэту "вспомнить", как складывалась человеческая психика. Во "вневременных" ландшафтах Лышеги проступает, однако, трагическая военная и послевоенная история Западной Украины.

Стихи Сергея Жадана (1974) вобрали едва ли не весь опыт украинской поэзии 20-го века – и апокалиптическое христианство поздних сборников Богдана-Игоря Антоныча (1909-1937), и стоицизм последней поэмы Чубая "Говорить, молчать, говорить снова", и "левизну" и революционность харьковских футуристов 20-х годов. Стихи Жадана, как и стихи Олега Лышеги, также опыт освоения поэзии англосаксонской. Например, на поверхности лежат переклички Жадана с битником Аленом Гинсбергом. Высокий поэтический стиль Жадана в сочетании с темами, продиктованными драматической и сумбурной "эпохой перемен", образовали и пока удерживают от распада перенасыщенную биосферу его поэзии.

Снег

(к картине П. Брейгеля "Рождество в Амстердаме")

В сны нарядившись и суеверья,
как на показ, пляшем мы
в закономерных снегах за дверью
танец случайностей этой зимы.

А музыкант к небу поднял трубу
и фанатично трубит что есть силы,
и ветки яблонь, как жилы на лбу,
из белой мглы проступили.

И такт все быстрей отбивает нога...
Значит, зря я старался упорно
в оттепель приручать снега
и слов в них бросал зерна...

В вершинах акаций омелы шары
вмерзли в небесный лед,
и трое волхвов растеряли дары
в сугробах удач и невзгод.

Назад повернуть? Но позором их всех
накроет молва дурная.
И перед младенцем кладут они снег.
Но снег тает.

* * *

негромкий блюз вблизи поет
и след подков в лесу звенящем
пророчит явственно исход
деревьев из прозрачной чащи

и в облетевшие сады
уже пора идти тебе
к рукам твоим змея воды
по ржавой приползла трубе

Олег ЛЫШЕГА

Пес

Он лежал в лесу, словно валун,
приподняв голову —
череп в паутине сухожилий.
На ветру взлетела и снова улеглась мертвая шерсть.
Из глубокой прелой листвы,
как из детской купели, молит он взглядом —
дай побыть одному.
В только-только разбуженном лесу
затянутся застарелые раны,
срастутся раздробленные суставы,
как деревья от соков, набухнут мышцы.
Пожелтевшие от морозов глаза
сорвутся с передних лап
и снова погонят большого зайца.
Молодая крапива, смилуйся над ним,
его сердце не выдержит твоей прыти,
и вашей тяжести, первые муравьи,
резво карабкающиеся
на чуть нагретый валун.
Он еще может встать и отряхнуться.
Или зарасти крапивой,
как сгусток почерневшего снега.

Отец

Купание — для него это роскошь,
да еще в конце лета
в Ворони со взрослым сыном.
— Здесь когда-то был омут, —
он вошел и сразу поплыл,

выбрасывая вперед, казалось, не смоченные водой руки, —
так уже никто не плавает.
Сел посреди брода:
— Потрешь мне спину?
И пока я, наклонившись, его намыливал,
он смотрел, как бурлило
и поблескивало течение.
— Хватит — что-то голова закружилась.
Как слепой, выбрался на солнечный берег
и повалился лицом в траву.
Я никогда еще не видел так близко
его большое тело, подогнутые ноги
то ли в пятнах, то ли в тенях.
На миг он забыл
о наклонившемся над ним сыне,
что в конце далекого лета
посреди брода тер ему спину
на убыстряющейся,
рябой из-за листвы и облаков реке.

Сергей ЖАДАН

История культуры начала столетия

Ты ответишь еще сегодня, во тьме трогая теплые буквы,
перебирая их, путая гласные и согласные,
как машинистка в старой варшавской конторе.
Строк тяжелые соты
тускнеют тем золотом, из которого цедится речь.
Пиши, только без остановок, протопчи эти черные тропы
в белых пустотах страницы.
Из ночных долгих странствий никто не вернется
и забытые всеми улитки умирать станут в мокрой траве.

В белых снегах, как в салфетках, задворки Центральной Европы.
Цыганской ленивой пластичности я верил всегда,
не каждому ведь выпадает этот затертый пятак.
Если бы ты заглянула в их паспорта,
что пахнут шафраном, горчицей,

если бы ты услыхала их битые аккордеоны,
с запахом кожи и специй арабских,
они говорят — если едешь куда-то,
лишь удаляешься, ближе не будешь, чем есть;
когда граммофонов кончаются песни,
то масло из них вытекает,
как красный суп
из пробитых консервов.

Время и вправду проходит, но только так близко,
что, присмотревшись, различаешь
его потерявшие упругость волокна
и шепотом повторяешь за ним его фразы,
словно хочешь, чтоб после, когда-то,
твой голос узнав, можно было сказать —
тяжелая, как бомбовоз, так подымалась эпоха,
так развернулась, за бортом оставляя
планеты погасшие и коммутаторов сбои,
с плесов подняв диких уток,
что, разлетаясь, перекричали
грузчиков,
бога
и баржи.

В институте ты выбрала курс и теперь тебе следует знать —
культура начала столетья
уже отпечаталась венами на твоей осторожной руке,
укоренилась на сломах жестких волос,
что собраны кое-как на ветру, над пальцами взвеяны,
как рукомойника теплые струи,
как разноцветные бусы из глины над пепельницами и чашками чая,
как осеннее длинное небо
над кукурузным полем.

Перевел с украинского Андрей ПУСТОГАРОВ
Москва

Мегаполис

Мегаполис, продрогший до мозга костей
И промокший до синевы.
Я попала сюда, как в хмельную постель
К чужаку, с которым на "вы".
Мегаполис туннелей и эстакад,
Над Гудзоном дающих крен,
По мостам и хайвэям сползает в ад
Под воинственный вой сирен.
Мегаполис: Эмпайр попирает твердь,
Припаркованный к облакам,
На Бродвее рекламная круговерть —
Мельтешат мультяшки "дот кам",
Но армады высотных жилых стволов
Неустанно целятся в высь.
Пожирай журнальных акул улов
Да избытком быта давись.
Провались в андерграунд густых пустот,
В андерграунд с приставкой "арт"
Грызуном над грудами нечистот
Под змеиным клубленьем карт.
Поздний брак по расчету с тобой — постыл,
Но вопящую душу заклеил скотч,
И на сотни миль твой враждебный тыл...
В мегаполис по-лисьи крадется ночь.

* * *

Песочные часы идут без боя,
А бой в песках идет не первый час,
В песок стирая камни под собою,
Не ставшие надгробными для нас.
Глаза песком забрасывает страх:
Его частицы в воздухе прогретом
В стекло спеклись, оплавясь на кострах,
Под целящимся в небо минаретом.
И пахнет мясом — жареным, горелым.

На минарете снайперы засели —
И тишина чревата артобстрелом,
А смерть не пролетает мимо цели.
И мир уже висит на волоске
Из бороды языческого бога,
Которому опять приносят много
Напрасных жертв, лежащих на песке
Часов песочных, где проигран бой,
И время замкнуто самим собой,
И, перевернутое, сыплется обратно...
Когда песок сомкнется над тобой,
Гордись, герой, уставной несудьбой,
Не кратной времени, отвратно-ратной.

9 Мая

Поскольку жизнь не стоит ни гроша,
Вдоль Млечного Пути мычат коровы,
Они идут — обречены, суровы, —
Созвездья сокрушенные кроша.

Кто гонит их бессмысленно и грубо?
Чей хлыст свистит: скорей, скорей, скорей?
Никто в лицо не знает мясоруба,
Никто не видел звездных алтарей.

Но надо всем — кровавый знак Тельца,
И вой войны и вонь — на бойне смрадно,
И путается в нитях Ариадна,
И окруженным не прорвать кольца.

И миной в Лабиринте — Минотавр,
А пьяных победителей ватага
Стреляет вверх сквозь опаленный тавр
В провалы звезд над решетом рейхстага.

* * *

Все двери давно закрыты,
Двуногие спят в тепле.
Дворняга по кличке Рита
Прижалась к чужой земле.
Ни шороха и ни звука —
И думает вслух она:
"Бездомная злая сука,
Не вой на меня, луна!.."

Реквием

1

Кто выдумал тебя, дурная весть,
Порвавшая струну арфистки-стервы?
Употребляя ржавые консервы,
Мы угрожали дирижера съесть.
Скрипичный ключ скрипел, корежа нервы,
И струнные настроились на месть.
И только ты, вальяжный, как рояль,
Предпочитая на рожон не лезть,
Топтал в сердцах рояльную педаль
И неуемно пил, зачем невесть.
Staccatto опрокидывал стакан,
На время обезвреживая рану,
И нотный стан бежал во вражий стан,
И пальцы беглые взлетали рьяно.
От горьких возлияний затяжных
На нет сходило нежное *piano*,
И уводили пьяного буяна
Под белы руки двое пристяжных.

2

В гастрольном безалаберном раю
Шуршали по обоям тараканы.
Ни их, ни нас не приглашали в Канны.
Ты говорил: "Кантату раскрою,
Сошью не фрак, а тройку из пике

Фартовей, чем с помойки налегке".
Но дирижер был в черном сюртуке,
И он махнул на нас из горних сфер,
Своей волшебной палочкой взмахнул,
Чтобы душевной музыки баул
Скатился в скверный маргинальный сквер,
Где ты блевал и задыхался, силясь
Подняться, до скамейки доползти.
А у рояля ноги подкосились —
И сделалось с тобой не по пути.

3

Морозный миг финального аккорда,
Тромбон — небритая с похмелья морда —
Свое лекарство разливал по флягам.
Венки проплыли под пиратским флагом —
Вчерашние концертные цветы,
И наконец, с небес увидел ты,
Что, как невеста белый и нарядный,
Взбежал рояль по клавишам парадной,
Ампирные перила теребя, —
Туда, откуда вынесли тебя...

Автобиография в пассиве

меня несут на руках
меня кормят грудью
меня ведут за руку
меня ведут в школу
меня вызывают к доске
мне ставят оценки
мне запрещают
мне разрешают
меня приглашают на вальс
меня тянут в постель
меня ведут в загс
мне пьют кровь
меня провожают

мне обещают писать
меня не понимают
меня не принимают
меня читают
меня переводят
меня издают
меня публикуют
мне рукоплещут
меня критикуют
меня превозносят
меня поносят
меня обожают
меня ненавидят
меня включают в антологии
мне присуждают премию
обо мне пишут эссе
на меня пишут эпиграммы
мне завидуют
на меня клевещут
со мной не здороваются
меня не замечают
меня вычеркивают из списков
меня оставляют за скобками
меня выносят
меня зарывают
меня забывают

Нью-Йорк



Татьяна ОРБАТОВА

Жажда жизни

Горячий чай. Без сахара — с горчинкой.
На полчаса забыла о делах.
Ладошку вверх. Пчела под ритмы Стинга
в окно метнулась. Ну ее! В слезах
во весь экран лицо из сериала —
безудержна красотка.
Сыплет дождь.
И не поймешь, чего же в чае мало —
заварки или...
Во дворе галдеж,
соседки на скамейке под навесом
затеяли свой разговор "про жизнь"...
О прочности вселенского замеса,
в котором дрожжи — правильная мысль.
А мысль проста: "на полную катушку"
без жажды не живется. Никогда...
На небе — Солнца тоненькие стружки
и темные жирафы-облака.

Слова, слова. Их буковки на крыше,
на подоконнике.
Крутой вираж —
опять пчела. Меня она не слышит.
Во весь экран —
стритрейсеры, форсаж.
Вот умница Удача в бесов покер
взглянула. Что за шулерский расклад!
Вот кто-то карту меченую "джокер"
в корзину бросил. И обману рад.
Визг тормозов, стоп-кадр.
Чьи-то жизни —
в обмен на право картой быть в игре...
"Полет шмеля". На поминальной тризне
скорбят друзья. В ушедшем сентябре...

Сорочий стрекот. За окном веселье —
по лужам вдаль кораблики плывут.
На ветке клена сложное плетенье —
соткал свой домик крохотный паук.
Жует мальчишка яблоко Ньютона,
а, впрочем, просто яблоневый плод,
и что ему всемирные законы,
пока без шишек загорелый лоб.
Как ребятня заливисто хохочет!
На улице смешная чехарда.
Еще дожди предсказывают к ночи
синоптики.
Вода, вода. Вода...

Некрепкий чай. Но почему с горчинкой?
Давно остыл. А в чашке — тихий звук.
Пчела за право жить на малом ринге
в последний раз очерчивает круг.
Всего лишь миг. Нелепые потуги.
И силы на исходе. Вот беда.
Агония.
Протягиваю руки...
Давай-ка, бестолковая, сюда!
Теперь на блюдце глупенькая пчелка.
Живая. Ошалелая, жужжит...
По телевизору вещают громко
о странностях француженки Бриджит,
о жажде знаний новых пилигримов,
о том, что цифры — двадцать два на семь
с погрешностью, но все-таки делимы,
о том, что пить необходимо всем...

Обрывки фраз. Монтаж получасовый.
И... страстное желанье — жить
на всю катушку.
Заварю я снова
чай с бергамотом.
Запахи свежѝ...

Девять дней до черты

Жаркое лето в мягких бабушах
к шелковой кромке заката бредет.
Вновь дозревают сочные груши.
Гулко дудит на прощанье удод.

Трав изумрудных ситец веселый
блекнет.
От зноя — в ожогах поля.
Чайки над морем грустное соло.
В желтую сказку дороги пылят.

К царским чертогам осени строгой
девять, не десять приметных шагов.
Лето отбросит старую тогу
И...
обратится царицей веков.

Сердце ее любовью янтарной
снова наполнит младая заря.
Все впереди.
Не станут отравой
девять шагов до черты декабря...

Когда за окнами чернила ночи

Когда за окнами чернила ночи
впитают тополей нагих верхушки,
а лунный свет по-свойски, между прочим,
асфальт пометит серебристой стружкой;
когда секунда паутинкой мокрой
скользнет по неземному циферблату,
а Марса тело (темно-красной охрой)
на небе обозначится квадратом —
проснешься ты.

В сияньи хрупких альвов
тепло, небезнадежно, безупречно.
Под лязг щитов
и песню древних скальдов
на стол поставишь бабушкин подсвечник,
а рядом — правосудия зерцало.
Дым благовоний с примесью сандала
воскуришь к небесам...

Ворчит в часах безмозглая кукушка
под танец удлиняющейся тени.
Ей тягостно и непривычно душно —
смешенье запахов и песнопений.
Неведома ей ворожба славянки
над рукописью кельтского поэта.
Она кукует: ночь в простой огранке
сулит колдунье горести и беды.

Не слышишь ты.
Рябиновою водкой
кропишь страницы. Капли — злые слезы...
Ответа нет.
И на обличье кротком
в который раз — подобие угрозы
с отчаяньем безумным вперемешку...
И только Марс, как будто бы в насмешку,
Манит квадратом красным...



"Нам снятся страхи и желанья..."

* * *

Словно строчкою в поэму,
Как молитвою в хорал —
И влюбленно и смиренно
Ты к подмосткам подступал,

Там за занавесом пышным
Мука сладкая жила.
Поманила еле слышно —
И до смерти зазвала.

Там волненье до икоты
В закулиснейшей глуши —
Просто вечная работа
Неприкаянной души.

Там прекрасная отчизна
Для единственной игры,
Что ваяет жизнь из жизни
Среди пестрой мишуры,

И когда с отвагой детства
Ты на сцену выходил —
Словно голенькое сердце
Птичкой по миру пустил.

* * *

Нам снятся страхи и желанья
И те, кто думает о нас.
Неотвратимый, серый, ранний
Прохладный свет коснется глаз
И, словно мать, возьмет за руки,
И вытащит из сонной муки.
И жизнь на срезе пограничном
Прикинется такой обычной,
И даже розовый восход
Подарит от своих щедрот.

Но день всплывет неумолимо —
Такой отчаянно-ранимый,
Что лучше заново проснуться.
И сердцу некуда приткнуться.

* * *

Ни тоски, ни грусти, ни печали
Не хранит заснеженный вокзал.
Вы меня ни разу не встречали
И в толпе ни разу не искали,
И волненьем взгляд ваш не дрожал.

Только братство вечное прохожих
Сквозь меня, как время, истекло,
Их дыханья зримое тепло
На живое облако похоже —
То прильнет, то спрячется... Так что же?!

Я сама встречаю всех и вся —
Одиноких, суетных, печальных,
Всех случайных, всех необычайных, —
Не боясь, не веря, не прося
И свою не раскрывая тайну.

Песенка

Без тени покаяния
Судьбу я приняла
И сердце на заклание
Сама вам принесла —
Уж то-то было весело
Пустить его в расход
С отчаянною песенкой
Навылет и навзлет!
Живой печатью мечено
По милости Творца,
Увенчано, развенчано,
И бьется без конца.

Белла ВЕРНИКОВА

О чем мечтали классики

Мини-поэма

Провидчески угадавшим в подобном
"языковом шутовстве" — "метод
вскрытия и уловления метафизики,
таящейся в недрах языка"
Глеб МОРЕВ (цитата слегка изменена)
www.vavilon.ru/texts/nikolev1-1.html

виртуальный
Интернет
письма есть
а штампов нет
о чем мечтал Чехов
в Ялту съехав

поместительный рюкзак
о таком мечтал Бальзак
для прозы
творений
собраний
сочинений

Тургенев в Париже мечтал об Асе
Жаботинский в Париже мечтал об Одессе
Бабель мечтал об Одессе в Москве
Ахматова мечтала о Париже Модильяни

Некрасов грезил Панаевой
Герценом & Чернышевским
Толстым & Достоевским

классик
минимализма-абсурдизма
Козьма Прутков
мечтал не о Плинии
а о выравнивании линии

Тютчев
мечтал
аршин
заменить
метром

Пушкин
грезил о лете
без комаров
и мух

Гоголь
грезил шинелью
на вырост

Хармс
мечтал
как Пушкин споткнется
об Гоголя

Заболоцкий мечтал
о вышедших книгах
обэриутов в длинных пиджаках
убитых и замученных режимом

Мандельштам мечтал
.....

Маяковский
мечтал
похерить
воспетую им
советскую власть
когда улица корчилась
безъязыкая

Блок мечтал о прекрасной даме
с раскосыми и жадными очами

Бялик мечтал о гордом еврее
и чтобы с иврита на русский
его переводил Жаботинский

Тынянов грезил прозой
внутри стихового ряда
и публикациями
своих переводов Гейне

Пастернак мечтал
об устроенном быте
и расправить
крылья
поэзии

.....
высится
высотный дом
о таком мечтал Платон
и подумывал Ньютон
открывая свой бином

Гималаи
и Памир
и о вас мечтал Шекспир
ставя замок Эльсинор
меж холмистых
датских гор
одолевая время
и безмолвие

Иерусалим



Александр МАРДАНЬ

Антракт
Неприличное название

Провинциальные мизансцены в двух действиях

Действующие лица:

Павел — известный московский режиссер, 49 лет
Петр — директор и худрук областного драматического театра, 49 лет
Актрисы областного театра:
Маша — 44 года
Ольга — 42 года
Ирина — 23 года
Наташа — 35 лет
Анфиса — 65 лет

Действие происходит в наши дни, в большом городе, жители которого говорят по-русски.

Действие I

Картина I

Комната, в которой мерцают зеркала. Издалека слышится музыка — духовой оркестр играет марш. Входит Анфиса, включает свет над гримировальным столиком. Она в костюме няни из пьесы "Три сестры". Достает из сумки бутылочку-фляжку, отпивает из нее, прячет фляжку. Закуривает.

Входит Маша. На ней черное длинное платье. Маша подходит к своему столику, зажигает лампы, достает из рукава фотографию и прячет ее в сумочку. Затем берет со стола сигареты.

Анфиса протягивает Маше зажигалку. Маша пытается прикурить, руки у нее трясутся. Наконец прикуривает.

АНФИСА: Машенька, что случилось? Ты так закричала "Не трогайте меня!", что хотелось милицию вызвать...

Маша молча курит.

АНФИСА: Успокойся. Хочешь чаю?

Маша отрицательно мотает головой.

МАША: Представляете... беру у вас чашку, иду на авансцену, к столу, где Ирка... с пасьянсом сидит, и вижу — среди карт... на столе лежит... фотография...

АНФИСА: Ну?!

МАША: На фото — я с Вершининым.

АНФИСА: Ну?

МАША: Целуемся.

АНФИСА: Ну? В финале?

МАША: В кафе! В горсаду! На прошлой неделе!

АНФИСА: Ну-у-у! (*Достает бутылочку.*) Хлебни, успокойся.

МАША: Нет, спасибо, я слова забуду... Это Ирка. Точно! Малолетка-интриганка.

АНФИСА: А ей зачем?

МАША: Мстит. Я как-то ляпнула, что ей только в варьете плясать. Каждый вечер роль путает... Вот она мне типа шоковой терапии устроила, чтобы я текст уронила. Ну ничего!..

АНФИСА: Фотография там осталась?

МАША: Нет, я ее сразу в рукав спрятала.

АНФИСА: Выпей чайку. (*Достает из сумки термос, наливает Маше чай. Маша пьет.*) Как ты думаешь, какой должен быть торт?

МАША: С кремом.

АНФИСА: Нет, я про вес. Килограмм десять хватит?

МАША: Кому?

АНФИСА: На юбилей.

МАША: А-а-а... Не знаю, Анфиса Михална. Я торт не ем.

АНФИСА: С собой возьмешь.

Слышны аплодисменты. В комнату входит Ирина. Она придерживает подол длинного платья и хромает. Включив лампу на своем столике, садится и начинает разуваться.

ИРИНА: Черт, до крови натерла...

МАША: Ирина Владимировна!

ИРИНА (*перебивает*)**:** Мария Максимовна, понятия не имею, откуда она взялась! Спросите у реквизитора. Карты лежали на столе. Беру их, а под ними — фотография! Я чуть со стула не съехала.

МАША: Кто это сделал?

ИРИНА: Любой мог.

МАША: Положить — да. А сфотографировать?

ИРИНА: Зачем мне это нужно?

МАША: Сама знаешь.

ИРИНА: У меня и аппарата нет...

Звонит мобильный. Ирина роется в сумочке, достает телефон.

ИРИНА: Алло! Влад? Привет! (*Пауза.*) Ты был в зале? Ой, а я тебя не увидела... (*Пауза.*) Хорошо, через пять минут выйду. (*Кладет телефон на столик.*) Мария Максимовна, вы помните, в какой день вы... ну, когда эта... съемка была?

МАША: Наверное... А какая разница?

ИРИНА: Могу показать, в какие вечера я в "Мираже" работала. (*Достает из сумочки календарик, протягивает его Маше.*) Вот, обведено. Если не помните, может, на снимке есть число?

Маша, отвернувшись, достает из сумочки фотографию, рассматривает календарик и возвращает его Ирине.

ИРИНА: Ну что?

АНФИСА: Ира, как ты думаешь, торта на десять килограмм хватит?

ИРИНА: Для чего?

АНФИСА: Для юбилея.

ИРИНА: На весь театр? Не-е. Мало. Надо два таких.

Снова звонит мобильный Ирины.

ИРИНА: Алло! Олежек?! (*Пауза.*) Едешь сюда? (*Растерянно.*) Где будешь ждать? На служебном? Олежек, мне еще переодеться надо... Может, завтра увидимся? (*Обреченно.*) Хорошо, выйду. Целую, зайчик. (*Кладет телефон на столик.*) Господи! Что же делать?

АНФИСА: Не поминай имя Господа всуе...

ИРИНА: Черт! Что делать?

АНФИСА: Тьфу на тебя, богохульница!

МАША: Оба на служебном?

ИРИНА (*надевая кроссовки, напевает*)**:** "Воротились. Оба, двое, два крыла".

АНФИСА: Допрыгаешься. Разведется с тобой Владик.

ИРИНА: Ничего. Я их сама сейчас разведу. (*Хватает со столика мобильный, набирает номер.*) Алло, Олежек? Ты когда подъедешь? Уже? (*Капризным голосом.*) Зайка, за углом универсам, знаешь? Купи мне "Рафаэлло". (*Пауза.*) Очереди? Ну, постой ради любимой женщины! Спасибо. (*Набирает другой номер.*) Алло! Владичек, я не успею к тебе подойти. Так ногу натерла — едва хожу. Не жди меня, ладно? Возвращайся в зал, а на служебном встретимся после спектакля. Хорошо? Целую, зайка! (*Убирает телефон в сумочку.*)

МАША: Высший пилотаж!

ИРИНА: Хотите сказать — вы так не умеете? (*Зашнуровывает кроссовки.*) Кстати, кофточка у вас!..

МАША: Какая кофточка?

ИРИНА: В которой вы на фотографии. (*Выбегает за дверь.*)

МАША (*Анфисе*)**:** Осторожно, двери закрываются! Остановка — театр, следующая станция — бордель... Маленькая, но очень перспективная стерва. Хотя щелкнула нас, кажется, не она.

АНФИСА: Ты с Иркой не шути, она без тормозов. Знаешь, как она в театральное поступала?

МАША: Нет.

АНФИСА: Председатель комиссии сказал: "Не надо этюдов, Вы нас просто напугайте". Ирка чуток подумала, взяла зажигалку, подожгла занавески и выбежала из аудитории.

МАША: И что?

АНФИСА: Повезло — там был огнетушитель, погасили. У старушки из комиссии — обморок, "скорую" вызвали... С заданием справилась, напугала — и на вокзал. А на следующий день в списке поступивших — ее фамилия. Соседки по общежитию порядочные оказались, телеграмму дали.

МАША: А занавески?

АНФИСА: Вычли из первой стипендии.

Входят Наташа и Ольга — в платьях героинь "Трех сестер". Наташа в шубке, которую тут же снимает.

ОЛЬГА (*напевает*)**:** В Москву, в Москву, в Москву... Фу-у-у, накурили!

АНФИСА: Оля, вот получишь народную... К ней отдельная гримерка прилагается... Если раньше на пенсию не уйдешь.

ОЛЬГА: Не сцене — натурализм... От военных несет перегаром. А от Тузенбаха — еще и луком. Ему Чиполлино играть... Я бы на месте Никитича первый ряд не продавала — во избежание удушья.

МАША: Оль, куда ты торопишься? Мне еще дохлопать не успели, а ты уже несешься со своей репликой, как с вилкой в заднице... Тебя ж все равно не слышно.

ОЛЬГА: Почему?

МАША: Из-за аплодисментов...

НАТАША: Куда Ирка поскакала? Новый кавалер?

МАША: Старых разводит. Чтобы не случилось, как в прошлый раз...

ОЛЬГА: Тебе на чужие синяки грима жалко?

МАША: Представь, мне даже на свои жалко.

НАТАША: Ты-то при чем? Вот у Ирки — страсти!

АНФИСА: А на сцене — пельмень сибирский.

МАША: Ей современное играть — разморозилась бы. А так... Вечером пасьянсы раскладывает, а ночью в ресторане... не щадя живота своего...

НАТАША: Она же вечно на диете?!

МАША: А танцу живота диета только в помощь.

ОЛЬГА (*приподнимает платье и подтягивает колготки*)**:** Я бы тоже что-нибудь современное сыграла. В джинсах. Сил нет эти тряпки по полу волочить.

Кстати, я после Чехова себя плохо чувствую. Может, потому, что до меня в этом платье Галка играла?

МАША: Ну и что?

ОЛЬГА: Она же подвеянная. Нормальные люди в монастырь не уходят.

МАША: Нормальные люди в театре не работают. И при чем здесь платье?

ОЛЬГА: Правильно, в театре работают талантливые... А одежда впитывает ауру.

АНФИСА: Грязь она впитывает. Платью лет пять, а стирают — раз в пятилетку... Я костюмерше говорю: "Вы когда мое постираете?" А она мне — "Мойтесь почаще!"... Пойду завтра к Пете. Объясню, что в генеральском доме прислуга в чистом ходила...

Входит Петр.

ОЛЬГА (*завизжав, опускает подол*)**:** Петр Никитич! Опять без стука?

АНФИСА: Легок на помине!

ПЕТР: Дамы, пардон... Ольга Викторовна, что случилось? Вы забыли, что вам во втором акте на сцену выходить?

ОЛЬГА (*приложив ладонь к воображаемому козырьку*)**:** Разрешите получить замечание, товарищ худрук! Форс-мажор! Змейка разошлась. Искала шаль. (*Поворачивается к нему спиной, сбрасывает шаль.*)

ПЕТР: Ясно. А вы, Марь-Максимна, сегодня чересчур эмоциональны. Что за верхнее ля на ровном месте?

МАША: Петр Никитич, я старалась...

ПЕТР: Стараться надо дома с мужем. (*Ольге.*) А вы что ляпнули? "Андрей проиграл вчера в карты двести долларов". В Перми?! В тысяча восемьсот девяностом году?! Если у Чехова вы найдете хоть один доллар, я подарю вам сотню!

ОЛЬГА: Кстати, в зале никто не заметил.

ПЕТР (*всем*)**:** Так, завтра в час дня — репетиция. То, что вы играете — это не классика, а порнография.

АНФИСА: Что поставили — то и играем.

ПЕТР: Анфиса Михална, если вы думаете, что вместо вас ввести некого...

ОЛЬГА: Петр Никитич, я завтра не могу. У меня во второй половине дня съемка.

ПЕТР: Перенесите.

ОЛЬГА: Петр Никитич, как я смогу...

ПЕТР: Вы у кого снимаетесь? У Тарантино?

ОЛЬГА: Вы же в курсе...

ПЕТР: Завтра — репетиция! Кто не понял — пишите заявление.

АНФИСА: Петр Никитич! Один вопрос! Я к юбилею торт буду заказывать... Как думаете, десять килограмм — хватит?

ПЕТР: А какой торт?

АНФИСА: "Графские развалины".

ПЕТР: Ну зачем же? Вы еще всем молодым фору дадите! Закажите лучше "Монастырскую избу". (*Наташе.*) Наталья Ивановна, можно вас на минутку? (*Выходит вместе с Наташей.*)

АНФИСА: Прибежал, раскомандовался... Император!

МАША: О! Закажите "Наполеон"!

АНФИСА: Я ему "Кутузова" закажу... На прощание. (*Пауза.*) Тьфу! Про костюмершу забыла! Ладно, завтра скажу...

МАША (*Ольге*)**:** Ты чего визжала, когда Добрыня зашел? Он увидел что-то новое?

ОЛЬГА: Мне повизжать не трудно, а Наташке — спокойнее будет... Добрыня совсем озверел. "Съемку перенесите". Как он это представляет? И на черта мне репетиция? В сотый раз слушать про способ конструктивного действия, про надежду и отчаяние чеховских героинь? Мне за съемочный день платят больше, чем за месяц в театре.

МАША: Не переживай. У тебя на прошлой неделе и съемки были, и спектакли...

ОЛЬГА: Каждый день! Но съемки-то днем.

МАША: Каждый? (*Пауза.*) Ну, как-то сложится...

ОЛЬГА: Скоро я сложусь, как карточный домик...

Пауза.

МАША: У Наташки колечко новое видела?

ОЛЬГА: Не заметила.

МАША: Ну да, она когда в театр приходит — сразу его переворачивает, камушком вниз. Чтобы не пялились и не болтали о Добрыниных доходах.

АНФИСА: Да... Аренду раздает направо и налево. Не театр, а прокатная площадка.

ОЛЬГА: Колечко переворачивает, а вот загар не спрячешь. Сразу видно — солярий. Причем регулярно.

МАША: И тренажерный зал. Она недавно жаловалась, что хочет пару килограмм сбросить — и не получается.

ОЛЬГА: Могу ей новую диету рассказать: целый месяц ешь всё, что хочешь, но — на нашу зарплату. Минус пять кэгэ гарантирую.

МАША: А помнишь, какая она пришла, в девяностом?

ОЛЬГА: В девяносто втором. Ее тогда сразу в "Доходное место" ввели.

МАША: Во вьетнамских джинсах ходила и в кофточке из люрекса.

ОЛЬГА: Тогда люрекс, теперь — бриллианты. Любит блестящее.

АНФИСА: Девчонки, чего вы на нее набросились? Каждая из вас могла эти камушки заработать. Надо было перед Петрушей активнее задом крутить.

МАША: Чем?

АНФИСА: Доходным местом! (*Все трое хохочут.*) А вообще, десять лет пользоваться одним туалетом с худруком — еще не значит разбираться в системе Станиславского. (*Ольга и Маша смеются.*) Я когда сорок лет назад в театр пришла, примой была Матвеева. Народная, вся в орденах. Как поддаст — говорит: "Знаю я этого Станиславского. Юбочку повыше задерешь — и публика кричит: "Браво, Матвеева!" Вот и вся система".

Отсмеявшись, умолкают. Сидят за столиками, поправляют грим. Анфиса подливает себе из термоса. Маша начинает тихонько напевать.

Миленький ты мой,
Возьми меня с собой,
Там в краю далеком
Буду тебе сестрой.

Дальше тихо напевают все вместе:

Милая моя,
Взял бы я тебя,
Там в краю далеком
Есть у меня сестра.
Миленький ты мой,
Возьми меня с собой...

МАША (*поежившись, набрасывает на плечи кофту*)**:** Похолодало...

ОЛЬГА: Так Пасха скоро.

МАША: Ну и что?

ОЛЬГА: За неделю погода всегда портится.

МАША: Почему?

ОЛЬГА: "Кучки".

МАША: Какие кучки?

ОЛЬГА: Еврейские.

МАША: А что значит "кучки"?

ОЛЬГА: Не знаю. Кучки, тучки... Так называют. (*Встает.*) Пойду в костюмерную. (*Выходит из гримерки.*)

МАША: Вроде не она. А я про нее в первую очередь подумала...

АНФИСА: Из-за той истории? Вы же вроде помирились. Тем более — ничья. Ни тебе, ни ей.

МАША: Не помирились, а смирились. Столько лет прошло. Но — кто ее знает... Бывает, что вырванный зуб долго болит...

АНФИСА: И у тебя?

МАША: У меня пломба. (*Неожиданно поет.*)

Я отдала тебе,
Америка-разлучница,
того, кого люблю,
храни его, храни!

АНФИСА: Он что — в Америке?

МАША: То в Америке, то в Европе... Только в Африке не ставил.

На ее столике тренькает мобильный.

МАША: Алло! Да, Витя, могу. Антракт. (*Пауза.*) Павлик поел? (*Пауза.*) Уложи его пораньше. (*Пауза.*) Нет, сама доберусь. Пока. (*Кладет трубку на столик. Напевает.*) Там, в краю далеком, буду тебе женой...

АНФИСА: Маш, не сходи с ума. Ты что, мало в жизни соленой воды нахлебалась? Витя — деловой, с деньгами. Женился. Зачем тебе Вершинин? Голь перекатная... Хочешь, как Олька, прокладки рекламировать?

МАША: Надоело каждый день бизнес-планы слушать. Скушно.

АНФИСА: Тоже мне — Печорин! Скушно ей! Смотри, уже какой-то паперони объявился...

МАША: Паперони — это колбаса. А папарацци этого я на чистую воду выведу!

Анфиса Михална, можно глоточек?.. Для успокоения...

Анфиса достает фляжку. Маша пьет, возвращает фляжку.

Звенит первый звонок. Входит Наташа.

НАТАША: Только что Ирину видела с кавалером.

МАША: Да?! Ну и как он?

НАТАША (*Анфисе*): Что вы про торт говорили? Руины?

АНФИСА: "Графские развалины".

НАТАША: Во-во. Правда, не знаю, были ли в роду графья...

МАША: Старый?

НАТАША: Кажется, Ирка готовится к роли богатой вдовы.

МАША: Доиграется! Разведется с ней Владик.

НАТАША: Чтобы развестись, надо сначала жениться.

АНФИСА: Как? Они не расписались?

НАТАША: Разве что на стенке. А паспорт у нее чистый.

МАША: Значит, гражданский брак...

НАТАША: Скорее, военный.

Входит Ольга.

ОЛЬГА: Костюмерше позвонили — мастер пришел, телевизор чинить. Домой убежала и ключи не оставила.

МАША: Давай зашивать.

Достает нитку с иголкой. Ольга поворачивается к ней спиной, и Маша зашивает "змейку".

ОЛЬГА: Наташа, у меня завтра съемки — никак не вырваться...

НАТАША: Оля, театр — не жизнь, две роли сразу не сыграешь. И потом, завтра Петр Никитич такую новость объявит!

ВСЕ (*хором*)**:** Ну?!

НАТАША: Нельзя. Я обещала. Ни-ко-му!

ОЛЬГА: Наташ, пожалуйста. Миленькая... Я умру до завтра!

НАТАША: И на съемки не пойдешь?

АНФИСА: Наташка, ну не томи!

НАТАША: По поводу новой постановки...

ОЛЬГА: Угадаю с трех нот. Кто-то из покойников. Шекспир. Или Гоголь Гонорар платить не нужно, а школьников — полный зал.

НАТАША: Дело не в том, КОГО будут ставить, а — КТО будет ставить.

АНФИСА: Пренеприятное известие — к нам едет ре... жиссер...

ОЛЬГА: Ну? И кто?

НАТАША: Лучше сядь, а то у Маши иголка в руках...

МАША: Наташ, у меня действительно иголка, так что ты рискуешь. Говори уже!

НАТАША: Только без угроз! Петр Никитич сказал...

Звенит второй звонок. В гримерку вбегает Ирина.

ИРИНА: Ой, кого я видела!!! В зале сидит...

АНФИСА: Кто?

ИРИНА: Я в кулисы пошла, хотела посмотреть, вернулся Влад в зал

или нет. Смотрю осторожненько из-за занавеса и вижу — в зале сидит... Знаете, кто?

ВСЕ (*хором*)**:** Ира!!!

ИРИНА: Богомолов! Собственной персоной!

Пауза. Все молчат.

АНФИСА: Ты не обозналась? Ты же его живьем никогда не видела.

ИРИНА: Журнал видела, с фотографией. У Маши. Он там такой... в кожаной куртке на фоне небоскребов.

МАША: Господи... Не может быть.

ИРИНА: Сейчас на сцену выйдем — сами посмотрите. В пятом ряду, справа. В черном свитере.

АНФИСА (*Маше*)**:** А ты говоришь — в Америке.

НАТАША: В зале он. Это и есть новость. Богомолов будет у нас ставить бомбу.

ОЛЬГА: Название такое?

НАТАША: Название — неприличное.

АНФИСА: Как это — неприличное?

НАТАША: Ой, девчонки... (*Смеется.*) Мне же ничего говорить нельзя. Петр Никитич сам все скажет.

МАША: Он уже один раз поставил... с неприличным названием. После этого и пропал. На двадцать лет. С правом переписки...

АНФИСА: Ты про "Голого короля"?

ОЛЬГА: И с кем же он переписывался? С тобой, что ли?

Третий звонок. Голос из динамика: "Все актеры, занятые в первой картине второго акта, — прошу приготовиться к выходу".

АНФИСА (*встает, крестится*)**:** Ну, хватит о суетном. Пошли на сцену.

Маша и Оля бросаются к зеркалам, опять поправляют прически, грим и костюмы.

АНФИСА: Эй, сестры! Хватит красоту наводить! Он все равно вас еще увидит, причем без грима... Вы, главное, текст не забудьте.

Маша и Оля одновременно плюют через плечо и вслед за Анфисой выходят из гримерки.

ИРИНА: Наталья Ивановна, скажите, что за пьеса? Бомба импортная? Или отечественного производства?

НАТАША: Ира, я и так получу нагоняй.

ИРИНА: А женских ролей сколько? Я на главную, конечно, не претендую, но... Наташа, замолвите за меня словечко!

НАТАША: Перед кем? Тут решать будет Богомолов.

ИРИНА: А мне кажется, что в нашем театре все решает другой человек.

НАТАША: Ладно, попрошу. Но без гарантий.

ИРИНА: Знаете, я когда долго не выхожу на сцену, начинаю играть дома. Для кошки. Для вещей. И роли себе придумываю... странные... Снега, дождя, травы под этим дождем... Солнца, которое эту траву сушит... Как этюды на экзаменах. Не могу без театра. У вас такое бывает? Вы одна играете?

НАТАША: Нет. Мне нужен зритель. Хотя бы один. Зритель для актера — воздух для самолета... Самолет без воздуха не полетит, только ракета. Ты, Ирочка, наверно, реактивная.

Голос из динамика: "Исполнительница роли Наташи — на сцену!". Наташа идет к выходу. Ирина приподнимает подол — она обута в кроссовки.

ИРИНА: Ой, ёлки... Я сейчас.

НАТАША: Давай быстрее.

ИРИНА: Ничего, у меня еще пять минут.

Наташа выходит. Ирина набирает номер на мобильном и говорит, одновременно переобуваясь.

ИРИНА: Алло! Ленка? Спасибо, все получилось. Классная фотография. Доказательство на лице! Даже на двух. А у меня — алиби!.. Она чуть со сцены не упала, когда увидела. (*Пауза.*) Мне зачем?!. Вечно замечания делает! (*Передразнивает.*) "Ирочка, генеральская дочка не может смотреть на мужчину так плотоядно. Ее воспитывали в строгости". (*Нормальным голосом.*) Всё, проехали. С меня — "Рафаэлло". Кстати о конфетах... Театр в театре — Влад с Олегом чуть не столкнулись. (*Пауза.*) Да, с этим надо кончать... Вопрос — с кем из них? (*Смеется.*) Ленка, ты дура!.. "Если бы губы Никанора Ивановича да к носу Ивана Кузьмича..." Ой, еще новость! Ты стоишь? Сядь... Приехал сам Богомолов! (*Пауза.*) Кто это?! Теперь я сяду... Да-а, далеки мы от народа... Режиссер, знаменитость! Второй Эфрос. (*Пауза.*) Эфрос кто? Долго объяснять... В общем, классный мужик, и я буду у него играть! (*Пауза.*) Как это — не назначит? Куда он денется?! Меня же в строгости не воспитывали! (*Пауза.*) Кажется, нет. Завидный жених!

Из динамика раздается голос: "Ирина — на сцену".

ИРИНА: Ой, Ленка, мой выход! Пора бежать. Пока!

Ирина отключает телефон, гасит свет и выходит. Приглушенно слышны музыка и аплодисменты.

Картина II

Кабинет худрука. Входит Петр Никитич.

ПЕТР (*секретарю в приемной*): Меня ни с кем не соединять!

Садится к телефону, набирает номер.

ПЕТР: Сережа, привет! Ты узнал, что я тебя просил? (*Пауза.*) Да, явился. Вчера на спектакль. Тень Гамлета-старшего... Не знаю, еще не виделись. (*Пауза.*) Сам позвал. Ну и что? Из вежливости. Тещу тоже зовут в гости, но это не значит, что ее хотят видеть! (*Пауза.*) Старая дружба? Не ржавеет. Но высыхает, как мумия... Что же он десять лет из Лондона с Парижем не вылезал, а меня никуда не вытащил? Даже в Болгарию. Мол, так да так, друг, режиссер хороший... (*Пауза.*) Пьесу прислал... Стыдно вслух произнести. (*Пауза.*) Худруком? У меня? Два медведя в одной берлоге? (*Пауза.*) Спектакль снимают или хотят снять? (*Пауза.*) Опять из-за политики? Главное — узнай, из-за чего. Мало ли... Может, Павел тут и не при чем... (*Звонит мобильный.*) Секунду. (*Берет мобильный.*) Алло! Витенька, подожди минутку... (*В трубку.*) Извини... Ну, договорились? Только не слухи, а чтоб точно всё... За мной не заржавеет.

Кладет трубку, берет мобильный.

ПЕТР: Да. (*Пауза.*) Аренда мне нужна, но партийцы твои... Сегодня съедутся, завтра в оппозицию уйдут, а послезавтра со мной контракт не подпишут... Сам понимаешь. (*Пауза.*) При чем здесь американец? Я, кстати, сначала кассету попросил с его шоу... прости, Господи, — проповедью. (*Пауза.*) Кстати, деньги заплатили, как за Киркорова. И целый ряд для артистов оставили. (*Пауза.*) Про что? Про любовь. Христианство — вера лирическая. Не знаю, возлюбят ближнего, как самих себя, но мастерству поучились. (*Пауза.*) Нет, Витя, не могу. Певцов, гипнотизеров, юбилей фирмы — пожалуйста... Мне все равно, нал или безнал, лишь бы цена была. А вот с оранжевыми, розовыми, голубыми — иди лучше в оперный... от греха подальше.

В кабинет входит Павел.

ПЕТР: Так, Вить, я тебе перезвоню. (*Выключает мобильный. Встает навстречу.*) Здра-а-авствуйте, Павел Андреевич!

ПАВЕЛ: Здра-а-авствуйте, Петр Никитич!

ПЕТР (*подчеркнуто вежливо*)**:** Присаживайтесь. Чего ж не позвонили заранее? Я бы встретил. На спектакль пришли, а ко мне не заглянули... Народный артист, режиссер московских театров, лауреат таких премий, что и не выговорить, — а сидите в зале, как простой инженер... Я подсуетился, коньяк открыл, стаканы протер... Ждал-ждал, а вы так и не объявились. Неужели заблудились?

ПАВЕЛ (*с иронией*)**:** Не поверишь, Петр Никитич... "Я шел к тебе, но, проходя перед трактиром, услышал скрипку...". То есть мобилку. Звонили из Москвы. Зацепился... Потом подумал — может, тебя и нет?

ПЕТР: Ладно, Моцарт. Не хотел — не зашел.

Обнимаются. Хлопают друг друга по плечам.

ПЕТР: Как доехал?

ПАВЕЛ: Спальный вагон повышенной комфортности. Напитки, как в самолете, на шару. Правда, отопление отключили...

ПЕТР (*достает из шкафа бутылку коньяка и бокалы*)**:** Сейчас тебя согреем! (*Открывает бутылку.*)

ПАВЕЛ: А вчерашний — выдохся?

ПЕТР: Да. В присутствии художника и завлита.

Павел прохаживается по кабинету, рассматривает фотографии на стене.

ПАВЕЛ: Стена плача. Скольких уже нет... О! И я тут! Не ожидал.

ПЕТР: Характер у вас, Павел Андреевич, отвратительный... но мы любим вас не только за это.

ПАВЕЛ (*смотрит на фото*)**:** Какой год?

ПЕТР: Восемьдесят третий. Юбилей Васильева. Пятьдесят.

ПАВЕЛ: Надо же! Мне он тогда стариком казался...

ПЕТР: Не про нас сказано... Ты, кстати, как юбилей отмечать собираешься?

ПАВЕЛ: Дожить бы... Вообще, я не любитель юбилеев. В них что-то есть от панихид...

ПЕТР: Чего так грустно? Полтинник — промежуточный старт.

ПАВЕЛ: Для кого старт, для кого — финиш.

ПЕТР: Ты пессимист? Давно?

ПАВЕЛ: Недавно. А ты как отмечать будешь?

ПЕТР: Реалистично-прагматично. Адреса в кожаных папках, картины "Утро в сосновой роще"... штуки три... банкет, торт — без свечек, чтобы пожара не было. Все по традиции.

ПАВЕЛ: Не скучно?

ПЕТР: Стабильно... (*Пауза.*) Как мама?

ПАВЕЛ: Нормально. Скрипит по возрасту... Привыкла к Москве, даже акцент появился. Привет тебе передавала...

ПЕТР: Спасибо.

Звонит телефон, Петр снимает трубку.

ПЕТР: Я же сказал — не соединять! (*Пауза.*) Драматург? Тем более, меня нет. (*Пауза.*) В Париж, по делу, срочно.

Петр кладет трубку, наполняет бокалы, один вручает Павлу.

ПАВЕЛ: У тебя закусить не найдется? А то как-то...

ПЕТР: Найдется.

Достает из шкафа блюдце, на котором лежит половинка яблока и ножик. Аккуратно отрезает от половинки два ломтика, один из них протягивает Павлу.

ПАВЕЛ (*поднимает бокал*): Ничего, что в рабочее время?

ПЕТР: А у нас ненормированный рабочий день.

Чокаются.

ПЕТР: Да, Паша, удивил ты меня. Я тебя сколько раз звал, ты мне в ответ свой график рассказывал: Париж, Женева... А вчера говорят — в зале сидит! Так просто! (*Пауза.*) Ну, за возвращение.

ПАВЕЛ: Лучше — за встречу!

Выпивают.

ПАВЕЛ: А вообще как дела?

ПЕТР: Нормально. Кручусь. А в целом... Как и по стране... А ты, медведь-шатун, почему столько лет без своего театра?

ПАВЕЛ: Не медведь, а волк. Одинокий. Как все мы.

ПЕТР: Не все. Я стаю люблю.

ПАВЕЛ: Значит, ты — исключение...

ПЕТР: И все-таки?

ПАВЕЛ: Театр возглавить? Предлагали. И сейчас веду переговоры... С таким громким названием, что говорить не хочу...

ПЕТР: А может, вернешься? Будешь худруком, я — директором...

ПАВЕЛ: Да? Два медведя в одной берлоге?..

Немного затянувшаяся пауза.

ПАВЕЛ: Хороший коньяк.

ПЕТР: Французский-то лучше?

ПАВЕЛ: ...И спирт отечества нам сладок и приятен.

Пауза.

ПЕТР: Ну, рассказывай. Чё приехал?

ПАВЕЛ: Как это — чё? Ты же звал! Говорил: "Приезжай, ставь!.."

ПЕТР: И ты все бросил?..

ПАВЕЛ: Честно? Домой потянуло. Где начинал... По сцене этой походить захотелось...

ПЕТР (*перебивает*)**:** Оставь для интервью. Журналисты набегут, им и расскажешь — про дым и спирт... Я серьезно: по-че-му?

ПАВЕЛ: Серьезно — хочу поработать. Без суеты. Пустишь?

ПЕТР: Ну чего же не пущу? Сам звал...

Петр открывает шкаф, достает пепельницу, ставит перед Павлом.

ПАВЕЛ: Бросил.

ПЕТР: Тогда точно сработаемся. У меня зона, свободная от никотина. За курение штрафую, вплоть до увольнения.

ПАВЕЛ: Строг, боярин... Сам по молодости дымил, как броненосец "Потемкин"!

ПЕТР: Как-то сон увидел... Проснулся — и всё.

ПАВЕЛ: Что снилось? "Мертвые вдоль дороги с косами стоят..."

ПЕТР: Да нет... Как говорила бабушка, не про нас сказано... (*Пауза.*) Ты все-таки правду скажи — чё приехал? Может, кроме меня еще кто-то позвал?.. Знаешь, она так ни за кого и не вышла...

ПАВЕЛ: Знаю... И за тебя тоже... Да нет, не поэтому. (*Пауза.*) Петя, спектакль — как выдох. Каждый раз боюсь, что последний... (*Пауза.*) Дай вдохнуть... родного воздуха... Хочу спокойно поработать... не на витрине...

ПЕТР: Какой витрине?

ПАВЕЛ: Где манекены стоят. Голые. А за стеклом — толпа... Отдохнуть хочу. Подальше от мэтров... сантимэтров... миллимэтров... всей этой критической массы...

ПЕТР (*наливает*): Понял. Хочешь творческого убежища — получишь. А что ставить будешь?

ПАВЕЛ: Ты разве пьесу не получил?

ПЕТР: Получил. Думал — розыгрыш.

ПАВЕЛ: Нормальная пьеса.

ПЕТР: Справочник по анатомии. Даже — по гинекологии.

ПАВЕЛ: Ты читал?

ПЕТР: Смотрел.

ПАВЕЛ: По диагонали?

ПЕТР: По гипотенузе! Паша, мы с тобой в историю попадем.

ПАВЕЛ:

Где были вы в картечь, где вы скрывались молча,
В дни страшных сабельных потерь,
Когда великий сброд, а с ним святая сволочь
В бессмертье взламывали дверь...

ПЕТР: Твои?

ПАВЕЛ: Да... Под псевдонимом Огюст Барбье.

ПЕТР: Не подавляй интеллектом. Я про другую историю.

ПАВЕЛ: С географией?

ПЕТР: С порнографией! Мне названия хватило. Я как афиши себе представил...

ПАВЕЛ: Такие афиши, Петя, по всему миру!.. В Лондоне она пять лет идет. Недавно в Москве поставили.

ПЕТР: Ты, Паша, пока по лондонам и парижам ездил, забыл, какая она — родина... Малая... У нас на такой спектакль никто не пойдет.

ПАВЕЛ: Чтобы зритель пошел, нужна бомба. А эта пьеса — супербомба! И затрат — по минимуму. Никаких декораций. Четыре актрисы...

Петр нервно дергает ящики стола, находит экземпляр пьесы, бросает его на стол. Потом подливает себе и Павлу коньяк.

ПЕТР: У нас нет актрис, которые произнесут этот текст. Можем поспорить.

ПАВЕЛ: Спорим!

Чокаются. Выпивают.

ПЕТР: Водички хочешь?

ПАВЕЛ: Французы в такой ситуации говорят: "Воду — лягушкам"!

Петр отрезает еще два ломтика от яблока, один протягивает Павлу.

ПЕТР (*показывает на пьесу*): Паша, я тебя прошу, не надо. Возьми лучше классику.

ПАВЕЛ: Какую?

ПЕТР: "Чайку".

ПАВЕЛ: Петя, над страной стаи летают! Птичий грипп какой-то... У одного Аркадина — наркоманка. У другого Треплев в балетных панталонах. Тригорин голубой — аж синий... Еще один новатор все семейство в алкоголики записал... вместе с приходящей Заречной... Пора за постановку почетный знак давать — серебряную птичку. За "Вишневый сад" — вишенку. За "Три сестры"...

ПЕТР: Гусары, молчать!

ПАВЕЛ: Молчу...

Выпивает.

ПЕТР: А что ж ты по телевизору в передаче этой... забыл... Ты говорил, что Чехов — это бездонное море, поэтому его надо ставить и ставить...

ПАВЕЛ: Я? Говорил? (*Пауза.*) Говорил. (*Пауза.*) Знаешь, что на каждом театре высечено? "Забудь о правде, всяк сюда входящий"...

Стук в дверь. Входит Ирина.

ИРИНА: Петр Никитич, здравствуйте! (*Видит Павла.*) Ой!.. Добрый день. Извините... Петр Никитич, вы нас где собираете, в репетиционной?

ПЕТР: Во-первых, спроси у помрежа. А во-вторых...

ИРИНА: Спасибо, извините. (*Поворачивается, чтобы уйти.*)

ПАВЕЛ: Подождите! (*Петру.*) Мы поспорили?

ПЕТР: Паша, я тебя умоляю!..

ПАВЕЛ (*подходит к Ирине*)**:** А что? Прямо сейчас и проверим!

ПЕТР (*вздохнув*)**:** Ну хорошо... Ирочка, знаешь ли ты, кто перед тобой?

ИРИНА (*кокетливо*)**:** Да, я узнала.

ПЕТР: Знаменитый режиссер-передвижник. Можешь потрогать. Еще шевелится.

Ирина изображает смущение. Павел берет пьесу.

ПАВЕЛ: Видите ли, Ирина...

ИРИНА: Владимировна.

ПАВЕЛ: Ирочка, Петр Никитич уверяет меня, что ни одна актриса в вашем театре не сможет играть в этой пьесе. Почитайте нам, пожалуйста. *Ирина берет пьесу, смотрит на заглавный лист, на Павла, потом на Петра.*

ПЕТР (*с сарказмом*)**:** Да, Ирочка, это не шутка, это пьеса так называется.

ИРИНА (*изумленно*)**:** Монологи... (*Запинается.*)

ПЕТР: Ну вот, проблемы даже с названием.

ИРИНА: Почему? (*С выражением.*) "Монологи вагины". (*Переворачивает первую страницу.*)

ПЕТР: Нет, не сначала. (*Берет пьесу, листает, показывает место на странице.*) Отсюда начинай.

ИРИНА: "Вот так я и решилась разговаривать с женщинами об их..." (*Молчит, потом начинает сначала.*) "Вот так я и решилась разговаривать с женщинами об их влагалищах, делать "вагинальные интервью", которые переросли в "Монологи влагалища". Я разговаривала с двумястами женщинами. Сначала они стеснялись. Но чем дольше мы беседовали, тем труднее их было остановить!" (*Кокетливо смотрит на Павла.*) Ну как?

ПАВЕЛ (*Петру*)**:** Вот видишь?

ПЕТР: Нет, ты дальше читай!

Ирина некоторое время читает про себя, потом решается.

ИРИНА: "Давайте просто начнем..." (*Кашляет.*) Водички можно?

ПЕТР: Нет у меня водички. Читай на сухую.

ИРИНА: "Давайте просто начнем с самого слова "влагалище". Оно звучит как инфекция, в лучшем случае напоминает медицинский инструмент...".

ПЕТР (*перебивает*)**:** Всё, хватит. Иди.

ИРИНА: А можно я еще почитаю?

ПЕТР: "Где твой румянец, стыд?!" Иди!.. Шекспира повторяй. Молодежь выбирает порно...

ИРИНА: До свидания, Павел Андреевич. (*Уходит.*)

ПАВЕЛ: Ты проспорил.

ПЕТР: Чтобы тебе понравиться, она "Луку Мудищева" с выражением прочитает...

ПАВЕЛ: А вообще, она ничего. Кажется, способная.

ПЕТР (*с сарказмом*): И не замужем.

ПАВЕЛ: Мне ее семейное положение — без разницы.

ПЕТР: Да, это для тебя никогда роли не играло... Ассистент по актрисам...

ПАВЕЛ: Я бы попросил...

ПЕТР: Нет, Паша, серьезно: ты хочешь ставить эту порнографию?

ПАВЕЛ: Петя, не будь ханжой. Эта пьеса — о женщинах, о самой их сути, их естестве, природе, душе...

ПЕТР: "Монологи вагины" — о душе?!..

ПАВЕЛ: Да! Если бы ты прочел всю пьесу, а не полстраницы, ты бы понял!.. Конечно, это — провокация. Но главное в ней — внутренняя свобода!.. Кстати, в песне "Вышли мы все из народа", слово "народ" — эвфемизм.

ПЕТР (*с сарказмом повторяет*): Эвфемизм... Паша, спустись на землю! Они не смогут это играть. И ходить на такой спектакль никто не будет. Это не Москва!

ПАВЕЛ: Пойдут! Сам знаешь — в театр ходят подсматривать.

ПЕТР: Да. Но превращать свой театр в баню я не дам.

ПАВЕЛ: Значит, боишься?

ПЕТР: Представь себе, боюсь! Это ты, Паша, — театральный деятель. А я — делатель. Я этот театр пятнадцать лет держу. Денег нет, мужики уходят. Те, что остались, подрабатывают клоунами на утренниках, на свадьбах тамадят... Двое молодых, стыдно сказать, стриптизят в женском клубе. А вчера одного выгнал... Ладно, выпивают после спектакля. Не дай Бог — до. Совершенно недопустимо — во время... Но вместо?! Такое у меня в первый раз... Чудом замену нашли. (*Пауза.*) А бабы?.. (*Подливает себе коньяк, выпивает.*) Будешь ставить спектакль о женской душе? Покомандуй этими душами...

ПАВЕЛ: Я, по-твоему, сегодня в первый раз в театр со служебного входа зашел?

ПЕТР: Не-е-ет, Паша, ты по чужим театрам ходишь. Поставил, тебе поаплодировали — звоните, пишите... Что там каждый день делается — тебя не волнует. А я тут кручусь... Потому что моя задача — найти на каждое кресло достойную задницу.

ПАВЕЛ (*с иронией*)**:** Как нас учили: "Чем больше зрителей в зале, тем меньше заключенных в тюрьмах"...

ПЕТР: Больше зрителей — больше денег! Больше актерам к отпуску подброшу...

ПАВЕЛ: А зритель?

ПЕТР: А зритель хочет прийти, снять тесные туфли, прилепить жвачку к ножке кресла и отдохнуть!.. Да, нам нужен хороший спектакль, громкое имя. Но не скандал.

ПАВЕЛ: А мне он зачем?

ПЕТР: Может, для рекламы. Один раз скандал уже сделал тебя знаменитым.

ПАВЕЛ: Что ж ты тогда за больничным листом от рекламы спрятался? Сальери хренов...

Павел резко встает и идет к двери.

ПЕТР: Павел, ты меня не так понял.

ПАВЕЛ: Да пошел ты!

В дверях сталкивается с Анфисой.

АНФИСА: Пашенька! Здравствуй!

Они с Павлом обнимаются, целуются.

ПАВЕЛ: Сколько зим!..

АНФИСА (*перебивает*): А сколько лет! Скоро юбилей буду отмечать. Ты к нам надолго?

ПАВЕЛ: Да вот... Пока не знаю. (*Смотрит на Петра.*)

АНФИСА: Мальчики, вы что, опять поругались? Двадцать лет прошло, а вы — такие же...

ПАВЕЛ: Мальчики... Полтинники уже, Анфиса Михална.

АНФИСА: Для меня — мальчики. Помните, как мечтали свой театр сделать?

ПЕТР (*примирительным тоном*): "Петропавловскую крепость"?

ПАВЕЛ (*мрачно*): И я... все помню...

АНФИСА: Все — не нужно. Только хорошее.

ПЕТР: Анфиса Михайловна, вы что-то хотели?

АНФИСА: Петр Никитич, миленький, разберитесь с костюмершей! Не стирает! Все грязное... Я ей говорю: "Сколько можно в этом ходить?". А она мне: "Мойтесь почаще!".

ПЕТР: Хорошо, разберусь. А вы бы, Анфиса Михална, не дерзили худруку.

АНФИСА: Когда?!

ПЕТР: Вчера, в гримерке.

АНФИСА (*Петру*): Больше — никогда! (*Павлу.*) Как ты? Где сейчас?

ПАВЕЛ: Хотел у вас поработать.

ПЕТР: Будет продолжение "Голого короля" ставить... "Голую королеву".

АНФИСА: Есть такая пьеса?

ПЕТР (*Павлу*)**:** О, попроси Анфису Михайловну почитать! Про женскую душу...

АНФИСА: С удовольствием.

ПАВЕЛ: Понимаете, я хочу поставить пьесу... Это популярная пьеса... С успехом идет в Европе...

ПЕТР (*смеется*)**:** Давай, Павел Андреич! Не робей. Ближе к телу!

ПАВЕЛ: Она называется "Монологи вагины".

АНФИСА (*неуверенным тоном*)**:** Это в смысле... Я не поняла...

ПЕТР: Нет, вы все правильно поняли. В том самом смысле.

ПАВЕЛ: Анфиса Михайловна, на самом деле в этой пьесе нет ничего пошлого! Я хочу, чтобы вы попробовали почитать.

Протягивает пьесу Анфисе.

ПЕТР (*вскакивает с места*)**:** Можно я выберу? (*Пытается отнять пьесу у Павла.*)

ПАВЕЛ: Нет, я сам.

Тянет пьесу к себе. Петр — к себе. Ведут себя так, будто стали в два раза моложе.

АНФИСА: Петя! Паша!

ПАВЕЛ: Хорошо, пусть Анфиса Михайловна сама выберет.

Анфиса открывает текст, молча читает. Смотрит на Петра и Павла. Поворачивается к ним спиной. Листает пьесу. Снова читает про себя. Хохочет.

ПЕТР: Что?

АНФИСА: Нет, я найду другое... (*Опять листает.*)

ПАВЕЛ: Анфиса Михайловна!

АНФИСА (*после паузы*)**:** Ладно. (*Поворачивается к ним лицом, читает.*) "Он изучал меня там больше часа, как будто это была карта или луна, как будто он смотрел мне в глаза, но так он изучал мое вла...". (*Останавливается.*) "Мое вла...". (*Пауза.*) Паша, зачем нам это? Может, поставишь что-нибудь из классики? "Чайку", например...

ПАВЕЛ: Лучше чайкУ... с лимоном... Анфиса Михайловна, вы никогда не думали о том, что для некоторых понятий у нас нет нормальных слов? Или медицинский термин, или ругательство. Вам трудно читать этот текст? Так ведь пьеса именно об этом! О ханжестве. О лицемерии.

АНФИСА: Извини, Паша, это — без меня. У нас актрис много, найдешь кого-нибудь.

ПАВЕЛ: Анфиса Михайловна! Вы можете сыграть всё!

АНФИСА: Ты знаешь, как я дома текст учу? С Миронычем. Он мне реплики подает. (*Смеется, машет на Павла рукой.*) Смех и грех... (*Уходит.*)

ПЕТР: Счет один — один. (*Листает пьесу.*)

ПАВЕЛ: Перестань. Не столько они стесняются читать, сколько ты стесняешься слушать.

ПЕТР: Потому что это пошлость.

ПАВЕЛ: Пошлость — плохой вкус одного человека в представлении другого.

ПЕТР: Кто сказал?

ПАВЕЛ: Сам придумал... Ой, как у вас в провинции все запущено!..

ПЕТР: Только не начинай арию московского гостя!

Пауза. Петр листает пьесу.

ПАВЕЛ: А Анфиса?! Слово произнести не может!.. Забыла, как раньше выражалась!

ПЕТР: Было дело... Но теперь при ней даже чертыхаться нежелательно.

ПАВЕЛ: За Мироныча она боится... Помню, как он чуть не повесился, когда она к Васильеву хотела уйти.

ПЕТР: Васильев... Когда это было?! А деда с того света вернула. Каждое воскресенье в церковь ходит.

ПАВЕЛ: Грехи замаливает...

Петр отодвигает пьесу и наливает в бокалы коньяк.

ПЕТР: Ладно. Пытайся. Ставь свои "Монологи".

ПАВЕЛ: Они не мои, а...

ПЕТР: Гусары, молчать!

Смеются, чокаются и выпивают.

ПЕТР: Только учти — по столичным расценкам я платить не могу.

ПАВЕЛ: Договоримся.

ПЕТР: И еще — я актрис убеждать не собираюсь.

ПАВЕЛ: Не беспокойся, сам убежу.

ПЕТР: Убежишь? Опять? (*Пауза.*) Прости за каламбур... Кого пробовать будешь?

ПАВЕЛ: Шерше ля фам... Четверых. Нужны молодая, пожилая и две — лет сорока. На пожилую все-таки хочу Анфису. Уговорю. Остальные... Кого посоветуешь?

ПЕТР (*пожимает плечами*)**:** Смотри всех.

ПАВЕЛ: На всех у меня сил не хватит. (*После паузы.*) Может, Маша? Или Ольга?

ПЕТР: Не боишься?

ПАВЕЛ: Чего?

ПЕТР: Второй раз... в ту же реку...

ПАВЕЛ: Да я еще ничего не решил... А вчера в "Сестрах" кто Наталью играл?

ПЕТР: Наташа. Моя жена.

ПАВЕЛ: А-а-а... Я так и думал. А дети?

ПЕТР: Дочке скоро десять. (*Пауза.*) Только я прошу — Наташу к своим душевным монологам не привлекай.

ПАВЕЛ: Начинается!.. Почему?

ПЕТР: Потому!

ПАВЕЛ: Убедительно.

Звучит мелодия мобильника. Павел выхватывает телефон из кармана.

ПАВЕЛ: Алло! Алло, не слышно!!! (*Мечется по кабинету, бормочет.*) Не ловит... (*Кричит.*) Алло! (*Выскакивает из кабинета. Слышны его крики из-за двери.*) Алло! Это ты? Тебя не слышно! Перезвони мне! Перезвони, пожалуйста!!! (*Возвращается в кабинет, говорит очень раздраженно.*) Где у вас можно нормально поговорить? Сигнал пропадает!

ПЕТР: Что ты волнуешься? Не слышно — перезвонят...

ПАВЕЛ: Могут и не перезвонить.

ПЕТР: Успокойся. Давай еще по одной.

Выпивают.

ПЕТР: А ты не изменился. Ассистент по актрисам... Недавно подслушал, как они в гримерке твое интервью обсуждали. В каком-то журнале, про Нью-Йорк... Чё там делал?

ПАВЕЛ: Хэмингуэя ставил. "Снега Килиманджаро".

ПЕТР: То, с чего мы начинали?.. (*Цитирует по памяти.*) "Килиманджаро — высшая точка Африки. У самой вершины западного пика лежит иссохший труп леопарда. Что понадобилось леопарду на такой высоте, никто объяснить не может"...

ПАВЕЛ: Садись, пять.

Открывается дверь, вбегает Ирина.

ИРИНА (*запыхавшись*)**:** Петр Никитич...

ПЕТР: Ира, вы еще читать хотите?

ИРИНА: В туалете!

ПЕТР: С ума сошли?

ИРИНА: Трубу прорвало! Костюмерную заливает!

ПЕТР: Выносите всё!

ИРИНА: Куда?

ПЕТР: В коридор, в зал... Куда угодно!!!

Ирина выбегает. Павел идет за ней.

ПЕТР: Ты помнишь, где?

ПАВЕЛ: Не заблужусь. (*Выходит.*)

Петр снимает трубку, набирает номер.

ПЕТР: Алло! Аварийная?

Гаснет свет.

Картина III

Зажигается свет. На сцене в беспорядке расставлены стулья, ящики. В центре — дверь в костюмерную. Из нее выбегает Маша с охапкой одежды в руках. Мечется по сцене, не зная, куда ее положить. Входит Павел. Маша застывает на месте. Павел тоже. Молча смотрят друг на друга.

Из двери, откуда вышла Маша, появляется Ольга. Ее руки тоже заняты костюмами, на голове — смешная шляпа с огромными полями. Увидев Павла, она останавливается. Павел поворачивается к ней. Ольга пытается снять шляпу, удерживая ворох костюмов одной рукой. Снимает шляпу, но роняет костюмы. Павел их собирает.

Вбегает Петр.

ПЕТР: Маша, чего застыла?! Там же все зальет!

МАША: Куда складывать?

ПЕТР: На стулья. (*Скрывается за дверью.*)

Павел и Ольга собирают упавшие костюмы. Маша, бросив все на стулья, убегает за Петром. Из костюмерной выходит Наташа — она несет в каждой руке по паре сапог.

НАТАША (*Павлу*)**:** Здрасьте...

ПАВЕЛ (*официальным тоном*): Здравствуйте, Наталья... простите, не знаю по батюшке...

Появляется Петр, он тащит большую коробку.

ПАВЕЛ: Петр Никитич, может, ты меня представишь?

ПЕТР (*запыхавшись*)**:** Пашка, я тебя убью! А потом представлю... (*Снова убегает в костюмерную.*)

Павел целует Наташе руку, в которой она держит сапоги.

ПАВЕЛ: Павел Андреевич. Можно просто Паша. Друг детства вашего невоспитанного мужа.

НАТАША: Наталья Ивановна.

ПАВЕЛ: Позвольте... (*Забирает у Наташи сапоги, пристраивает их возле ящика.*)

За сценой слышен крик Петра: "Девочки, миленькие, быстрее! Маша, позови монтеров, пусть тоже носят. И охранников всех — сюда". Наташа убегает в костюмерную. Павел идет вслед за ней, но навстречу ему выходит Ирина. Она несет перед собой большой тюк, из-за которого ничего не видит перед собой, и поэтому натыкается на Павла.

ИРИНА (*кричит*)**:** Ё-моё, да уйди же с дороги!

Павел заглядывает за тюк справа, слева.

ПАВЕЛ: Где вы? Разрешите? (*Забирает у нее тюк.*)

ИРИНА: Ой, Павел Андреевич! Извините... я тут... неприлично выразилась...

ПАВЕЛ: Ничего страшного.

Ирина скрывается за дверью. Павел тащит тюк в угол. Из костюмерной выходит Ольга. В этот момент опять раздается крик Петра: "Вода!.. Проводка!.. Надо обесточить!". Гаснет свет.

В темноте раздаются женские голоса: "Ирка, ты где?", "Ой, мамочки!", голос Павла: "Нет, Наталья Ивановна, наступите вы, иначе поссоримся, а у меня на вас большие планы...". Слышен смех Ирины, потом снова голос Павла: "Извините... Позвольте ручку... Ах, это ножка?". Слышен грохот — кто-то опрокинул стул.

МАША (*перекрикивая всех*)**:** Тихо, не орите! (*В наступившей тишине.*) Павел Андреевич, дайте, пожалуйста, спички. Или зажигалку.

ПАВЕЛ: У меня нет. Бросил.

МАША: Тьфу...

В темноте появляется огонек — это Ольга зажгла спичку. Видно, как Ирина несет на вытянутых руках какие-то тряпки, с них капает вода.

ИРИНА: Куда мокрое класть?

В тишине слышен шум льющейся воды. Спичка гаснет. Ольга зажигает следующую.

ОЛЬГА: Последняя. Есть у кого-нибудь еще?

ИРИНА: Нету.

ОЛЬГА (*с иронией*)**:** Знаете, у нас в театре никто не курит. Пожара боимся...

Спичка гаснет. Раздается нервный, но дружный хохот.

Картина IV

Несколько дней спустя.
Театральный буфет. По залу расставлены столики и стулья.
Стены украшены искусственными цветами.
За дверным проемом виден угол барной стойки.
Входят Наташа и Ирина. У обеих в руках — подносы с чашками и тарелками. Актрисы садятся за столик.

ИРИНА: ...А по-моему, нормальный текст.

НАТАША: Нормальный?!

ИРИНА: Ну, не так чтобы нормальный... Но ничего ужасного нет. А наши уперлись. Анфиса устроила шоу — нашла валидол, стала таблетку из упаковки выковыривать... Маша с Ольгой сели по разным углам, друг на друга не смотрят...

НАТАША: Да... Они вечно ругаются, а теперь, когда Богомолов приехал...

ИРИНА (*делает "большие глаза"*)**:** При чем тут он?

НАТАША: А то ты не знаешь?!

ИРИНА: У них что-то было?

НАТАША: Что-то! Он тогда на Маше жениться собирался. Она за свадебным платьем в Москву поехала. А тут — Ольга... Машка вернулась, а платье — без надобности... Потом был скандал из-за спектакля, и он уехал.

ИРИНА: А потом?

НАТАША: Суп с котом... Говорят, что Олю звал. Но она не поехала. Может, конечно, и звал. А может, она сочинила. Чтоб не так обидно...

ИРИНА: А почему не поехала?

НАТАША (*передразнивая Ирину*)**:** А потому! (*Сердито.*) Хочешь все знать? Спроси Ольгу!

ИРИНА: Да я так... Интересно. Она зимой и летом — одним цветом... В джинсах. А сегодня вдруг — новый костюмчик!.. Сидит на ней, как на корове седло, правда?

Наташа молчит.

ИРИНА: А может, он все-таки из-за Ольги вернулся?

НАТАША: Чё ты так решила?

ИРИНА: Ну... Он — звезда, его на части рвут, и вдруг приехал в нашу дыру...

НАТАША: Может, уже и не звезда? Я в интернете читала — его последнюю постановку критики разнесли в щепки. Вроде спектакль закрывать собираются.

ИРИНА: Правда? (*Пауза.*) Ну и что? Мало ли, что критика пишет? Это же не спорт. Не дисквалифицируют. Все равно знаменитый. (*Пауза.*) А почему его зовут "ассистент по актрисам"?

НАТАША: Он в молодости на киностудии подрабатывал. Ассистентом по актерам. Но многим казалось, что больше по актрисам... (*Пауза.*) Ладно об этом... Ир, Петр Никитич просил подумать, что Анфисе на юбилей подарить.

ИРИНА: Сервиз!

НАТАША: Ей на прошлый три подарили. От губернатора, от спонсоров...

ИРИНА: Вычеркиваем...

НАТАША: Может, вазу? Будет память. И красиво, и практично...

ИРИНА: Скучно... Подарок надо придумать. Узнать потихоньку, что имениннику хочется, но чего он сам себе не купит...

Входит Ольга в элегантном костюме. Она подходит к Наташе и Ирине, ставит на столик чашку.

ОЛЬГА (*Наташе*): Привет.

НАТАША: Привет. Ну как репетиция?

Ольга пожимает плечами.

НАТАША: Ты чего дрожишь?

ОЛЬГА: Замерзла.

НАТАША: Ты что! Здесь жарища.

ОЛЬГА: На улицу выходила. В репетиционной курить нельзя, в буфете — нельзя... (*Пьет кофе, греет руки о чашку.*)

НАТАША: Надо было что-то набросить.

ИРИНА: Костюмчик обалденный. Китайский?

Ольга молчит.

НАТАША: Как тебе пьеса?

ОЛЬГА: Не знаю... Мне кажется, я такое не сыграю.

ИРИНА: А я бы сыграла!

ОЛЬГА: Пожалуйста! Кто тебе не дает?

ИРИНА: Значит, вы отказываетесь?

ОЛЬГА: Ира, оставь меня в покое!

НАТАША: Девушки, перестаньте! (*Смотрит на Ольгу.*) Оль, ты чего какая-то...

ОЛЬГА: Голова болит.

НАТАША: Таблетку хочешь?

ОЛЬГА: Не надо. Лучше еще кофе возьму. (*Выходит.*)

ИРИНА: Она сегодня... чисто Офелия. Я ее такой не видела.

НАТАША: Ты много чего не видела.

ИРИНА: Ой, а знаете, что я заметила? Павел Андреевич волосы красит.

НАТАША: Не может быть! Хотя сейчас многие мужики красятся.

Ольга возвращается с чашкой кофе.

НАТАША: Оля, что Анфисе подарим? Может, золотую цепочку? Или брошь?

ОЛЬГА: У них с Миронычем на лекарства не хватает. Нужны ей цацки!..

ИРИНА: Идея! У меня знакомый художник по фотографиям портреты рисует. Давайте закажем ее портрет! Большой!

ОЛЬГА: Ага. А ты ее сфотографируешь. Опыт есть...

ИРИНА: В каком смысле? У меня же алиби!

НАТАША: Наверное, лучше у нее самой спросить, что ей нужно.

ИРИНА: Тогда — не сюрприз...

НАТАША: А кому нужны сюрпризы? Лучше, когда все известно заранее.

ОЛЬГА: У Анфисы спрашивать бесполезно. Отшутится.

Входит Анфиса.

ОЛЬГА (*Ирине и Наташе*): Потом договорим...

АНФИСА: Девчата, я к вам помещусь?

НАТАША: Садитесь, Анфиса Михайловна, я ухожу. (*Встает.*) А где Маша?

АНФИСА: Ушла домой.

НАТАША: А-а... Всем пока. (*Уходит.*)

ОЛЬГА (*Анфисе*): Ну вот, вы жаловались, что костюмы не стирают. Зато теперь все чистое.

АНФИСА: Да, не было бы счастья... И все-таки удивительно: Петя так боится пожара, а нас который раз заливает. То крыша течет, то трубу рвет...

ОЛЬГА: Завтра "Собаку на сене" отменили — платья не отстирались.

АНФИСА: Отменили? Слава Богу! (*Достает из сумки фляжку, подливает в чашку с чаем.*) Чистый четверг, буду куличи печь...

ИРИНА: Мне кто-то сказал, что Христос был еврей. Это правда?

ОЛЬГА: В принципе... если по маме, то да.

ИРИНА: А чего ж мы радуемся, что он воскрес?

Все смеются.

АНФИСА: Не богохульствуй!

ИРИНА: Нет, серьезно!..

АНФИСА: Да ну тебя!

Пауза.

АНФИСА: А мне сегодня такое приснилось! Будто я проснулась... такой сон во сне... Проснулась, а под окном птицы поют...

ОЛЬГА: Птицы — это к переезду.

АНФИСА: Куда?

ИРИНА: В Москву!

Анфиса смеется.

ИРИНА: А что? Вдруг Павел Андреевич позовет?..

АНФИСА: Что вы все — в Москву, в Москву... Ты там даже не была! Это я в Москве родилась, выросла, институт закончила. А всю жизнь — здесь... Если бы не Мироныч, вернулась бы. Звали...

Входит Петр. В одной руке несет чашку, другой прижимает к уху телефон. Устраивается за одним из столиков.

ПЕТР: ...Милый мой драматург! Кто вам мой мобильный дал? (*Пауза.*) Да. Был в Париже. А теперь борюсь с наводнением. Вы русский язык понимаете? Денег нет. И не будет. (*Отключает телефон. Поворачивается к актрисам.*) Павел Андреевич вас уже отпустил? Так быстро?

АНФИСА: Да.

ПЕТР: И вы — сразу сюда...

ОЛЬГА: "Мы — артисты, наше место — в буфете".

ПЕТР: Где он сам?

ОЛЬГА: Ему позвонили, и он куда-то убежал, с телефоном. Ищет, где связь лучше.

Ольга и Ирина, переглянувшись, встают и уходят. Анфиса допивает чай.

ПЕТР: Анфиса Михайловна, не мучьте коллектив. Скажите честно: что вы хотите в подарок?

АНФИСА: Честно? (*Смеется.*) Зажигалку. И пепельницу.

Петр, опешив, молчит. В этот момент звонит его мобильный.

Анфиса уходит.

ПЕТР (*в трубку*)**:** Алло, Витенька? (*Пауза.*) Съезд кого? Фелинологов? Это кто? (*Пауза.*) Я про неприличное успел подумать... Кошатники? Кошек люблю. Правда, готовить не умею... Им только фойе? Нал, безнал? Конечно, беру. Сейчас, Витя, всех беру. У меня потоп, срочно деньги нужны...

Входит Павел. В руках у него тексты пьесы. Он подсаживается к Петру.

ПЕТР (*в телефон*)**:** Извини, Витя, я перезвоню... А кошаков давай! (*Убирает мобильный.*) Вы чего так быстро? Прихожу — а они здесь сидят. Говорят: "Мы уже кончили".

ПАВЕЛ: Совсем кончили... Мне на мобилку позвонили, я вышел. Возвращаюсь — никого... Только пьесы — стопочкой. (*Перебирает экземп-*

ляры пьесы.) На одной написано: "Не могу". На другой: "Не буду"... Правда, одного экземпляра не хватает.

ПЕТР: Это Ирка.

ПАВЕЛ: Может быть.

ПЕТР: Распространение порнографии. От пяти до семи. С конфискацией...

ПАВЕЛ: В конце концов, они актрисы! Они должны выполнять любую задачу, поставленную режиссером!

ПЕТР: Так уж и любую?..

Пауза.

ПАВЕЛ: У меня ощущение, что я пишу картину, а краски ушли.

ПЕТР: Возьми другие.

ПАВЕЛ: Мне нужны эти.

ПЕТР: Напиши что-то другое. Не надо ню. Сделай портрет.

ПАВЕЛ: Чей? Свой?

ПЕТР: Делай свой. Только не устраивай стриптиз.

ПАВЕЛ: Ладно. Не хотят — не надо. Пусть играют "Трех сестер". Для прыщавых школьников. Которые думают только о Чехове... Боже, до чего ж у вас в провинции душно и скучно! На дуэль, что ли, тебя вызвать?

ПЕТР: Ты кем будешь? Соленым?

ПАВЕЛ: А ты сладким. Чтобы всем было хорошо, чтоб в доме было тихо.

Молчат. Павел достает из кармана рубашки сигарету, крутит ее в пальцах.

ПЕТР: Э, ты чего?!

ПАВЕЛ: Так... Привычка. Успокаивает. Верчу, но не прикуриваю.

Пауза.

ПЕТР: Не нервничай. С билетом я тебе помогу...

ПАВЕЛ: Не надо.

ПЕТР (*в недоумении*)**:** Как — не надо?!

ПАВЕЛ: У меня другая пьеса есть.

ПЕТР: Зачем?.. то есть... дай почитать.

ПАВЕЛ: Она еще... не целиком...

ПЕТР: Как это?

ПАВЕЛ: Автор финал пишет. Скоро пришлет.

ПЕТР: Кто автор? Много запросит?

ПАВЕЛ: Молодой. Откажется от авторских.

ПЕТР: Смотри... От одного уже скрываюсь. Умный... голова шире плеч. Начали его ставить — не получается... А теперь каждый день звонит, гонорар требует.

ПАВЕЛ: А по договору?

ПЕТР: При чем здесь договор? Я театр защищаю!

ПАВЕЛ: А драматург кого?

ПЕТР: Ладно, защитник слабых... Так о чем твоя пьеса?

ПАВЕЛ: Она не моя.

ПЕТР: Допустим. Так о чем?

ПАВЕЛ: О любви.

ПЕТР: Все пьесы — о любви.

ПАВЕЛ: Тогда о надежде... и отчаянии.

ПЕТР: Мужиков много?

ПАВЕЛ: Практически нет.

ПЕТР: Хорошо... А женщин?

ПАВЕЛ: Пятеро.

ПЕТР: И как называется? Надеюсь, не...

ПАВЕЛ (*перебивает*): "Пауза". Или "Антракт". А что? Приличное название. Антракт...

Опускается занавес.

Конец I действия.

Действие II

Картина V

Черный квадрат сцены.

На сцене сидят Маша, Ольга, Ирина, Наташа и Анфиса. У каждой — экземпляр пьесы. Кто-то листает пьесу, кто-то смотрит на Павла.

Ирина записывает в тетрадку за Павлом.

ПАВЕЛ: Сюжет прост. Больничная палата. В ней — мужчина, в коме. Его навещают женщины — мать, жена, дочь, сестра, любовница. Врачи объясняют, что с больным надо говорить, — это может вернуть его к жизни. Правда, никто не знает, слышит он или нет...

ИРИНА (*отрываясь от записей*): У Альмадовара есть фильм, там похожая история! Только в коме девушка...

ПАВЕЛ: Ну и что?! Пушкинский сюжет — о мертвой царевне. Или Перро — о спящей красавице.

ИРИНА: Да я ж ничего не говорю...

ПАВЕЛ: Всё написали греки. Они, кстати, всё и поставили... А мы только переставляем... Итак, женщины приходят к мужчине. Кто-то из них верит, что он слышит... Кто-то говорит сам с собой. Кто-то молится за

него. Кто-то вспоминает о своих обидах... В пьесе несколько картин. Несколько больничных дней — из многих недель. Это женские... подчеркиваю — женские, а не вагинальные монологи.

НАТАША: Павел Андреевич, проясните нулевую экспозицию. Мужчина — кто?

ПАВЕЛ: Какая разница? Он — мужчина. Чей-то муж, отец, брат... Ваше отношение к сыну или отцу поменяется в зависимости от его профессии или должности? Будет он министром или дворником — за его жизнь будете переживать по-разному?

ОЛЬГА: Судя по некрологам, дворники бессмертны...

ПАВЕЛ (*не обращая внимания на реплику*): А может, музыкант... Дирижер духового оркестра. Или врач. Анестезиолог. Всю жизнь боролся с чужой болью, а со своей не справился... Главное, он — мужчина. И как каждый мужчина, окружен женщинами. Еще жива мать, уже выросла дочь, есть сестра, жена и — как редко, но бывает, — любовница...

МАША: Одна?

ПАВЕЛ: Одна жена, одна любовница. Чтобы вы не запутались... Они говорят с ним. И вопрос, останется ли он жить, зависит от их любви, веры и надежды.

МАША (*с усмешкой*): "Жди меня, и я вернусь, только очень жди!" Они его любили, и от любви он вышел из комы!

ПАВЕЛ: А почему вы решили, что вышел?

НАТАША: Разве у нас трагедия? На трагедии ходить не любят...

ПАВЕЛ: Финал будет открытый. Женщины приходят, а палата пуста. Они ждут врача, который скажет им, что случилось: его перевели в другую палату, он пришел в себя или умер. Вот за эти минуты станет понятно, кто из героинь действительно любит его, кто надеялся, а кто заживо похоронил.

ИРИНА: И что скажет врач?

ПАВЕЛ: Спектакль закончится до его прихода.

АНФИСА: А зритель? Ему будет понятно, что с героем?

ПАВЕЛ: Это каждый для себя решит сам. (*Пауза.*) Репетировать с вами мы будем по отдельности. Вместе — только финал.

Гаснет свет.

* * *

Луч высвечивает стоящую на сцене кровать, на которой лежит манекен.

На сцене — Ольга и Павел.

ОЛЬГА: Павел Андреевич, я всю сцену стою у окна? Или...

ПАВЕЛ (*перебивает*)**:** Оля, почему ты бросила трубку? Я вчера...

ОЛЬГА (*перебивает*)**:** Может, я могу ходить по палате?

ПАВЕЛ: Я весь вечер тебя набирал...

ОЛЬГА: Павел Андреевич, давайте репетировать. Я почитаю. С начала? (*Пауза.*) "Часов нет... В других палатах есть, а здесь нет. (*Пауза.*) Скоро твоя жена придет. (*Пауза.*) Интересно, что она тебе говорит? Наверное, вспоминает о прошлом. А я... Что вспоминать? Сначала — роман, потом — повесть... женатого мужчины и одинокой женщины..."

ПАВЕЛ (*перебивает*)**:** Лёля!

Ольга замолкает.

ПАВЕЛ: Я специально репетиции назначил отдельно, чтобы с тобой поговорить.

ОЛЬГА: Нам не о чем говорить.

ПАВЕЛ: Нет, есть. Только не хочется здесь... Может, пообедаем вместе?

ОЛЬГА: Не хочу.

ПАВЕЛ: Почему?

ОЛЬГА: Аппетит пропал.

ПАВЕЛ: Давно?

ОЛЬГА: Лет двадцать как...

ПАВЕЛ: Оля, я ехал сюда... думал — все ушло. А когда случился потоп и я увидел тебя... в мокрой шляпе...

ОЛЬГА: Шляпа была сухая.

ПАВЕЛ: Да? Может, показалось... Помнишь, ты купила похожую... у спекулянтки... Мы пошли гулять — и вдруг дождь...

Долгая пауза.

ПАВЕЛ: Лёль, я все понял... Ничего не прошло...

ОЛЬГА: Не называй меня "Лёля"!

ПАВЕЛ: Прости.

Долгая пауза.

ПАВЕЛ: Оля, но ведь я звал тебя...

ОЛЬГА: Куда? На сто первый километр? А здесь все бросить? Больную маму... Театр, роли... Чтобы Снегурочку играть на утренниках, которые ты ставил?

ПАВЕЛ: Значит, для тебя театр был важнее, чем я.

ОЛЬГА: А для тебя? Если бы я для тебя что-то значила, ты бы меня послушал. Тебе же все говорили — не пропустят... Здесь не Москва. А ты специально секретаря обкома копировал. Голым королем представлял. Я же просила тебя — не дразни гусей...

ПАВЕЛ: Какие гуси... Волки. Если бы не уехал — могли и посадить. За антисоветскую агитацию... Пять лет в театры не впускали.

ОЛЬГА: Ну, приехала бы я... Сидели бы вдвоем... без работы, без дома...

ПАВЕЛ: Зато вдвоем... Когда я понял, что не приедешь, — напился. Прямо в Доме пионеров... В те времена еще пионеры были... Остался на ночь после драмкружка, выпил бутылку водки и стал в горн дудеть...

ОЛЬГА: И что? Прибежали твои пионеры?

ПАВЕЛ: Нет. Даже сторож не пришел. Так и уснул... под портретом Горбачева.

Пауза.

ОЛЬГА: А что же меня потом не звал? Когда в каждом журнале твоя фотография...

ПАВЕЛ: Так к тебе тогда Петр сватался... Не хотел мешать вашему счастью. Тем более, за ним и ехать никуда не надо было...

ОЛЬГА: Нашел причину. Петр... Шампанское водой не запивают... Просто тебе я уже была не нужна... Хорошо было и без меня... А теперь зачем вернулся? Плохо стало?

ПАВЕЛ: Нет, все в порядке.

ОЛЬГА: Не ври. Я же тебя знаю...

Пауза.

ПАВЕЛ: Знаешь... Оля, я, кажется, понял, кто загнал леопарда на ледяную высоту...

ОЛЬГА: Кто?

ПАВЕЛ: Страх.

Пауза.

ПАВЕЛ: Тогда не боялся... А сейчас — страшно. Меня всегда ругали, но слово "беспомощность" не употребляли... И чем больше боюсь, тем хуже получается. Чем глубже я его прячу, тем сильнее душит. Прости, но кроме тебя мне об этом сказать некому...

ОЛЬГА: Первый раз вижу тебя таким...

ПАВЕЛ:

"Я разный.
Я натруженный и праздный.
Я — целе- и нецелесообразный".

ОЛЬГА (*перебивает*)**:** Это не ты. Это Евтушенко. (*Пауза.*) А "Паузу"... скажи честно — сам написал?

ПАВЕЛ: Ну ты же сама все знаешь...

ОЛЬГА: Не все... Почему не женился? Я читала о твоих звездных романах...

ПАВЕЛ: Читай больше... Они напишут.

ОЛЬГА: А зачем ты предложил Петру эти... интимные монологи?

ПАВЕЛ: Режиссерская провокация.

ОЛЬГА: О провокации придумал после того, как мы с репетиции ушли?

ПАВЕЛ: Да нет... Хотелось Петьку чем-то шокировать. А по большому счету и "Монологи", и "Пауза" — про одно и то же. Только форма разная.

Пауза.

ПАВЕЛ: Может, все-таки пообедаем где-нибудь?

ОЛЬГА: Нет. Будем репетировать.

Пауза.

ПАВЕЛ: Значит, и ты меня не понимаешь...

ОЛЬГА: Ошибаешься, понимаю... Давай лучше поужинаем. Хотя все говорят, что это вредно.

Гаснет свет.

* * *

На сцене — кровать, на которой лежит манекен. Возле кровати сидит Ирина, рядом стоит Павел.

ИРИНА (*говорит напыщенно, жестикулируя*)**:** "Когда я первый раз сюда пришла, мне врачиха сказала: "Говори, он слышит. Зови его". Я поверила. Что ты меня слышишь... Теперь сомневаюсь".

ПАВЕЛ (*перебивает*)**:** А вы сами?

ИРИНА: Что — сама?

ПАВЕЛ: Верите, что отец вас слышит, или нет?

Ирина пожимает плечами.

ПАВЕЛ: Попробуйте еще раз.

ИРИНА: "Когда я первый раз сюда пришла, мне врачиха сказала: "Говори, он слышит. Зови его". Я поверила, что ты меня слышишь... Теперь сомневаюсь".

ПАВЕЛ (*резко*)**:** Нет! Это нельзя произносить так эмоционально! Подумай над словами, прочувствуй... "Теперь сомневаюсь..." Ты растерялась. И не к нему обращаешься! Ты говоришь это себе. Без драматизма... В начале монолога — пожалуйста, выступай с выражением... Как в школе

учили... А потом вдруг — ломаешься. Признаешься, что вера ушла. Поэтому для тебя говорить вслух с отцом — значит лгать! Лгать умеешь?

ИРИНА (*растерянно*)**:** Кому?

ПАВЕЛ: Ну, думаю, есть кому?

ИРИНА (*кокетливо*)**:** А зачем мне лгать? Я — девушка свободная...

ПАВЕЛ: Учись. Пока я жив... Мне нужно, чтобы ты в этой сцене была... врушей. Чтобы зритель понял: ты притворяться умеешь... Но больше не можешь.

Затемнение.

* * *

Луч выхватывает ту же кровать с манекеном. Рядом — Анфиса и Павел.

ПАВЕЛ: Я хочу, чтобы вы произносили свой монолог, глядя куда-то в пол.

АНФИСА: Почему?

ПАВЕЛ: Мать окаменела от горя. У нее нет больше сил. Представьте: она приходит к сыну ежедневно. Уже полтора месяца прошло...

АНФИСА: Ну и что? Может, дома она и каменеет, а в больнице будет смотреть на сына, чтобы понять, слышит он или нет. Будет держать его за руку...

ПАВЕЛ: Вы думаете?.. Хорошо. Делайте так.

Анфиса поправляет под манекеном подушку, берет его за руку.

АНФИСА: "Здравствуй, сыночка... Ты молодцом, не такой бледный. Вчера не смогла прийти — у папы давление подскочило. Но ты не беспокойся, ему лучше. Я сейчас в коридоре медсестру встретила..."

Пауза.

АНФИСА: Нет, я не могу к этой пластиковой чурке обращаться...

ПАВЕЛ: Ну хорошо, давайте так. (*Он снимает манекен с кровати и ложится на его место.*) Продолжайте.

АНФИСА (*берет его за руку*): "Все будет хорошо, сыночка. Ты поправишься, и мы с тобой пойдем гулять. Как в детстве — за ручку..." (*Пауза.*) Ой, нет, Паша, так не надо. Встань!

Павел встает.

АНФИСА: На спектакле будет манекен?

ПАВЕЛ: Не знаю. Может, поставим кровать спинкой к залу, зрителям вообще не будет видно, лежит кто-то или нет. (*Пауза.*) Вот что... Врачи советуют включать для него музыку.

АНФИСА: Какую?

ПАВЕЛ: Ту, что на улицах играют... Духовой оркестр. Вальсы. Марши... Уходя, каждая из женщин будет ставить пластинку.

Гаснет свет.

* * *

Загорается свет. Возле кровати стоит Маша. Павел ходит по сцене.

ПАВЕЛ: Садись. Нет, не надо... (*Рассматривает Машу, которая одета в джинсы и кофточку.*) Может, тебе так и играть — в джинсах? Только кофточку поярче...

МАША: Хорошо.

ПАВЕЛ: А сверху — халат. Как полагается в больнице.

МАША: Все в белых?

ПАВЕЛ: Да. В белых. Кстати, в Индии траурные сари — белого цвета. Интересно... У нас — черное. А у них смерть — не мрак, а свет...

МАША: От хорошей жизни, наверно...

ПАВЕЛ: Ладно. Читай с места, где говоришь о свекрови.

Долгое молчание.

ПАВЕЛ: О чем молчим?

МАША: Я думала, ты хочешь что-то сказать... Поэтому и назначил репетиции по отдельности.

ПАВЕЛ: Нет, не поэтому. В спектакле одна общая сцена, ее сделаем вместе. А монологи колхозом репетировать — лишнее.

Пауза.

ПАВЕЛ: Маш, давай работать...

МАША: Хорошо. Я только хотела узнать...

ПАВЕЛ: Почему приехал?

МАША: Нет. Хотела спросить: у тебя все в порядке? Мне показалось, что-то случилось...

ПАВЕЛ: "Что-то случилось"... Был такой роман. Не читала?

МАША: Нет.

ПАВЕЛ: Зря. Хороший роман.

МАША: Может быть.

ПАВЕЛ: Начинай.

МАША: "Извини, не выспалась. Комары... Откуда они взялись? Холодно уже. Всю ночь гудели!.."

Гаснет свет.

* * *

В луче света — кровать с манекеном. Рядом — Павел. Он изменяет положение рук манекена. Сначала распрямляет их поверх одеяла, отходит на несколько шагов, рассматривает позу. Потом складывает руки манекена на груди, как у покойника. Подходит к проигрывателю, ставит пластинку. Духовой оркестр играет марш. Павел возвращается к манекену и складывает его руки под затылком — так, будто манекен "отдыхает". Садится на стул, сжимает голову руками. Затем вдруг откидывается на спинку стула, вытягивает ноги, сцепляет руки на затылке, повторяя позу манекена, и потягивается. Свет гаснет.

* * *

В свете луча на сцене — Павел и Наташа. Наташа читает монолог.

НАТАША: "Я на сороковой день исповедаться ходила, батюшку спрашивала — как же твоя душа? Батюшка говорит — душа рядом... И видит все... (*Пауза.*) Эта женщина тоже здесь... Нехорошо. Грех!"

ПАВЕЛ: Нет. Не так. У меня от вашего монолога остается... дурное послевкусие... Ощущение, что ваша героиня не ушла, а ударилась в религию. Часто ходит в церковь и всех достала своей обрядностью... А я хочу, чтобы вы сыграли верующую женщину. Которую хочется слушать. Вспомните кого-нибудь из знакомых...

Наташа пожимает плечами.

ПАВЕЛ: Того, кто верит. Если не в Иисуса Христа, то в свое дело...

Наташа молчит.

ПАВЕЛ: Значит, нет таких... И в театре тоже?.. Плохо. (*Пауза.*) Наталья Ивановна, мы же с вами... не пирожки печем. Я понимаю, быт заедает... Но иногда надо вспомнить, что это — искусство. Роль с температурой тридцать шесть и шесть сыграть нельзя!

НАТАША: Вы как Петр. Иногда я его не понимаю. Наверное, вы с ним были похожи, когда строили... вашу крепость... Но он изменился... А сейчас нервничает. Не спит.

Пауза.

НАТАША: Павел Андреевич, у меня к вам просьба.

ПАВЕЛ: Какая?

НАТАША: Уезжайте... Уезжайте, пожалуйста. Вам в любом театре дадут ставить...

ПАВЕЛ: А вам я не нужен?

НАТАША: Мне — нет.

ПАВЕЛ: Почему?

НАТАША: Потому что Петр Никитич плохо спит. А я его люблю. И хочу, чтобы у него все было хорошо.

Гаснет свет.

* * *

В свете луча — кровать, на спинку которой наброшен медицинский халат. Рядом с кроватью — платяной шкаф, кресло. На кровати сидит Маша.

ПАВЕЛ (*кивает на шкаф*)**:** Это что?

МАША: После вчерашнего спектакля не убрали.

ПАВЕЛ: Бардак... (*Пауза.*) А может, оставим в палате шкаф? С халатами. Подойдешь, откроешь...

Маша открывает шкаф. На внутренней створке — зеркало.

ПАВЕЛ (*кричит*)**:** Стоп! Класс! Вот так и будет! Шкаф развернем торцом к залу. Открываешь дверцу, набрасываешь халат и поворачиваешься к зеркалу. И монолог читаешь, глядя в зеркало.

МАША: Спиной к залу?

ПАВЕЛ: Чуть развернем, со светом поработаем... Зритель будет видеть лицо в зеркале. Держи. (*Протягивает ей халат.*)

МАША (*набрасывает халат*): Значит, я буду смотреть в зеркало, а не на любимого человека?

ПАВЕЛ: А с чего ты решила, что он — любимый? Ты что говоришь? "Устала, бессонница замучила... Со свекровью скандалы..." Только о себе! Представь — дело происходит не в больнице, а на кухне. Муж ест суп, жена картошку жарит — и тот же текст. Бытовуха! А не борьба за жизнь. (*Пауза.*) Начни с места "Что понадобилось тебе на сто первом километре...".

МАША: "Что понадобилось тебе на сто первом километре, никто объяснить не может. Светка городит ерунду насчет самовара — будто ты в деревне маме в подарок присмотрел... Ну а мама, конечно, уверена, что я тебя довела..."

ПАВЕЛ (*перебивает*)**:** Маш, ты что, не чувствуешь? Ты же повторяешь, нота в ноту, то, что делала на прошлой репетиции!

МАША: Ну и что? Тебе же нравилось.

ПАВЕЛ: А сегодня не нравится!

МАША: Так что мне играть? Он ее разлюбил?

ПАВЕЛ: Наверно... И она его тоже.

МАША: Когда тебя разлюбили — больно.

ПАВЕЛ: А когда ты — грустно... Вот ей грустно и больно одновременно.

МАША: А вам весело?

ПАВЕЛ: Ты о чем?

МАША: Не о чем, а — о ком... О тебе. И о ней.

ПАВЕЛ: Маш... Столько воды утекло... Зачем нам об этом?..

МАША: Нам? Нам ничего не надо... Только вам... Кстати, я то свадебное платье не выбросила. Не продала. Лежит у меня. В сундучке... На память о твоей... преданности... Что ты там про белый траур говорил?

ПАВЕЛ: Знаешь, почему животные совокупляются со спины?.. Самка не может укусить.

Маша снимает халат и набрасывает его на зеркало.

ПАВЕЛ: Не надо режиссерских находок. Сними. Он еще живой.

Маша берет халат, бросает его в Павла и уходит.

Гаснет свет.

* * *

В луче света возле кровати — Павел и Анфиса.

АНФИСА (*устало*)**:** "Она мне никогда не нравилась, твоя Лина, но я молчала... А сейчас... У нее на прошлой неделе был день рождения, и она пригласила гостей! Как же можно?! Когда ты — здесь..."

ПАВЕЛ (*перебивает*)**:** Нет, Анфиса Михайловна, вот здесь не надо так ровно. Добавьте эмоций. Со слезой. Пусть все, о чем раньше молчала, что невестке не высказала, сейчас прорвется!.. Продолжайте.

АНФИСА: "Она пригласила гостей! Как же можно?! Когда ты — здесь... Я говорю: "Линочка, не надо праздновать...". А она мне: "Я что — в трауре?". (*Плачет.*) Дрянь! Ты — тут, а она... Зачем?" (*Пауза. Поворачивается к Павлу.*) Зачем ты приехал?

ПАВЕЛ: Этого в тексте нет.

АНФИСА: И все-таки, зачем?

ПАВЕЛ: "Если бы знать... Если бы знать..."

Долгая пауза.

ПАВЕЛ: Приехал, чтобы поставить пьесу.

АНФИСА: Почему у нас? Тебя же везде зовут.

ПАВЕЛ: Петька позвал. Театру нужна реанимация...

АНФИСА: Реанимация?.. Как образно! Когда у Мироныча был удар, он две недели в реанимации пролежал. Как речь вернулась — начал с радостного: "Анечка, все сделаешь по-простому, без помпы. А стал бы худруком — хоронили бы, как артистов в Москве, — с аплодисментами"... (*Пауза.*) Он стал бы худруком, Павлик, если б не твой "Голый король"...

Пауза.

ПАВЕЛ: Как он сейчас? Выходит?

АНФИСА: Гуляем, за ручку, в парке... (*Пауза. Анфиса встает.*) Павел Андреевич, я не буду играть в этом спектакле.

ПАВЕЛ: Анфиса Михайловна, я вас очень прошу, не отказывайтесь от роли. Конечно, я приехал не потому, что меня просил Петька... Я же знаю, что он тут, после моего отъезда говорил... и делал... За "Голого короля" меня выгнали с волчьим билетом, а его через пять лет — за тот же спектакль — выдвинули на Госпремию. (*Пауза.*) Я вернулся... Сам не знаю, почему... На место преступления возвращаются раньше, чем через двадцать лет. Не знаю, виноват ли я перед вами... Миронычем... другими... Я делал то, что считал должным.

АНФИСА (*перебивает*)**:** А теперь?

ПАВЕЛ: И теперь...

Анфиса, постояв, садится. Затемнение.

* * *

На сцене — Ольга и Павел.

ПАВЕЛ: ...Здесь важную роль играет время. Ты чувствуешь?..

ОЛЬГА:

Время — не предмет, а идея.
К нему нельзя прикоснуться.
В него можно верить, старея,
А можно, не веря, вернуться.

ПАВЕЛ: Странно, что ты помнишь... (*Пауза.*) В этой пьесе время для всех течет по-разному. Для матери — тикает, как метроном. Для дочки — летит, как всегда в молодости... А для твоей героини время остановилось. Она просила любовника выбрать между ней и женой. Но он не выбрал... А сама она не может оторваться. И непонятно, что для нее лучше, — чтобы он ожил или умер. Умрет — всем поровну. Вернется — все начнется сначала...

ОЛЬГА: Но сейчас ей достаточно нажать кнопку... повернуть краник... И будет всем поровну. Почему она этого не делает?

ПАВЕЛ: Потому что не способна на поступок. Как большинство из нас... Она просто ждет.

ОЛЬГА: Почему?

ПАВЕЛ: Потому что любила. А сейчас — не знает...

ОЛЬГА: И поэтому хочет его смерти? Или не хочет? (*Пауза.*) Скажи мне: что я должна играть?

ПАВЕЛ: Надежду и отчаяние.

ОЛЬГА: Мне проще сыграть ожидание... С учетом двадцатилетнего опыта.

ПАВЕЛ: Оль, мы это уже обсудили... Как ты будешь играть ожидание? У окна сидеть, слезы лить? На часы смотреть?

ОЛЬГА: Да нет... Просто жить... (*Пауза.*) Ты знаешь, я все время боюсь, что ты опять исчезнешь...

ПАВЕЛ: Не исчезну. Я и не исчезал... Просто был далеко. Почему-то... (*Пауза.*) Ладно, на сегодня хватит. Мне еще нужно с Петром поговорить. Я приду к тебе в восемь.

ОЛЬГА: Я не успею ничего приготовить. Приходи к девяти, ладно?

ПАВЕЛ: А может, ты ко мне?

ОЛЬГА: В гостиницу... Нет. Я девушка гордая! И не покупай цветы. Еще старые не завяли...

ПАВЕЛ: Потому что волшебные! (*Целует ее.*)

Затемнение.

* * *

В луче прожектора — Павел и Ирина.

ПАВЕЛ: ...Не надо делать такие долгие паузы. Живее, живее!

ИРИНА: Вы вчера другое говорили... (*Заглядывает в тетрадку.*)

ПАВЕЛ: А сегодня надо живее... Хорошо, вернемся к этому месту: "Может, ты из-за этого и попал в аварию? Был рассеянный, постоянно думал об этом..." Не говори это — ему. (*Показывает на кровать.*) И не в зал! Ты говоришь — себе. Посыл — внутрь...

ИРИНА: А куда смотреть?

ПАВЕЛ: В себя!

Ирина отворачивается от кровати, становится в пол-оборота к залу, переминается с ноги на ногу, становится другим боком.

ИРИНА: "Может, ты из-за этого и попал в аварию? Был рассеянный, постоянно думал... об этом... И мама, наверное, все знала. Она в последний год стала другой"...

ПАВЕЛ: Куда ты смотришь?

ИРИНА (*показывает в зал*)**:** Туда.

ПАВЕЛ: И обращаешься к креслам?.. Закрой глаза.

Ирина с готовностью зажмуривается.

ПАВЕЛ: Покружись.

ИРИНА: Как?

ПАВЕЛ: Ну, покрутись вокруг себя.

Ирина делает оборот вокруг своей оси.

ИРИНА (*пошатнувшись, жалобно*)**:** Я упаду...

ПАВЕЛ: Не бойся, я рядом.

Подходит и, придерживая за плечи, помогает ей кружиться. Останавливает.

ПАВЕЛ: Только не открывай глаза.

ИРИНА (*нежно*)**:** Не буду.

Ирина кладет ладони на руки Павла, которые лежат на ее плечах.

ПАВЕЛ (*высвобождает руки, отходит в сторону*)**:** А теперь читай этот кусок. Не зная, что перед тобой, ни на что не глядя.

Долгая пауза. Наконец Ирина читает — совсем не так, как читала раньше.

ИРИНА (*ровно и задумчиво*)**:** "Может, ты из-за этого и попал в аварию? Был рассеянный, постоянно думал об этом... А может, мне кажется? Сейчас ты мне не скажешь... Но я буду ждать".

Затемнение.

* * *

На сцене пустая кровать. На ней сидит Павел. Он набирает номер на мобильном.

ПАВЕЛ: Петя, привет... Думаю, через пару дней сделаю прогон первой картины. (*Пауза.*) Концовки пока нет. Он прислал, но мне не понравилось. Я попросил переделать. (*Пауза.*) Название? Пусть будет "Антракт"... Вся наша жизнь — антракт... между двумя главными действиями — рождением и смертью... (*Пауза.*) Петя, не надо прессы. На премьеру соберешь... (*Пауза.*) Я?!. Уже ничего не боюсь. Страх прошел... Прости, забыл: в ванной поскользнуться — вот чего я боюсь...

Затемнение.

Картина VI

На сцене декорации больничной палаты: кровать, повернутая спинкой к зрительному залу. Рядом тумбочка, на которой стоит иконка и проигрыватель с пластинками. Платяной шкаф. Окно.

Входит Павел. Он осматривает декорации, затем спускается со сцены в зрительный зал и садится в одно из кресел партера.

На сцене начинается прогон первой картины спектакля. По очереди появляются актрисы. Каждая из них произносит свой монолог.

* * *

АНФИСА (*сидит возле кровати*)**:** Здравствуй, сыночка... Ты молодцом, не бледный... Вчера не смогла прийти — у папы давление подскочило. Но ты не беспокойся, ему лучше. (*Пауза.*) Я в коридоре медсестру встретила ... Говорит мне: "Не беспокойтесь, в нашей клинике уход хороший, мы все вовремя делаем". Страшное слово — уход... Глупенькая. Думает, я каждый день прихожу, потому что... уходу... не доверяю. (*Пауза.*) Лине говорю — пойдем вместе. А она — не могу, иду с классом на выставку. Потом родительское собрание. Потом юбилей... И Светочки дома никогда нет. (*Пауза.*) Они ругаются часто. Я к ним приехала, подхожу к двери — крик такой, что на площадке слышно. Лина орет: "Я тебе запрещаю!" А Света ей — "Я все папе скажу!". Бедная девочка! Ей тебя очень не хватает. (*Пауза.*) Когда свою косметику посмывает — сразу видно: вылитая ты. Глаза и подбородок... И чай пьет, как ты: слабый, заварки мало, варенье кладет и разбалтывает. Лина ее ругает, говорит, что нельзя столько сладкого... А за косметику не ругает. (*Пауза.*) И сама мажется... (*Пауза.*) Она мне не нравится... Она мне никогда не нравилась, но я молчала... А сейчас... (*Пауза.*) У нее был день рождения, и она пригласила гостей! Как же можно?! Когда ты — здесь... Я говорю: "Линочка, не надо праздновать...". А она мне: "Я что — в трауре?". (*Плачет.*) Дрянь! Ты — тут, а она... Вырядилась в желтое платье. Стол, музыка... Они даже танцевали! (*Вытирает слезы.*) Не буду, больше не буду... Тебе огорчаться нельзя... (*Пауза.*) Все будет хорошо, сыночка. Ты поправишься, и мы с тобой пойдем гулять. Как в детстве — за ручку... Наверное, уже будет снег... Белый-белый... Но не сладкий...

Анфиса встает, подходит к столику, перебирает пластинки, ставит одну из них и уходит со сцены под звуки духового оркестра, играющего вальс.

* * *

МАША (*подходит к шкафу, открывает его, достает халат и набрасывает на плечи. Смотрится в зеркало, которое прикреплено на внутренней стороне дверцы шкафа*)**:** Извини, не выспалась. Комары... Откуда они взялись? Холодно уже. Всю ночь гудели!.. Одного хлопнула — кровь на обоях... Смотрю на пятно — и снова вижу этот кошмар... (*Пауза.*) Мокрый асфальт... Машина врезалась в дерево... И строчки из протокола — "Тойота цвета "мокрый асфальт"... (*Пауза.*) Сегодня в школу шла — камушек в туфлю попал. Так натер, что в медпункт ходила за пластырем. И все уро-

ки — сидя. (*Пауза.*) Кстати, об уроках... В десятом рассказывала об эпиграфах и вспомнила твоего Хемингуэя. "Килиманджаро — высшая точка Африки. Почти у самой вершины лежит иссохший мерзлый труп леопарда. Что понадобилось леопарду на такой высоте, никто объяснить не может". (*Долгая пауза.*) Что понадобилось тебе на сто первом километре, никто объяснить не может... Светка городит ерунду насчет самовара — будто ты в деревне маме в подарок присмотрел... Ну, а мама, конечно, уверена, что я тебя довела... (*Пауза.*) Скандал мне устроила, из-за дня рождения. "Праздновать нельзя, музыку нельзя... Почему ты в желтом?.." Твоя мать хочет, чтобы я надела траур и все время рыдала, как она... Но у меня муж живой! Я не вдова! И не хочу, чтобы Света плакала. Она должна нормально жить и ждать, когда ты вернешься... (*Пауза.*) А день рождения... Я позвала Николаевых и Вовку с Катей. Говорили о тебе. (*Пауза.*) Кстати, в последнее время мы чаще были с ними, чем наедине... Будто прятались друг от друга... (*Пауза. Маша ставит пластинку. Духовой оркестр играет марш. Маша направляется к выходу. В дверях останавливается.*) Возвращайся. Нам без тебя плохо. (*Уходит.*)

* * *

ИРИНА (*начинает говорить ровным тоном, будто заученный урок*)**:** Здравствуй. Как ты? У меня все хорошо, английский сдала. Сама. Наша англичанка денег не берет — не потому что честная, а потому что боится. (*Пауза.*) Что у меня еще? Записалась на аэробику. (*Пауза.*) Что еще? У нас в институте компания собирается в Крым... Но мама меня не пускает. Поругались... (*Пауза. Продолжает не таким натянутым тоном.*) Короче, я не знаю, что еще... Бабушка говорит: "Рассказывай, что у тебя происходит. Как в письме". Помнишь, как я тебе в детстве из лагеря писала? Сейчас так не напишу... Не про все хочется... Хотя за последний месяц я тебе рассказала больше, чем за последний год. Мы молчали после того... Ты знаешь, о чем я. (*Пауза.*) Когда я увидела тебя в ювелирном... Подумала, что серьги ты покупаешь не для мамы. И ушла, чтобы ты меня не заметил. Но когда ты пришел домой, поняла, что знаешь... что я знаю... И мы молчали. Ты боялся, что я спрошу. А я боялась, что начнешь объяснять... (*Пауза.*) Может, ты из-за этого и попал в аварию? Был рассеянный, постоянно думал... об этом... И мама, наверное, все знала. Она за последний год стала другой... (*Пауза.*) А может, мне кажется? И в магазине ты меня не видел. И серьги покупал кому-то на взятку?.. (*Пауза.*) Когда я первый раз сюда пришла, врачиха сказала: "Говори, он слышит. Зови его". Я пове-

рила. Что ты слышишь... Теперь сомневаюсь. Я боюсь, что ты так и будешь... лежать... и я уже не смогу верить, что я говорю не просто так... (*Пауза.*) Короче... Извини. (*Вытирает слезы. Пауза.*) Если вдруг не приду — не обижайся, это значит, я маму уговорила, и она меня отпустила в Крым. (*Ира ставит пластинку — звучит марш. Она идет к двери, останавливается на пороге.*) А сережки эти модные. Я здесь на одной медсестре видела... (*Выходит.*)

* * *

ОЛЬГА (*входит в палату. На ней белый медицинский халат и шапочка медсестры. Подходит к кровати, снимает шапочку, оглядывает комнату*)**:** Часов нет... (*Пауза.*) В других палатах есть, а здесь нет. (*Пауза.*) Свои сегодня утром разбила. Поскользнулась в ванной... (*Подходит к окну.*) Сколько сейчас?.. С каждым днем темнеет все раньше... Скоро твоя жена придет. Отсюда видно, кто в отделение заходит. (*Пауза.*) Интересно, что она тебе говорит? Наверное, вспоминает о прошлом. А я... Что вспоминать? Встречи по вторникам и пятницам... как у всех... Сначала — роман, потом — повесть... женатого мужчины и одинокой женщины. С таким неожиданным финалом... Как случилось, что тебя привезли именно в нашу больницу? Их в городе еще четыре... И на мою смену?.. Хотя есть других три. (*Пауза. Снова подходит к кровати.*) Врачи советуют: говорите с ним, чтобы он захотел вернуться. (*Пауза.*) Все эти беседы — чушь. Ты не слышишь. А если слышишь — это никак не влияет... Знаешь, зачем советуют разговаривать? Для родственников. Им так легче. Вроде, делом заняты... (*Пауза.*) "Вспоминайте прошлое, но только хорошее... Стройте планы..." Но ведь никто не следит, что мы тут говорим. Вдруг кто-нибудь из нас специально скажет плохое?.. (*Пауза.*) Пооткровенничает... насмерть... И никто не узнает. (*Отходит к окну.*) Темнеет... (*Пауза.*) Я позавчера встретила твою жену. Она посмотрела на меня и мимо прошла... Потом догнала, говорит: "Куда он ехал в этот день?". Я говорю — о чем вы?.. Она ушла. Молча. А что я могла сказать? Сама не знаю... (*Пауза.*) За неделю до этого сказала — выбирай. Между мной и ней... Ты неделю не звонил. А потом поехал выбирать между жизнью и смертью?.. И снова ничего не выбрал... Ни туда, ни сюда. (*Пауза.*) Теперь они приходят... Говорят... Плачут... Мне их жалко. И тебя жалко... И себя. Еще больше, чем вас. (*Пауза.*) Время остановилось... Хотя я все решила. Пока работаю. В марте уйду в декрет. (*Пауза.*) Не хотела тебе говорить про ребенка, но... Сказала так сказала...

Она ставит пластинку — духовой оркестр играет марш. Уходит.

* * *

НАТАША (*что-то шепчет, потом крестится, повернувшись к иконке, стоящей на тумбочке*)**:** Прости нам, Господи, прегрешения наши... (*Снова крестится.*) Полтора месяца... Я на сороковой день исповедаться ходила, батюшку спрашивала — как же твоя душа? Батюшка говорит — душа рядом... И видит все... (*Пауза.*) Эта женщина тоже здесь... Нехорошо. Грех! (*Пауза.*) А вообще... Наверное, и она с тобой говорит?.. Тоже ждет... (*Пауза.*) Мама рассказывала — когда я родилась, ты так ревел! Брата хотел. Потом сына, а родилась дочка... Не повезло — вокруг одни бабы. А может, повезло?.. Ты нам нужен! Вот мы тебя и не отпускаем. (*Пауза.*) А вдруг ты сам? Вдруг это не авария? Я в компьютере нашла твое письмо другу, в Москву... Прочитала, прости... Там слова: "Все надоело... Куда бы исчезнуть?.." (*Пауза.*) Неужели ты сам?.. (*Плачет.*) Нет, нет! Если бы ты сам захотел, зачем уезжать так далеко?! (*Пауза.*) Значит, просто так поехал. Поругался дома — и рванул за город, у речки посидеть. Как раньше ездили. Ты на траву ложился и в небо смотрел. Светка тебя спрашивала: "Пап, что ты там видишь? Сегодня даже облака не показывают...". (*Пауза.*) Хотела тебя в парк вывезти, а врачи не разрешают... Я тебе листьев принесу... Они сейчас так пахнут...

Затемнение.

* * *

Зажигается свет. Павел поднимается на пустую сцену.
Звонит мобильный. Павел достает из кармана телефон.

ПАВЕЛ: Алло. Слышно. (*Пауза.*) Да ничего, дела... Репетирую. (*Пауза.*) Исключено. Я из этого возраста вышел. (*Достает из кармана сигарету.*) Да, звонил. Перешел на генеральское "ты", спрашивал, сколько буду дурака валять. (*Достает зажигалку и закуривает. На сцене появляется Ирина. Павел, посмотрев на нее, продолжает говорить.*) А когда это решится? (*Пауза.*) В любой момент? Пожалуйста, узнай точно! Я перезвоню. (*Отключает телефон.*)

ИРИНА: Павел Андреевич... (*Замечает сигарету.*) Вы курить начали?

ПАВЕЛ: Балуюсь.

ИРИНА: Вас Петр Никитич вызывает.

ПАВЕЛ: Ира! Петр Никитич меня может только пригласить! Ладно... скажи, что сейчас приду.

Ирина уходит. Павел ставит пластинку — играет марш. Павел садится на кровать и набирает номер на мобильном. Затемнение.

Картина VII

Гримерка. Приглушенно слышна музыка. Входят Наташа и Ольга. Они, как и в первой картине, в платьях героинь "Трех сестер".

НАТАША: ...В зале сто человек, и все безрукие. Похлопать не могут.

Наташа садится за свой гримировальный столик. Ольга подходит к своему, но не садится, а рассматривает стол, потом проводит по нему рукой.

НАТАША: Ты чего?

ОЛЬГА: Что-то рассыпано... Пепел, кажется.

НАТАША: Может, Анфиса курила? Кстати, где она?

ОЛЬГА: Это Машка.

НАТАША (*смеется*): Ты что — Шерлок Холмс? По пеплу определяешь, чьи сигареты?

ОЛЬГА: Да при чем здесь сигареты! Она на меня порчу насылает!

НАТАША: Как?!

ОЛЬГА: Ведьма! (*Роется в ящиках своего стола.*) Это она из-за Павла! Ничего... (*Находит целлофановый пакет, сметает в него салфеткой пепел со стола и сует пакет под Машин стол.*)

НАТАША: Оль, ты чё творишь?

ОЛЬГА: Помнишь, она на мне "молнию" зашивала?

НАТАША: Когда?

ОЛЬГА: В допотопные времена! В тот день, когда Богомолов приехал... У меня теперь спина болит!

НАТАША: Из-за "молнии"? Не выдумывай!

ОЛЬГА: Ну, ничего... Она у меня получит! (*Достает из сумки бутылочку.*) Вот!

НАТАША: Змеиный яд?

ОЛЬГА: Святая вода! В церкви взяла.

Ольга льет воду на салфетку, вытирает стол, потом начинает брызгать водой по углам комнаты.

НАТАША (*раздраженно*)**:** Господи...

Ольга брызжет водой на дверь, в этот момент входит Ирина. Ольга обливает ее.

ИРИНА: Блин, что за номера?!

ОЛЬГА: Извини.

НАТАША: У нас тут... санобработка.

ИРИНА (*вытирает лицо ладонью, принюхивается*)**:** С хлоркой, что ли?

НАТАША: Со святым духом!

Ирина садится за столик, включает лампу, смотрится в зеркало.

ИРИНА: Размазала всё... (*Поправляет грим.*)

Входит Маша.

ОЛЬГА: Метлу за дверью оставила?

МАША: Какую метлу?..

ОЛЬГА: Ведьма!

МАША: Ты что, сбесилась?

ОЛЬГА: Подсыпаешь, да?!

НАТАША: Девочки, перестаньте...

МАША: Тебе что-то померещилось? Перекрестись!

ОЛЬГА: Уже!

Входит Анфиса с тортом.

НАТАША: Анфиса Михайловна, зачем? Официальные поцелуи — после спектакля.

АНФИСА: После — само собой. А сейчас — по кусочку. Чтоб силы были. А то не доиграем. (*Смотрит на Ольгу и Машу.*) Вы чего? Поцапались?

МАША: Ольге опять что-то мерещится...

АНФИСА: Сестрички, сегодня — перемирие! Завтра продолжите... Где у нас нож?

Ирина достает нож и тарелки. Анфиса режет торт. Маша закуривает, ищет куда стряхнуть пепел.

МАША: Где пепельница?

АНФИСА: Извините, девочки, разбила. Как раз перед выходом. Даже пепел собрать не успела...

ОЛЬГА: А осколки где?

АНФИСА: В корзине... А тебе зачем?

НАТАША: Посуда бьется к счастью!

МАША: Счастья у нас... до утра.

ИРИНА: А что? Вот закончим "Паузу", поедем на фестиваль! В Германию!

ОЛЬГА (*с иронией*)**:** Ирка слова перепутала. Было: "В Москву, в Москву...", а теперь — "В Бонн, в Бонн... На биеннале".

Анфиса раздает тарелки с тортом. Ирина незаметно выходит.

НАТАША: Кстати, спектакль будет называться не "Пауза", а "Антракт". (*Хочет взять у Анфисы тарелку.*) Ой, мне поменьше, поменьше... (*Выбирает другой кусок.*)

МАША: А мне — побольше! С розочкой!

АНФИСА: Ты же говорила, что торты не ешь.

МАША: Я уже толстею не от котлет, а от лет.

АНФИСА (*с тарелкой в руках, оглядывается*)**:** Куда Ирка исчезла?

ОЛЬГА: У нее вся жизнь — в антракте между спектаклями.

АНФИСА: Как и у всех нас...

МАША (*ест торт*)**:** Сладкий. Запить бы...

АНФИСА: Ой! Я минералку забыла!

Маша замечает бутылочку со святой водой, стоящую на столике Ольги.

МАША: Оль, дай глоточек.

ОЛЬГА: Пей на здоровье.

Входит Ирина. В руках у нее что-то, закрытое куском ткани.

ИРИНА: Дорогая Анфиса Михайловна! Раз мы уже начали праздновать... (*Ирина снимает ткань, под которой оказывается клетка с канарейкой.*)

ИРИНА: Она поет. По утрам... как во сне...

АНФИСА: Девочки! Ну... Господи! И деду будет развлечение. Как вы придумали?

ОЛЬГА: Это не мы, это Ирка.

АНФИСА: Спасибо! (*Целует Ирину, берет у нее клетку.*) Девочки! Сегодня в гримерке не курим! Птице вредно.

МАША: О-о-о... Общество охраны природы...

Раздается звонок мобильного. Наташа достает из сумочки телефон.

НАТАША: Да. (*Пауза.*) Я сейчас. (*Выходит из гримерки.*)

АНФИСА (*разглядывает птицу*): Ирочка, это мальчик? В смысле — самец? Ну, как это у канареек называется?

МАША: Кобель.

ОЛЬГА: Орнитолухи!.. Кенар.

Пауза.

МАША: Куда это Наталья?..

АНФИСА: К Добрыне, наверное.

ОЛЬГА: Чего он на прогоне такой мрачный сидел?

АНФИСА: Ревнует.

ОЛЬГА: Кого?

АНФИСА: Всех. Мы же — его хозяйство. А тут — чужой командует...

ОЛЬГА: Павел ему не чужой.

ИРИНА: Что значит — хозяйство? Мы что — крепостные?

АНФИСА (*смеется*): Дурочка... Мы не крепостные. Мы утварь.

МАША: Кажется, Петр Никитич краситься начал. Никто не заметил?

АНФИСА: Разве?

ОЛЬГА: Мне тоже показалось...

Звенит первый звонок.

МАША: Я все-таки думаю, что Павел сам эту пьесу написал.

АНФИСА: Почему?

МАША: Очень на него похоже.

АНФИСА: Я думаю, что не он. Просто режиссер ставит про себя.

ОЛЬГА: А мы играем про себя...

ИРИНА: И зритель смотрит про себя.

Входит Наташа.

НАТАША: Девочки, Павел Андреевич уехал...

МАША: Куда?

НАТАША: В Москву.

АНФИСА: Завтра не репетируем?

НАТАША: Он совсем уехал.

ОЛЬГА: Когда?..

ИРИНА: Как?!

МАША: А премьера?

НАТАША: Сказал, что Петя доставит...

МАША: Почему?!

НАТАША: Он толком ничего не объяснил.

Пауза.

ИРИНА: А как же мы?..

МАША: А что — мы? Утварь.

Пауза.

АНФИСА: Режиссер Иванов решил поставить "Гамлета". "Гамлет" у Иванова не встал... Ничего, девушки, не расстраивайтесь! Через двадцать лет опять приедет.

МАША: Подколесин хренов. Надлюбил и бросил...

ИРИНА: Кого?

Ольга вскакивает и выбегает из гримерки.

МАША: Всех нас...

ИРИНА: Куда она? На вокзал?

НАТАША: В туалет! Рыдать...

АНФИСА: А чего рыдать? Может, он ее завтра телеграммой в Москву вызовет? Может, ему в самом деле театр дали?

ИРИНА: Да? Если бы хотел в Москву забрать, стал бы он ее на роль назначать?

МАША: Как же она играть будет?

Пауза.

ИРИНА: А фестиваль?..

НАТАША: Какой фестиваль?! Вот вам... Мэтр!.. Правильно Петя говорит: заезжие режиссеры — шабашники от Мельпомены. Как в "Поминальной молитве": ждем Мессию, а приходит урядник... Явился! "Бомбу" ставить! Интервью раздал — и смылся. А доделывать все Пете...

АНФИСА: Ты же сама хотела, чтобы он уехал.

НАТАША: Мало ли чего я хотела... А он чего хотел? Чего он вообще приехал? Свою пьесу ставить? Или романы крутить? Что это за история? Неприличное название!

АНФИСА: Да утихни ты...

НАТАША: Нет, кто-нибудь понял, чего его сюда занесло?

Пауза.

МАША (*напевает*)**:**

Миленький ты мой,
Возьми меня с собой.
Там в краю далеком
Буду тебе чужой...

Пауза.

ИРИНА (*расстроенно*)**:** А как же Европа? Биеннале?

АНФИСА (*рассматривает подол платья, отряхивает его*)**:** Опять запылилось...

Слышен второй звонок. Маша направляется к двери.

МАША: Пойду Ольгу в чувство приводить. (*Наташе.*) Кто тебя за язык тянул? Радость распирала? Могла после спектакля поделиться... А если она на сцену не выйдет? Кто за нее играть будет? Ты? Сцена — не жизнь: две роли сразу не сыграешь. (*Выходит.*)

АНФИСА: И я пойду Ольку успокаивать... (*Ирине.*) Пошли. Чистый платок есть?

Ирина выходит.

АНФИСА: Антракт окончен. Наташа, не забудь шаль, как в прошлый раз... (*Выходит.*)

Наташа набрасывает шаль, поправляет прическу. Входит Петр.

ПЕТР: Где все?

НАТАША: В туалете. Ольгу утешают.

ПЕТР: Чего?

НАТАША: Истерика. Из-за Павла.

ПЕТР: Да... Друг мой заклятый... Еще записку передал, представляешь? (*Достает листок, читает.*) "...А пьесу доставишь. Не в пер-

вый раз. Теперь точно Госпремию дадут. Твой Павел". Нахал! Перебаламутил всех...

Третий звонок. Голос из динамика: "Занятые в первой картине второго акта приглашаются на сцену!".

ПЕТР: Что они себе думают?

НАТАША: Ничего не думают. Как обычно...

ПЕТР: А тебя кто за язык дергал?! Не могла конца спектакля дождаться? Сейчас придется деньги за билеты возвращать!

НАТАША: Кто о чем, а шелудивый о бане...

ПЕТР: Молчи, блин-президентша! Вечно впереди паровоза...

Голос из динамика: "Исполнительницы ролей Оли и Маши, на сцену! Актрисы, на сцену!".

НАТАША: Может, ты Ольгу утешишь? Хотя, в прошлый раз, как говорят, у тебя не получилось.

ПЕТР: Жаль, что не получилось!

НАТАША: А ты знаешь, я ее понимаю!

ПЕТР: В каком смысле?

НАТАША: Дома договорим. Я в туалет. (*Выходит.*)

Затемнение. Духовой оркестр играет марш "Прощание славянки".

Картина VIII

Зажигается свет. На сцене — финал спектакля "Три сестры". На авансцене — Ирина, Ольга, Маша, Анфиса и Наташа. Духовой оркестр продолжает играть марш.

МАША: О, как играет музыка! Они уходят от нас, один ушел совсем, совсем, навсегда, мы останемся одни, чтобы начать нашу жизнь снова. Надо жить... Надо жить...

ИРИНА: Придет время, все узнают, зачем все это, для чего эти страдания, никаких не будет тайн, а пока надо жить... надо работать, только работать! Завтра я...

ОЛЬГА (*перебивает Ирину*)**:** Музыка играет так весело, бодро, и хочется жить! О, боже мой! Пройдет время... (*Сбивается, не может говорить.*)

АНФИСА (*продолжает вместо Ольги ее монолог*)**:** Пройдет время, и мы уйдем навеки, нас забудут, забудут наши лица, голоса и сколько нас было, но страдания наши перейдут в радость для тех, кто будет жить после нас...

Вслед за Анфисой Наташа, Ирина и Маша продолжают монолог Ольги.

НАТАША: Счастье и мир настанут на земле, и помянут добрым словом и благословят тех, кто живет теперь.

ИРИНА: О, милые сестры, жизнь наша еще не кончена. Будем жить!

МАША: Музыка играет так весело, так радостно, и кажется, еще немного, и мы узнаем, зачем мы живем, зачем страдаем...

ОЛЬГА (*вновь найдя силы, завершает монолог*)**:** ...Зачем мы живем, зачем страдаем... Если бы знать, если бы знать!

Опускается занавес.

Одесса. Декабрь 2006 г.



Виталий АБРАМОВ

Неизвестное произведение Кандинского



Этюд "Купальня". Частное собрание. Украина

В 2000 г. в поле внимания Одесского художественного музея оказался небольшой этюд с изображением морского побережья и купальни. Основа — картон; техника — масло; размеры 27х17 см. На лицевой стороне справа внизу сигнатура — *В. Кандинскій*.

Произведение не зафиксировано в фундаментальных каталогах-резоне работ В. Кандинского[1]; не значится оно и в "домашних" каталогах художника, рукописные авторские варианты которых находятся в его архиве в Музее современного искусства Центра Ж. Помпиду в Париже. Таким образом, произведение (условно называемое далее "Купальня") до настоящего времени не вошло в научный оборот. Это обстоятельство вызывает необходимость концентрации возможно полных, объективных и документированных аргументов, которые позволили бы идентифицировать этюд как подлинное произведение великого художника.

Согласно короткой автобиографической справке, полученной автором этих строк от владелицы этюда Л.П. Шрамко (год рожд. 1913), у ее отца Павла Романовича Шрамко (умер в 1934 г.) было четверо сестер. Одна из них, Елена, была замужем за одесским греком — Николаем Ксида (Ксидас), который после революции занимался "мелкими финансовыми операциями", был "коммерсантом". Интересующий нас этюд принадлежал ему. В 1924 г. члены семьи Ксида эмигрировали в Грецию, где жили в Афинах, Пирее, Салониках. Этюд остался в Одессе, в семье Шрамко.

Уточнение сведений в Государственном архиве Одесской области (да-



МЕТРИЧЕСКОЙ КНИГИ НА 1909 г.

Очёта родившихся.		Мѣсяцъ и день		Имена родившихся.	Званіе, имя, отчество и фамилія родителей, и какого вѣроисповѣданія.
Мужеска пола.	Женска пола.	рожд.	крещ.		
—	3ч.	Мая 30.	Сентябрь 12.	Вергинія	Турецко-подданный Николай Іоаннова Ксидасъ и законная жена его Елена Романова урожденная Шрамкова, оба православные. — Восприемниками были Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ

Фрагмент листа метрической книги
с указанием фамилии Ксидас и Шрамко — владельцев этюда

лее — ГАОО) выявляет следующее: турецко-подданный Николай Иванович Ксидас был действительно женат на Елене Ивановне, урожденной Шрамко, о чем свидетельствует запись в метрической книге Греческой Свято-Троицкой церкви г. Одессы за 1909 г. о рождении их дочери Вергинии[2]. Таким образом, владельцами этюда являлись: Николай Иванович Ксидас (до 1924 г.); Павел Романович Шрамко (до 1934 г.); Людмила Павловна Шрамко (до 2000 г.). Ныне этюд находится в частном собрании (Украина).

Вопрос о том, как и когда "Купальня" попала в семью Ксидас, остается открытым. Мы можем только приблизиться к ответу на него.

Греки по фамилии Ксидас (Ксида), выходцы с острова Хиос, составили в Одессе, начиная с 1830-х гг. XIX в., большое разветвленное "древо"[3]. С одной из ветвей Ксида была связана семья Кандинских. После переезда в 1871 г. из Москвы в Одессу родители будущего художника разошлись. Его мать — Лидия Ивановна Кандинская (в девичестве Тихеева) — вторично вышла замуж за известного в Одессе купца и финансиста Михаила Михайловича Кожевникова (умер в 1913). От этого брака было пятеро детей, из них — одна девочка, Елизавета (год рожд. 1875)[4]. Все они, соответственно, — сводные братья и сестра Василия Кандинского. В 1900 г. Елизавета Кожевникова вышла замуж за грека Константина Константиновича Ксида (год рожд. 1871). К.К. Ксида окончил Одесскую рисовальную школу, а за-



Анонимный автор (Кандинский?)
Фотография 13-й станции. Вид с высокого берега

тем и Петербургскую Академию художеств (1891-1894)[5]. В адресно-справочных изданиях Одессы К.К. Ксида числился как "классный художник", но живописью занимался мало, о чем свидетельствует тот факт, что он не принимал участия ни в одной из известных нам художественных выставок. Он был успешным купцом, домовладельцем, общественным деятелем. Имел небольшую коллекцию произведений одесских художников — Г. Головкова, П. Нилуса, Е. Петрококино[6]. В Одессе у К. Ксида была мастерская — сохранились фотографии ее интерьера, с палитрой и картиной на стене. На этих фотографиях сняты Лиза Ксида, отец В. Кандинского и др. лица[7].

Во время почти ежегодных (а иногда — по несколько раз в год) приездов В. Кандинского из Мюнхена в Одессу, вплоть до 1916 г., он, посещая мать, жившую в семье дочери (ул. Скобелева (Еврейская), дом № 12), естественно, виделся с К. Ксида. Многочисленные подтверждения этого находим как в письмах В. Кандинского к Г. Мюнтер[8], так и в письмах матери к В. Кандинскому[9]. Связи В. Кандинского с семейством К. Ксида не прервались и позже, в эмиграции[10].

Итак, вернемся к этюду "Купальня". Нужно сказать, что в справочных изданиях и путеводителях Одессы начала XX в. приводится достаточно полная информация о купальнях, об их подразделении на частные и общественные, мужские и женские, о стоимости услуг, транспорте, который доставлял отдыхающих и дачников к пляжам и т. д.[11] Сюжет "купален" был весьма распространен среди одесских художников рубежа веков. Об этом свидетельствует даже беглый просмотр каталогов выставок. Только некоторые примеры: П. Нилус — "Вид Новой Швейцарии в серую погоду" (11-я выставка Товарищества южнорусских художников (далее — ТЮРХ), 1900), "Вид Большого Фонтана (Новая Швейцария)" (10-я выставка ТЮРХ, 1899), "Купальня" (собрание Одесского художественного музея); Н. Иванов — "Купальня"; П. Волокидин — "В купальне" (обе — 24-я выставка ТЮРХ, 1913). Многочисленные изображения купален в районе пляжей Аркадии, Ланжерона, Среднего и Большого Фонтанов

находим на старых открытках и фотографиях[12]. Рассматриваемая нами "Купальня" идентифицируется, как увидим далее, именно с купальнями в районе Большого Фонтана.



Почтовая открытка с изображением купальни на 13-й ст. Фонтана. Слева два больших камня, которые видны и на этюде "Купальня". Собрание А.А. Дроздовского

Перед нами натурный пейзажный мотив с изображением уходящей от переднего плана по перспективе вглубь и вправо, а затем резко влево ломаной линии морского берега. На среднем плане обобщенно решенное изображение свайного строения — купальни — с двускатной крышей. От нее к берегу ведет дощатый мостик. У острого выступа берега перед купальней — лодка с сидящим в ней человеком. Горизонт слева открыт, справа замкнут характерным силуэтом высокого мыса 16 станции Большого Фонтана. Именно этот силуэт мыса однозначно соотносится со старым фотографическим снимком этих мест, находящимся ныне в личном архиве Кандинского в Музее современного искусства Центра Ж. Помпиду в Париже (инв. № 290). Автор снимка не установлен, однако известно увлечение Кандинского фотографией. Он часто использовал фотографии и открытки как материал для своих живописных произведений. Отметим попутно, что именно фотографии из архива Кандинского являются для исследователей важнейшим источником, позволяющим идентифицировать его произведения, особенно те, которые по разным причинам выпадали из поля зрения, были подарены или проданы неизвестным лицам, утрачены и т. п. Примером может быть нашумевшая история с одной из самых ранних работ художника "Одесса. Порт" (ГТГ), первоначально известной специалистам только по двум старым фотографиям из архива Кандинского, — обнаружили ее значительно позже.

Между этюдом "Купальня" и вышеупомянутой фотографией есть одно отличие. Этюд написан непосредственно у кромки берега, а снимок сделан с высокой точки склона. На старой фотографии 1909 г. отчетливо виден мыс 16 станции Большого Фонтана. А на открытке, передающей вид этих мест, но с обратной по отношению к местонахождению художника при написании этюда стороны, видна та же купальня и два больших камня, изоб-



Фотография побережья Одессы в районе 13-й станции Фонтана, 1909 Собрание А.А. Дроздовского

раженных на этюде. Другим доказательством того, что В. Кандинский присутствовал именно в этом месте, является его письмо к художнице Г. Мюнтер от 28.09.1905 г. (Все цитируемые письма к Мюнтер находятся в архиве И. Айхнера и Г. Мюнтер в Городской галерее Ленбаххауз. Автор признателен сотруднику Музея современного искусства Центра им. Ж. Помпиду Джессике Буассель за помощь в ознакомлении с фрагментами одесской переписки В. Кандинского.) Итак, Кандинский пишет: "У Кожевниковых отдельная дача почти что вне города с большим очень красивым садом". Он рассказывает о дачной жизни, о том, как они рвали виноград на веранде, ловили рыбу, купались, играли в теннис. Здесь необходимо сделать существенное уточнение. Путеводители и адресно-справочные издания Одессы начала века подробно фиксируют владельцев загородных дач, но Кожевниковы в них не числятся. Тем не менее, Кандинский, отмечая в письме "У Кожевниковых отдельная дача", не ошибается. В его представлении Кожевниковы и Ксида — одна семья, семья его матери. Формально дачей владел старший брат Константина Ксида, Николай (род. в 1869). Она находилась, согласно карте побережья,[13] на высоком плато и значилась под № 86. На этой же карте обозначен и ряд дач, расположенных на самом краю обрыва, через дорогу от дачи Ксида. (В 1910-е гг. в результате многочисленных оползней они разрушились.) Так, напротив дачи Ксида была дача Гернета, на которой летом 1902 г. отдыхал И. Бунин, описавший эти места: "Каменный берег идет вниз /.../ море весь день шумит; непрестанно понижающийся и повышающийся шум и плеск... Вода у берегов зеленая, дальше синевато-зеленая, еще дальше — лиловая синева"[14]. Сейчас, если ехать из города, в этом районе из-за поворота неожиданно открывается замечательная панорама залива. В начале прошлого века здешние места были облюбованы одесскими и приезжими художниками и писателями, в том чис-

ле — П. Нилусом, Е. Буковецким, А. Федоровым. Там же, на 16 станции, около мужского монастыря находилась дача и мастерская "главы" южнорусских художников К. Костанди. Из города к дачам в те годы курсировал паровой трамвай[15], и в письме Г. Мюнтер от 26.09.1905 г. В. Кандинский упоминает о поездке за город "поездом". Дача Ксида сохранилась до начала 1920-х гг., и архивные документы позволяют фрагментарно восстановить ее облик. Это была большая по сравнению с соседними участками усадьба площадью 2033 кв. саженей. Кроме каменных и деревянных построек (4 флигеля, веранда) здесь были парк декоративных деревьев, фруктовый сад, виноградник, оранжерея, конюшня, теннисный корт[16]. В уже упоминавшемся выше личном архиве В. Кандинского в Париже сохранилось несколько фотографий анонимного автора, на которых изображены члены семьи Ксида и Кожевниковых в саду. На снимках видна часть веранды, плетеная дачная мебель[17].

Существуют и иные свидетельства пребывания В. Кандинского в этом районе. 3 сентября 1903 г., находясь в Одессе, художник в качестве крестного отца присутствовал при крещении своей племянницы, Лидии Константиновны Ксида[18]. Крещение состоялось в небольшой однопрестольной Константино-Еленинской церкви, построенной в 1901 г. на 16 станции Большого Фонтана неподалеку от дачи Ксида[19].

Таким образом, с достаточной степенью доказательности устанавливается место написания рассматриваемого нами этюда, а именно — район пляжа "Новая Швейцария".



МЕТРИЧЕСКОЙ КНИГИ НА 1903 ГОДЪ, ЧАСТЬ ПЕРВАЯ, О РС

родил.	Месяцъ и день		Имена родившихся.	Званіе, имя, отчество и фамилія родителей, и вѣроисповѣданія.	Званіе, имя, отчество и фамилія воспріемниковъ.
Число мѣсяца.	Сентябрь				
29	9.	3.	Лидія	Діакона Луки Гитченко Киевскій художникъ и военный иконописецъ законнаго Константина Константиновича Ксида и законная жена его Елисавета Михайлова, обое православные. Совершилъ таинство крещенія Діаконъ Лука Гитченко	Потомственный почетный гражданинъ Василій Васильевъ Кандинскій и Одесскаго купца дочь дѣвица Харитинія Константинова Ксида.

Фрагмент страницы метрической книги с записью о рождении племянницы В. Кандинского Лидии



К.К. Ксида. "Пейзаж с лодкой"
Фонд В. Кандинского. Париж

Обратимся теперь к фрагментам писем Кандинского, адресованных Г. Мюнтер, в которых он упоминает о своих занятиях живописью в Одессе.

26.X.1904 г.:[20] "Вчера я был на пляже, было великолепно, и я увидел отличные краски в воде, множество нюансов до нежнейшего зеленого цвета на берегу..." На рассматриваемом нами этюде берег решен в градациях светло-зеленого.

24.IX.1905 г.: "В понедельник на целый день я отправляюсь на природу, если будет хорошая погода. Я и Ксида будем рисовать. Я хочу его увлечь..." Отметим, что в личной коллекции Кандинского в Париже среди произведений, подаренных ему различными художниками, находится выполненный К. Ксида пейзаж "Лодки на пляже. Одесса"[21]. Работа не датирована и является единственным известным нам произведением этого художника. На переднем плане у кромки берега — лодка. Левее, за камнем, такая же, как в рассматриваемом этюде, купальня. Сравнение двух работ позволяет предположить, что К. Ксида работал над своим этюдом с другой точки, а именно — за небольшим мысом, отчетливо видимым на этюде В. Кандинского.

25.IX.1905 г.: "Вчера на море у меня было большое желание нарисовать цветные лодки. Может быть, сделаю это завтра..."

26.IX.1905 г.: "Перед отъездом за город я должен пойти на выставку, чтобы найти место для своих картин /.../ Нас едет 8 человек, среди них два художника (Ксида и я). У нас с собой ящики с красками..."[22]

28.IX.1905 г.: "Я нарисовал маленькую солнечную марину. Этот этюд взяла Шура..."[23]

Как видим, письма устанавливают факты работы В. Кандинского в Одессе с натуры над пейзажными этюдами, атмосферу их написания, окружение художника. И тем не менее, не позволяют с абсолютной точностью датировать этюд, оставляя хронологические рамки 1902-1905 гг.

Ранний период творчества Кандинского, вплоть до 1908 года — начала его "сидения" в Мурнау, — отличается стремительным освоением разных направлений современного ему искусства. В тематическом плане наряду с городскими и сельскими пейзажами, романтизированными всадниками и рыцарями или историческими ретроспекциями, художник часто обращался к маринистике.

Во время своих постоянных путешествий, отправной точкой которых был Мюнхен, Кандинский пишет порты в Одессе и Рапалло, многочисленные варианты озер в живописных предгорьях Альп (Кохеле, Кальмюнце), пляжи в Голландии и Тунисе. Пик приходится на 1905 г., когда художник выполняет десятки морских пейзажей в Рапалло. С этой точки зрения наша "Купальня" вполне вписывается в контекст его увлечений мариной. Характерна для Кандинского и техника исполнения "Купальни" — с использованием мастихина. К этой технике он часто обращался именно в ранний период творчества, начиная с упоминавшейся работы "Одесса. Порт", где наряду с кистью применялся и мастихин[24]. В письме художнику Д.Н. Кардовскому от 24 марта 1901 г. Кандинский отмечал, что шпатели (мастихин) "в масляных этюдах /.../ незаменимы"[25].



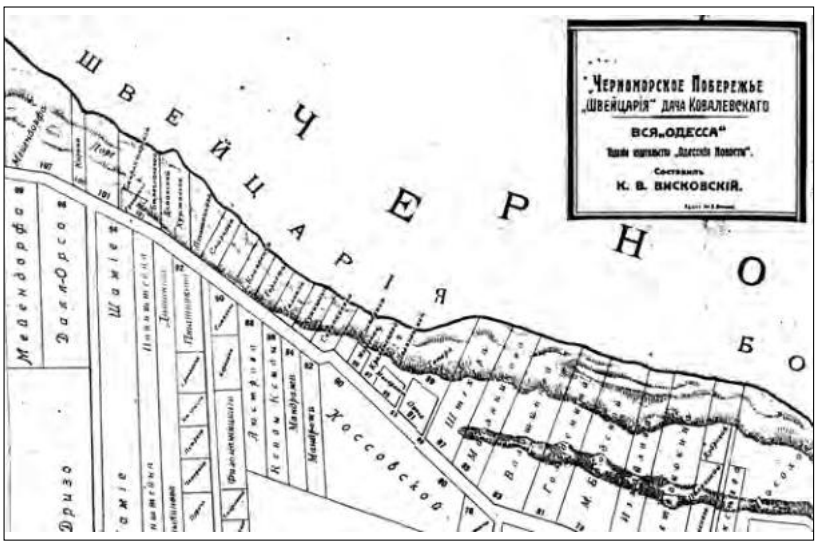
В. Кандинский. "Парусник на море" (1902?)

Наш этюд выполнен мастихином по картону без грунта. Фрагменты основы видны по периметру кромок. Аналогичный прием использован художником в небольшом этюде маслом на картоне "Парусник на море" из собрания Ленбаххауза (Мюнхен), который датируется исследователями приблизительно 1902 г.[26] Движения мастихина отчетливо прослеживаются. В моделировке форм волн — движения горизонтальные. Вдавленная мастихином краска имеет приподнятые края, что придает живописному слою особую фактурность, характерную для ранних работ Кандинского. Эффект подвижности поверхности воды усиливается тем, что художник оставляет незначительные горизонтальные фрагменты картона нетронутыми. В результате возникает сочетание холодных голубоватых и теплых охристых тонов. С целью идентификации манеры исполнения стоит сравнить "Купальню" с рядом ранних небольших натурных этюдов Кандинского — "Озеро Кохель с причалом" (1902, собрание Националь-

ного музея современного искусства им. Ж. Помпиду), "Озеро Кохель с лодкой" (1902, собрание Городской галереи Ленбаххауз). В последнем изображение маленькой лодки с фигурой человека идентично изображению лодки в рассматриваемом этюде. Или этюд "Мюнхен. Изар" (1901) из того же собрания с аналогичным построением замкнутого справа и уходящего от зрителя по перспективе вверх пространства. Подобные сравнения можно с легкостью продолжить.

В завершение наших рассуждений — еще один аргумент в пользу авторства Кандинского. Графика подписи на этюде соответствует одной из многих модификаций авторских сигнатур художника, а именно — подписи кириллицей на произведениях, выполненных им во время приездов в Россию, и на ряде работ, созданных в период с 1915 по 1921 г.

В. Турчин, один из наиболее авторитетных отечественных исследователей творчества Кандинского, в монографии "Кандинский в России" отметил: "...частое пребывание в Одессе почти не оставило следа в живописи, что особенно бросается в глаза при том, что Кандинский выбрал этот город как плацдарм для формирования нового искусства в России, участвуя в выставках Салона Владимира Издебского"[27]. И действительно, несмотря на активные контакты В. Кандинского с художественной средой



Фрагмент карты "Черноморское побережье. "Швейцария". Дача Ковалевского" Составитель К.В. Висковский

Одессы в течение долгих лет, с 1898 по 1914 г. (художник экспонировал здесь на выставках более 200 живописных и графических произведений, отразивших весь спектр его творческих поисков, опубликовал ряд своих эссе), известно всего два произведения, выполненных им в Одессе: "Одесса. Порт" (собрание ГТГ) и маленький этюд "Одесский порт" (1903)[28]. И если приведенные нами доводы покажутся убедительными, то этюд "Купальня" будет третьим сохранившимся живописным произведением В. Кандинского, созданным в Одессе. Вместе с тем, документальные источники позволяют установить, что таких работ было значительно больше. К примеру, только на выставках в Одессе (1898) и Москве (1901) художник показал несколько морских этюдов[29].

О создании Кандинским ряда работ в Одессе свидетельствуют и другие, пока не опубликованные документальные источники, найденные в последние годы. Но это — тема дальнейших разысканий и пристального изучения.

Примечания

[1] Roethel, H. and Bendgamin, J. Kandinsky. Catalog Raisone of the Oil Paitings. — London, 1982. — V. I, II; Barnet V.E. Kandinsky acuarelles. Catalog Raisonne. 1900-1921. — 1992. — V. I.

[2] ГАОО. Ф. 37, оп. 13, ед. хр. 774, № 34.

[3] Греки Одессы: Именной указатель по метрическим книгам Одесской Греческой Свято-Троицкой церкви / Белоусова Л.Г., Волкова Л.Г., Малинова Г.Л., Харковенко В.В. — Одесса, 2004. — Ч. I-IV.

[4] Год рождения Е. Кожевниковой (Ксида) установлен по метрической книге Одесского Спасо-Преображенского Собора.

[5] Кондаков С.П. Императорская Санкт-Петербургская Академия художеств. 1864-1914. — С.Пб., 1914. — С. 104.

[6] См.: Каталог выставки художников, бывших учеников Одесской рисовальной школы. — Одесса, 1900.

[7] Архив В. Кандинского. Музей современного искусства им. Ж. Помпиду. — Инв. 373, 377.

[8] См.: Hoberg Annegret. Wassily Kandinsky and Gabriele Munter. — Bonn, 1994.

[9] Письма находятся в архиве И. Эйхнера — Г. Мюнтер в Городской галерее Ленбаххауз (Мюнхен).

[10] Christian Derouet. Vassily Kandinsky, Correspondenses avec Zervos et Kojeve. — Paris, 1992. — P.156, 164, 168, 169.

[11] См., к примеру: Москвич Г. Одесса: Путеводитель. — Одесса, 1904. — С. 265-267.

[12] Открытка и фотография из собрания одесского коллекционера А. Дроздовского. Автор благодарит его за консультации.

[13] См.: Карта Черноморского побережья. Швейцария — Дача Ковалевского. — Вся Одесса. Сост. К.В. Висковский.

[14] Грин М. Устами Буниных. — М., 2005. — Т. 1. — С. 35.

[15] Открытка с изображением парового трамвая именно на 13 станции Большого Фонтана воспроизведена: Бунин в Одессе. Литературно-краеведческий справочник / Сост. Н. Панасенко. — Одесса, 2005. — С. 47.

[16] ГАОО. Ф. Р. 5215, оп. 2, ед. хр. 97. — Дело городского коммунального отдела. Управление дачами и пляжами. Из дела видно, что дача Ксиды в 1923 г. после денационализации арендовалась частными лицами и организациями. В деле упоминается о сносе теннисного корта.

[17] Инв. №№ 154, 155, 170, 173. Снимки датируются 1910-м годом — по возрасту племянниц В. Кандинского.

[18] ГАОО. Метрическая книга Константино-Елининской церкви. 1903 г. — С. 70.

[19] Церковь не сохранилась. См.: Кравченко А. Храмы и монастыри Одессы и Одесской области. — Одесса, 2001.

[20] Датировка писем по старому стилю.

[21] Одноцветная репродукция. См.: Christian Derouet, Jessica Boissel. Kandinsky. Collections du musees national d'art moderne. — Paris, 1985. — P. 465.

[22] Имеется в виду XVI выставка картин Товарищества южнорусских художников. Подробно в кн.: Абрамов В.А. В.В. Кандинский в художественной жизни Одессы: Документы и материалы. — Одесса, 1995. — С. 30-33.

[23] Этот фрагмент письма цитируется по изд.: Roethel H. and Bendgamin, J. Kandinsky. Catalog Raisone of the Oil Paintings. — 1982. — V. I. — P. 557: "Шура-Александра Кожевникова, жена сводного брата В. Кандинского, Владимира Кожевникова, погибшего в начале 1905 г." Местонахождение этюда неизвестно.

[24] Об этом см.: Винтурина М.П. К вопросу о живописной технике художника В.В. Кандинского // Кандинский: Каталог выставки. — Л., 1989. — С. 200, 201.

[25] Там же: Автономова Н.А. Письма В.В. Кандинского Д.Н. Кардовскому. — С. 28.

[26] Barnett Vivian Endicott. Vasily Kandinsky. A Colorful Life. — Bonn, 1995. — P. 61, 575. — В. Барнетт считает возможным и другое название этюда — "Рапалло", но насколько известно, в 1902 году Кандинский в Рапалло не находился.

[27] Турчин В. Кандинский в России. — М., 2005. — С. 214.

[28] Цветная репродукция. См.: Barnett Vivian Endicott. Vasily Kandinsky. A Colorful Life. — Bonn, 1995. — P. 117.

[29] Lebedeva I., Abramov V. Chronologie des expositions en Russie. (1898-1921) // Kandinsky et la Russie. — Martigny, 2000. — P. 273-275.



Валентин МАКСИМЕНКО

Вспоминая Юрия Дынова: из калейдоскопа памяти

С юности люблю оперу. Оперетта же не входила в круг моего зрительского внимания: отталкивали штампы увиденного на теле- и киноэкране, услышанного в радиопередачах и грамзаписи. Вот почему годами не переступал порог Одесского театра музыкальной комедии, куда буквально ломилась публика. Конечно, не мог не слышать о кумире почитателей жанра — Юрии Дынове, но относился к этому скептически, априорно думая о нем как о "душке", "помадной конфетке" для экзальтированных зрительниц.

Впервые увидел Юрия Зиновьевича в университетском Кабинете искусств, где оказался случайно, — по настойчивому совету доцента Б.Я. Барской. Дынов читал здесь свою пьесу о Пушкине. Ничего хорошего не ожидал, но пришел, если честно, лишь из уважения к Берте Яковлевне. Минут через 5-10 Дынов, сам того не ведая, не только преодолел мой скепсис, но и буквально взял меня в плен. Поборов смущение, поблагодарил его в конце встречи и неожиданно для себя пошел за ним, как за легендарным героем, уводившим зачарованных звуками своей дудочки. Но если тот вел к беде, то Ю. З. — в свой театр: "Ты (сразу "ты". — **В. М.)** никогда не был в оперетте?!". И он привел меня в зал того старого здания, которое ностальгически вспоминают вот уже третье десятилетие многие артисты и зрители.

Там уже шел "Севастопольский вальс", где меня сразу захватила искренностью Л.И. Сатосова — Любаша. Заметив это, Дынов улыбнулся и... растаял: его ожидали какие-то важные дела. Со мной осталась его полуулыбка. Так он щедростью своего человеческого таланта подарил мне еще один источник радости, а оперетте — еще одного почитателя (у нее, правда, проблем с этим не было).

В следующий раз мы случайно встретились в Доме актера. Ю. З. подсел ко мне как к старому знакомому и начал: "Ты...". Я не без смущения отвечал на его вопросы, конечно, употребляя "вы": разница в годах, любимец зрителей, а главное — Артист (это ощущение пришло сразу и навсегда).

Дынов на меня обиделся: "Зачем "вы"? Говори мне "ты"!". Было трудно преодолеть себя, и я прибег к безличной форме. Он это быстро уловил и заставил меня несколько раз кряду произнести "ты" и "Юра".

Позже он подарил мне еще и приобщение к таинству репетиций, приведя на прогоны мюзикла "Обещания, обещания", который у нас интересно ставил киевлянин Э.М. Митницкий. Познакомил с М.Г. Водяным (тот, в отличие от Юры, держал дистанцию), с М.И. Деминой, Л.И. Сатосовой, С.С. Крупником, В.М. Алоиным. Увлеченно рассказывая о мастерах, Юра попросил написать статьи о Семене Самойловиче и Викторе Михайловиче в связи с их юбилеями, о новой премьере. Последний материал опубликовали не только в Одессе, но и в Москве. Юра в спектакле занят не был, но радовался успеху коллег. Признаюсь, меня удивило, что он просил тепло написать о коллегах по театру (о себе — никогда, даже уклонялся). Такое было со мной впервые. Да и позднее не повторялось. Дынов был чуток к таланту других, а к себе, как мне казалось, относился не слишком серьезно. Нет, он знал себе цену, но его не отпускали неудовлетворенность, сомнения — спутники истинного таланта. Наверное, Юра не был лишен тщеславия, но я не замечал признаков этого.

При внешней открытости в нем ощущалась непрерывная работа мысли, самоуглубленность, нервная напряженность. Он легко увлекался, откликаясь на талантливое, даже на проблески таланта, старался, чтобы из малейшей искры возгорелось пламя.

Он был не просто неравнодушен, — он сжигал себя повышенной эмоциональностью. И еще удивлял доверчивостью: казалось, он верил почти всему, что ему говорили. Рассказывал о себе нелицеприятные вещи, не заботясь о впечатлении. Я думал: со всеми ли он таков? До сих пор не знаю точного ответа на этот вопрос. Он не хотел выглядеть лучше, чем есть (а ведь этим грешат почти все), ничего не "изображал", в отличие от многих, причастных к искусству.

За него было страшновато: ведь если человек так открыт, то при его очевидной ранимости это просто небезопасно — доверчивостью могут воспользоваться. И на моей памяти подобное случилось. Энергичный журналист разговорил Юру на сложную, болезненную тему и записал его рассказ на пленку, обещая использовать только то, что Дынов разрешит. А опубликовал все, что хотел. Как страдал Юра! (Не знаю, сколько здесь нужно было бы поставить восклицательных знаков.) Помочь ему оказалось невозможно: существовала пленка. Правда, журналист не назвал фамилию Юры: он написал об "одном старом артисте". Но когда в театре Юру спросили, кто давал злополучное интервью, он сразу признался, хотя ему было просто избегнуть неприятностей, ответив: "Не знаю". Не захотел или не смог?

Здесь же хочу уточнить. Даже тогда, когда Юра был в солидном возрасте и очень больным, я не воспринимал его старым. Внутренняя энергия, свежесть чувств как бы закрывали морщины, седину, физическую слабость. Для меня он был человеком вне возраста, как, например, С.Я. Лемешев, Ф.Г. Раневская, Т.И. Шмыга. Это — удел избранных.

В нем удивляло многое. По крайней мере, внешне он несерьезно относился к себе, своему творчеству. Сорил стихами: не всегда записывал, иногда терял. Не шлифовал, возможно, потому что не был уверен, что это кому-то особенно интересно. Обидно, что многие его стихи пропали. Но я рад, что сумел сохранить, а также разыскать у других 19 стихотворений Юрия Дынова. (В процессе поисков родилась мысль о книге: личность и творчество Юры не должны быть преданы забвенью, а ведь среди сегодняшних зрителей немало таких, которые даже не знают, кто такие Водяной, Дынов, Сергиенко... Есть материал на книгу, но, увы, нет спонсора.)

Пока не удалось найти сценарии бенефисов коллег, которые щедро, безвозмездно писал для них Юра. Помню, что он от имени своего театра приветствовал на торжественном спектакле "Паяцы" замечательного оперного певца заслуженного артиста УССР Нила Топчия. Приветствие было стихотворным, его наверняка написал он сам. Попытки отыскать этот текст пока тоже не увенчались успехом (может быть, кто-то из наших читателей поможет отыскать след?). Не сумел найти и его сценарии для двух филармонических программ.

Его стихи были почти всегда талантливы, но, по-моему, не всегда безупречны: их надо было совершенствовать. Его же интерес к сделанному угасал. Возможно, еще и потому, что на выходе были уже новые стихи.

Подчас он побаивался читать эпиграммы адресатам: герои были узнаваемы, даже если не упоминались их имена. Но многие не узнавали себя (хотя легко узнавали других!), как не узнают в записи собственный голос, как недовольны своим изображением на фотографии, кино- или телеэкране. Дынов был точен, как Валентин Гафт, но добрее, лиричнее что ли.

Он сорил идеями, хотя пишущие обычно этого не делают, опасаясь конкурентов. Так, например, открыто говорил о пьесе "Шут Балакирев", которую он, к сожалению, не сумел завершить (благо, сохранились стихи "балакиревского цикла"). Много позднее московский театр "Ленком" поставил одноименную пьесу Григория Горина. Наверное, Юра был бы рад, доведись ему узнать об этом.

...Получил от Юры большой подарок — знакомство с "леди жанра" Татьяной Шмыгой. Впрочем, это отдельный рассказ, а сейчас только вспом-

ню, как галантно, рыцарски он приветствовал ее, опустившись на колено, как радостно она отвечала ему, артисту во всем. Их роднило редкое обаяние таланта.

Он вообще умел дарить людей друг другу — редкое качество, присущее только щедрым талантливым людям.

Мне всегда казалось, что "беспокойный дух" — это и о нем. Он не знал душевного покоя, не умел расслабляться, отдыхать. Жил тревожно, в ожидании неприятностей. Был мнителен. Наверное, отчасти потому что предчувствовал большую беду (болезнь Паркинсона), которая позднее действительно пришла и мучила его около двух десятилетий, разрастаясь и постепенно отнимая жизнь.

Он умел слушать, воспринимать собеседника. Был чутким, благодарным зрителем. Мне рассказывали, что Юра плакал на спектакле оперы Аркаса "Катерина", когда заглавную роль исполняла Р.М. Сергиенко. Дынов бросился за кулисы благодарить замечательную трогательную певицу — актрису. (Знакомясь с дневником Раисы Михайловны уже после ее трагически раннего ухода, я прочел ее признание: "На каждом спектакле реву...".) Прибегал в оперный на "Мазепу", чтобы прослушать "Колыбельную Марии" в исполнении Галины Поливановой.

Юра щедро ободрял молодых. Так, Станиславу Ковалевскому, артисту следующего поколения, он подарил экспромт: "Даже в сером ты не сер, потому что в сердце сэр". Такое полушутливое признание Мэтра остается навсегда, согревая и воодушевляя.

Мудрость проникновения в человеческую психику подчас сочетается у артистов с непосредственностью, даже детскостью. Однажды Дынов рассказал мне о таком эпизоде. Для большей мужественности своего героя (если не ошибаюсь, речь шла о "Вольном ветре") молодой худенький Юра использовал небольшие ватные накладки на плечах. Михаил Водяной по ходу действия, положив руку на его плечи, как бы невзначай сдвигал накладки, не без удовольствия дезавуируя мужественность партнера. Юра не раз пытался воззвать к совести — безрезультатно, мизансцена повторялась. И он был вынужден перед одним из спектаклей подложить раскрытую булавку в накладку. Больше Водяной на сцене с ним не экспериментировал.

Никогда не ощущал в Юре недоброжелательства. Мне казалось, что он никому и ничему не завидовал, даже молодости, с которой трудно расставаться, когда она уходит к другим, покидая тебя навсегда.

Легко отдавал все, что у него было, легко одалживал деньги. Не врал,

не прибеднялся, удивляясь человеческой скупости: "Зачем? С собой не унесешь...".

Он удивительно влиял на окружающих, помогая людям чувствовать себя лучше. По-моему, рядом с ним даже весьма пожилые женщины ощущали себя девочками. (Раневская писала мне, что больно, когда тебе 81, а хочется ощущать себя 18-летней. "Старость — это невежество Бога", — заметила она.)

Юра был чуток к чужой боли. Когда умер мой отец, он пришел к нам после похорон и буквально на глазах добрым словом, теплым дружеским прикосновением смягчил горе матери. Она поверила его словам утешения и даже чуть посветлела.

Он баловал своего сына, разрешая ему практически все. Объяснял это тем, что опасается закомплексовать ребенка. Юра хотел, чтобы сын развивался гармонично, раскрывая все свои таланты. Я пытался отрезвить его. Он меня не понимал. Легко прощал сыну естественный эгоизм молодости. Он вообще умел прощать и ближним, и дальним.

Дынов щедро делился опытом с коллегами. Молодой талантливой актрисе Н. Э. говорил: "Как ты ходишь? Кого ты стесняешься? Ты — актриса, тебя должны хотеть". И учил ее, как нужно идти, слегка покачивая бедрами, улыбаться чуть загадочно и даже постреливать глазами.

Я тогда впервые осознал, что он глубинно прав, и не нужно отмахиваться от нерафинированной правды. Признаюсь, мне и сегодня непросто было решиться рассказать об этом эпизоде, но неожиданно помог авторитет Армена Джигарханяна. В одном из недавних интервью он сказал: "Артист не может быть вещью в себе. Он должен выйти, и его должны захотеть — таков закон сцены".

И самого Юру хотели или, скажем более сдержанно, желали, толпы поклонниц, осаждавших театр, одолевавших кумира на улице, не только воодушевляя, но мешая нормально жить и ему, и его близким. Он понимал неизбежность этого. Боялся невольных обид коллег, обделенных таким вниманием. Не разрешал выносить на сцену корзины цветов. Им недоставало места в гримуборных, их выставляли в коридор, а "друзья", проходя по коридору, "случайно" переворачивали их. Он не обижался.

Юра умел подать себя на улице: модный плащ, многим памятная белая шляпа, красивый костюм. Все слегка небрежно, даже чуть неаккуратно, но на редкость естественно. В нем ощущался артист, но никогда — поза.

В упоминавшемся интервью Армен Борисович говорит, что у него "нет зуда премьер, рецензий". Сколько артистов страдают этим недугом! И чем

менее значимы они творчески, тем глубже эта болезнь. Юру не задевали подобные, по сути, мелочи. Мне казалось, что он вообще был равнодушен к официальным знакам внимания. Юра мог выйти на сцену даже в третьем составе, но это не мешало ему установить контакт с публикой. И достигать его он мог на самом скромном драматургическом материале. Для успеха Дынову не нужно было проекции на свою работу достоинств персонажа или даже мастерски выписанной сценической ситуации.

Вы, уважаемый читатель, наверное замечали, как нередко аплодируют после спетой арии Штраусу, Бизе или Масканьи в большей мере, чем исполнителям: срабатывает эффект узнавания прекрасного, перекрывающий несовершенства интерпретации. Успех Дынову обеспечивал его Талант, который подчас даже преодолевал недостатки "оригинала".

Он не боялся соперников (как эта болезнь распространена в мире искусства!), может быть, потому что у него их просто не было даже среди самых талантливых коллег. Как ни странно на первый взгляд, их нет у него по сей день, спустя почти два десятилетия после ухода Дынова со сцены: он оставил после себя вакансию "героя" в сердцах тех, кто видел его. Часто приходилось слышать после нынешних спектаклей (называть их не стану, чтобы ненароком никого не обидеть): "Это не то! Вот у Дынова...".

Он был поразительно чуток. Когда Юра уже тяжело болел, мы с женой зашли в его дом. Юрины руки — нет, не лежали, а тремолировали на столе. Видеть это было больно. Моя жена стала инстинктивно гладить их. Он благодарно положил поверх ее рук свою голову. И нам показалось, что руки Юры если не успокоились, то, по крайней мере, стали значительно менее беспокойными...

Я приходил к нему днем, когда он оставался совсем один. Ему уже очень трудно было самому даже принять лекарство: мешало сильное дрожание рук. Он переживал, что огорчит жену, если забудет принять дорогое с трудом добытое лекарство или — не дай Бог — прольет его, либо таблетка упадет на пол. Радовался советам, как преодолевать сопротивление организма совершению самых простых действий. Трогательно благодарил за любую помощь. Сердце обливалось кровью, когда видел это.

Не раз он говорил: "Неужели я так грешен, что Бог, наказав тяжелой унизительной болезнью, не хочет забрать к себе? Невыносимо заедать век ближним: они же не виноваты ни в чем...".

Но и в этом состоянии его посещала муза. Рождались хорошие стихи.

Юра очень огорчился смертью З.Г. Дьяконовой. Он посвятил ей отличное стихотворение. Я уговорил Юру прочесть его в Доме актера на со-

брании Театрального общества, посвященном памяти Зинаиды Григорьевны. Юра стоял у сцены вполоборота к залу, почти вцепившись в кафедру. Он в последний раз в жизни встречался с публикой. В стихах Юры речь шла о номере телефона З. Г. — "телефона доверия". (Ей он неоднократно читал фрагменты пьесы, новые стихи.)

Его спасала от отчаяния последняя возможность — творчество.

"Лишь ты один, мой стих крылатый,
Меня выводишь из пике".

Горжусь его автографами:

"Лучшему другу в лучшей роли" (на фотографии он — Эдвин), "Ты — мой праздник". Писать ему было очень трудно: буквы выведены дрожащей рукой, плохо приставлены одна к другой. Писал он долго, каждая буква тяжело давалась ему.

Я не настолько наивен, чтобы принимать эти Юрины слова буквально. Наверное, он мог так написать не только мне. Конечно, в его посвящениях была и экзальтированность артиста. Его слова лишь значат, что я не был безразличен ему и сумел хоть немного облегчить его существование в тяжелые минуты. К сожалению, у него таких минут было много, слишком много...

Признаюсь: я не знал Юру в годы его актерских триумфов, но мне посчастливилось прикоснуться к Таланту, Личности.

Дважды я сумел невольно удивить его.

Впервые, когда спросил: "Юра, пьеса о Пушкине — это и о тебе?". Он вздрогнул: "Как ты догадался? Я никогда бы не написал ее, не доведись мне страдать". (Позднее я нашел у Андрея Миронова: "Человеческая драма, горе обогащают в нашей профессии... Это ужасно".)

Во второй раз: "Почему ты сам не сыграл Пушкина?". Юра: "Я мечтал об этом. Знаю, что был бы хорошим Пушкиным, но не мог обидеть Володю Наумцева, репетировавшего эту роль. Он понимал, что это его звездный час, и пригрозил мне, что покончит с собой, если я буду играть Пушкина даже в очередь с ним".

Артистическая душа Юры приняла эту угрозу всерьез: он был мудр и наивен, эгоистичен и альтруистичен одновременно. Он умел СОчувствовать и СОпереживать. И отступил, совершив, по-моему, подвиг. И самую большую артистическую ошибку.

Он был Артистом и оставался им всегда, независимо от своего формального статуса.

...Юра в больнице. Пришел его проведать. Просит написать статью об одном артисте. Отказываюсь: не могу. Он пишет сам, считая это своим

долгом перед коллегой, отмечающим юбилей. Обстоятельства складываются так, что Юра не может опубликовать материал под своим именем. Легко дарит статью другому очень известному человеку, за подписью которого она появляется на свет. Юра не ревнует к успеху.

Он умел в каждом человеке, даже самом плохом "в общем мненьи", найти что-то хорошее, достойное похвалы. Не брал на себя роль судьи, имеющего право на приговор. Не любил осуждать. А ведь нередко, хуля других, человек возвышается в своих глазах, наивно полагая, что возвышается и в глазах других.

Ни разу не слышал от него чего-то недоброго, предосудительного о его женах. Перед каждой считал себя виноватым, жалел их. Сочувствовал. И винил себя за многое.

Мне казалось, что для него не были особо существенными знаки официального признания. Никогда — при мне, по крайней мере, — не гордился тем, что "заслуженный". Это звание он носил по праву, но с иронией вспоминал отнюдь не творческие обстоятельства, сопутствовавшие его присвоению. Не сожалел, что не удостоился "народного", хотя был одним из самых популярных артистов в городе. А может быть, именно поэтому.

В нем непрерывно происходила работа мысли. Он жил созиданием.

Чурался похвал. Не нуждался в лести, этой вечной подпитке многих артистов. Мне всегда казалось, что он всему знал цену, но не стремился говорить об этом.

Я много думал о том, почему Юру так любили зрители. И, кажется, ответ нашел у Михаила Чехова: "Публика всегда, сознательно или бессознательно, за образами, созданными актером, видит того человека, который этот образ создает, оценивает его. И от того, приняла или не приняла этого человека, зависит возможность возникновения и сам характер связи между актером и публикой".

Наверняка я смутил бы Юру патетикой, но не могу не сказать, что он дарил себя людям в каждом герое, в каждом стихотворении, в своей уникальной пьесе. Ему было что дарить. И делал он это со щедростью истинного таланта. Люди радовались каждой встрече с ним, потому что она делала нас немного лучше, светлее, хотя ни он, ни мы не задумывались над этим.

Он просто отдавал нам то, чем одарила его природа и судьба.

Борис Гребенщиков говорил:

"У некоторых сердце поет,
у некоторых — болит".

Сердце Юры и болело, и пело. И после ухода Артиста мы продолжаем

слышать сердцебиение Таланта в его строчках, в своей памяти, благодаря судьбу за встречу с ним.

Когда я завершал работу над этим материалом, на столе лежал томик Владимира Рецептера, в котором поразили своей точностью и созвучностью теме стихи:

Актерский цех, неистребимый цех,
Рисковое, непонятое племя,
Ему дороже хлеба был успех
И в прошлое, и в нынешнее время!

Охальники, певцы, говоруны,
Искатели опасных приключений —
Все от рождения приговорены
К публичной казни перевоплощений.

Они уйдут в дороги и в века,
Чтоб песнями и ладными речами
Толкать к хорошей жизни бедняка,
Гнать богача картонными мечами,

Чтоб их не сочиненная игра
Была б до слез или была б до смеха,
Чтоб раздавать целковые добра,
Беря взамен полушками успеха.

Это же и о Юре Дынове: "...раздавать целковые добра, беря взамен полушками успеха".

Он ушел из жизни пять лет назад в далеком Ричмонде, где надеялись, но не смогли помочь ему. Он остался в нашей памяти.



Ольга КОТОВА

Думы о творчестве и биографии

Любовь – основа... и любому деланию тоже. Творение удается тогда, когда долго вынашивается и делается на одном дыхании. Хорошими художниками не рождаются, а становятся иногда... Вкусы могут меняться, а духовный стержень остается. Что бы ни изменялось, а Живопись остается. Искусство или есть, или оно не искусство.

О древе генеалогическом знаю немного: прабабушка Ольга, в честь которой меня назвали, у которой муж был Владимир, радовалась, когда в церкви поминали вместе великую равноапостольную княгиню Ольгу и великого князя Владимира. У нее было три брата: один стал белым офицером, другой красным, а третий — директором оперного театра. Прадедушка Владимир был внебрачным сыном барина и кухарки. Ему дали хорошее образование. Работал он переплетчиком и был мастером на все руки. Ходил он с тросточкой, а усы завивал кверху и был красавцем. Бабушка верила гадательным картам, и если рядом с дедушкой выпадала червонная дама, дома дедушку ждала буча. Еще дедушка рисовал в альбоме. Эта особенность передалась моей маме, потом моему старшему брату, а потом перекочевала ко мне. Хотя и папа рисовал тоже. Но серьезно этим делом он увлекся, когда вышел на пенсию и сказал: "Вот теперь начнется настоящая жизнь...". Нарисовал он сто картин, потом написал пять книг (самиздат), а сейчас изучает английский язык.

Любовь к прекрасному, надо полагать, зародилась у меня еще в утробе матери, когда она беременной ездила в Италию. Потерев стопу (возможно, св. Петра, уже изрядно истертую), она загадала, чтобы родилась девочка. И вот родилась, в белой рубашке. Первые звуки "абу, агу" были направлены к итальянке на картинке, висевшей над кроватью: так переплелись культура и жизнь.

Первый интерес к музыке испытала вскоре после рождения, когда мама, не зная, что бы сделать, чтобы ребенок взял грудь, запела: "Черноглаа-зая каза-а-чка подковала мне коня...". Тут же стала есть. Это пресекла бабушка, которая ставила одновременно пластинку (например, с "Бременскими музыкантами") и тарелку с манной кашей и уходила. А возвращалась, когда то и другое заканчивались. В детстве еще нравилось болеть, потому что тогда мама доставала волшебный диапроектор с диафильмами и, натягивая белую простынь, творила чудеса. Еще, помню, был кукольный театр.

Первые уроки рисования прошли еще во младенчестве, когда родители, не зная, чем занять, подсунули альбом и разноцветные карандаши. Открылся чудесный мир искусства, который затмил реальную жизнь в старом домике на Молдаванке. Летним теплым вечером по Молдаванке внезапно запрыгали солнечные зайчики.

В Греции, где я училась с Андрюшей Чаркиным и Ларисой в Афинской академии художеств, мы по пятницам обычно смотрели передачу "Одесса — родина эллинов". Греки говорили: "У вас такая красивая Одесса! Что вы делаете в этих Афинах?". Мы задумались — и вернулись на родину.

Попала во французскую школу, и в последнем классе, когда в связи с перестройкой, открылись границы, мы по обмену следовали в Клермон-Ферран через Париж. В Париже, когда мы пробегали по Лувру, нас задели Делакруа и Энгр. Со временем Делакруа остался, а Энгр ушел — так живопись восторжествовала над рисунком. В музее д'Орсей напугал Ван Гог и поразил Лотрек. А в сознательном возрасте, уже после Врубеля, Коровина, нахлынули импрессионисты.

Гораздо позже, попав в Париж на стажировку "Открыть современное французское искусство", помню, когда вошла в Лувр, как обычно, с этюдником, остановили у входа: "Вы копировать?". "А что, можно?" — по-одесски ответила вопросом на вопрос. "Можно, но нужно разрешение". Оказавшись перед хрупкой очень красивой женщиной с мужским голосом, объяснила все. Та тут же выдала разрешение рисовать и писать акварелью, а с маслом пришлось ждать. Вот. Ну, конечно, поразил в Лувре Коро — шикарный. Вермеер — о да! "Джоконда" как-то не произвела должного впечатления. Рембрандт, Рафаэль, Караваджо, Де ла Тур.

Потом — Венеция: Тициан, Веронезе, Карпаччо, Джорджоне! Флоренция — галерея Уфицци — Боттичелли, Веласкес! Как-то слились воедино Франция, Италия, Испания, Голландия — мэтры живописи.

Еще посчастливилось побывать в Экс-ан-Провансе, где все пропитано Сезанном. Идешь по тротуару: там золотая бляшечка — Сезанн. Смотришь по сторонам — кафе "Поль". В Музее Сезанна наблюдала сцену: дедушка из группы пожилых американских путешественников, зацепившись о порог и ввалившись в зал, чуть не разбил знаменитую бутылку Сезанна. К нему подбежала служительница музея, он вежливо объяснил: "Благодарю, я не ушибся", — не заметив, что чуть было не грохнул сокровище Сезанново.

Выдали карту с обозначение тропы, по которой Сезанн обычно ходил на этюды. Со смотровой площадки видна гора Сен-Виктуар, а рядом —

семь огромных репродукций Поля Сезанна — так, чтобы каждый турист сказал: "А что, похоже", — многозначительно кивнув головой.

Затем попала в Падую, где Джотто ошеломил цельностью композиции. (Вот и в искусстве ценю то, что не кстати, а здорово!) В Музее Моранди в Болонье понравился круглый бутафорский стол с искусственными цветами и раскрашенными бутылочками. О работах фарфоровых говорить не смею, и так все ясно.

Опять — провал в детство, когда весенним утром ветерок поддувает платье. И тут до тебя докатывается весь ужас жизни: "И ты умрешь, и ничего не останется?". С этих пор начинается мучительный поиск: "А зачем?.. А почему?.." и т. д.

Переворотом в судьбе стало ОГХУ. Попав в родственную среду таких же сумасшедших, расправив крылья, через время испытываешь чувство полета, сравнимое с ощущением в детских снах.

Лежа на крыше художественного училища, созерцаешь полеты голубей и читаешь Камю, смотришь сверху на всю эту маленькую жизнь — с Одессой, морем, корабликами, оперным театром... В детстве, когда нашкодишь, бабушка в "темную" сажала, — а ты поплачешь, успокоишься и смотришь на окна соседнего дома. И такая там жизнь интересная: с кактусом на окне, обитателями дома, котами...

Однако скачки с поднебесья в подземелья чрезвычайно трудны для неокрепших душ. А посему каждый человек со временем определяется: либо он с Господом, либо... Иногда помогает ангел-хранитель, беря тихонечко за руку или подталкивая. И что это за чудо, когда жизнь земная обретает смысл! Художнику иногда проще почувствовать через иконы Что-то. Конечно, мы, убогие, иногда забываемся, но Господь вразумляет через все в этом мире. А что там? А может, лучше и не знать пока что.

А сейчас тридцать три. Время подведения итогов. Жизнь ведь так коротка. Порог вечности.



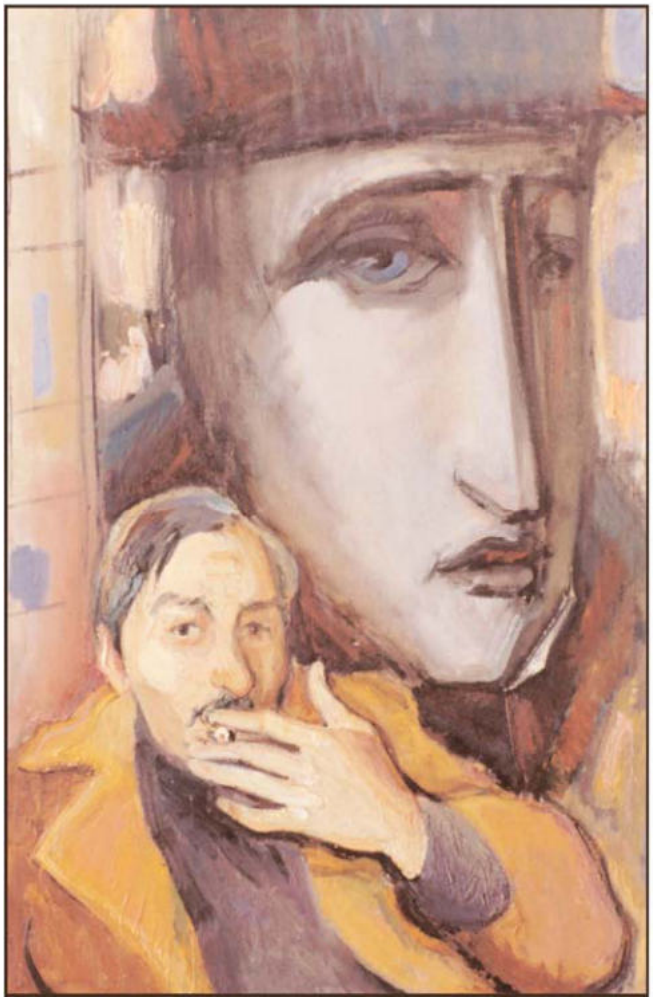














Ирина КАСАЦКАЯ

"Попечитель, благотворитель, меценат"



Имя художника-мариниста Алексея Ганзена, 130 лет со дня рождения которого исполнилось в этом году, нельзя отнести к числу забытых. Внук и ученик великого "певца моря" Ивана Айвазовского, талантливый и плодовитый живописец, состоявший при министерстве морского флота России, он упоминается во многих словарях и исследованиях по русскому искусству. И вместе с тем, до недавнего времени сведения о нем ограничивались скупыми биографическими данными. Напомним основные моменты. Алексей Васильевич (Вильгельмович) Ганзен, сын дочери Айвазовского Марии, родился в 1876 году в Одессе. Учился в Новороссийском университете на юридическом факультете. Начиная с 1901, много времени проводил за границей, там же завершил художественное образование. Жил в Петербурге, Старом Крыму, часто бывал в Феодосии и Одессе. В Одессе с 1898 года он принимал участие в выставках южнорусских художников, а в 1919-м стал членом товарищества. Много лет мечтал Ганзен открыть в родном городе музей-галерею современной живописи – на основе собственного обширного собрания. По каким-то причинам эти планы не осуществились.

В 1920 году вместе с женой Олимпиадой Мурузи Ганзен эмигрировал. Почти все связи с Россией оборвались. В Одессе осталась прекрасная коллекция живописи, о судьбе которой ничего не удалось узнать до сих пор (историей несбывшегося музея и утраченной коллекции специально занимался искусствовед Виталий Абрамов). Но жизнь продолжалась и в эмиграции, художник работал, провел целый ряд выставок в разных городах Королевства СХР (Югославии), в Праге, Париже, Риме, Бухаресте, Буэнос-Айресе. Его картины приобретали короли Румынии и Югославии, королева Италии, правительство Чехии. Умер художник в 1937 году в Дубровнике.

С начала 1990-х годов стали появляться статьи его правнучки, историка из Брянска Ирины Касацкой, о жизни и творчестве художника. Много лет она по крупицам собирала материалы не только о Ганзене, но и о других членах этой удивительной семьи – начиная от Айвазовского и кончая живущими ныне в разных странах его потомками. Год назад Касацкая выпустила в Брянске небольшую, но очень насыщенную информацией книжку "Ху-

дожник-маринист Алексей Ганзен. Потомки И.К. Айвазовского: жизнь, воспоминания, род". Длительная кропотливая работа в архивах, музеях, библиотеках, переписка и восстановление родственных связей, энтузиазм исследователя и поистине благоговейное отношение к предшествующим поколениям семьи помогли Ирине Касацкой не только реконструировать биографии Ганзена и его близких, но и (с помощью представителей зарубежных ветвей) выстроить родословное древо – от Айвазовского до наших дней. "Это мой долгожданный прорыв, который позволит сегодня расставить все точки над "i" в установлении подлинной информации об Алексее Васильевиче Ганзене и других потомках рода Ивана Константиновича Айвазовского", – так определяет значение книжки автор.

В августе этого года И.Ф. Касацкая исполнила свою давнюю мечту – побывала в Одессе. Ей, знавшей адреса прадеда только по документам, очень важно было увидеть все собственными глазами. И конечно, она подарила свою книжку – библиотеке им. Горького, Художественному музею, областному архиву. Ниже мы публикуем главу, которая рассказывает о почти неизвестной до сих пор стороне деятельности А.В. Ганзена.

Ольга БАРКОВСКАЯ

События в политической, экономической и культурной жизни России конца XIX – начала XX века раскрыли и обозначили целую плеяду людей, для которых участие в организации помощи детям, больным и престарелым стало одной из целей жизни, их опыт заслуживает внимательного изучения сегодня. Благотворительность, попечительство и меценатство стали новой ступенью в саморазвитии, творческой деятельностью, сделали этих людей известными в обществе, их имена вошли в историю Отечества.

В этой связи большой интерес представляет исследование портрета Алексея Васильевича Ганзена как человека, имеющего "чуткое восприятие чужих душевных состояний" и открытость души в отношении к чужому "я".

Ганзен предстает как человек, сумевший своей деятельностью объединить попечительство, благотворительность, меценатство и в одном лице представить три ветви мощного русского дерева, название которому "Забота".

Кроме того что Алексей Ганзен известен как художник-маринист, художник Морского министерства флота России, профессор, коллекционер и меценат, он был, как было сказано ранее, Почетным членом Одесского городского, Шлиссельбургского уездного и Петроградского городского попечительств детских приютов.

Послужной список Алексея Васильевича Ганзена, хранящийся в фондах Центрального Государственного исторического архива Санкт-Петербурга,* начинается с его прошения от 9.11.1911 г. в Петербургский Совет

*ЦГИА. СПб. ф. 411, оп. 3, л. 799

детских приютов. "Желая содействовать благотворительной цели детских приютов", он просит о переводе его в число Почетных членов Санкт-петербургского Совета детских приютов, причислив к Комитету для сбора пожертвований, и обязуется "ежегодно вносить взамен установленного членского взноса картины (в рамах) своей работы на сумму триста рублей". При этом он оставался в должности Почетного члена Шлиссельбургского уездного Совета детских приютов, на которую был назначен 29 ноября 1910 года. К этому времени он более десяти лет прослужил в Одесском городском Совете детских приютов.

Кроме наград, полученных в период его службы по Ведомству учреждений императрицы Марии, есть еще и неприметная благодарность от императрицы Марии Федоровны "за оказанное пожертвование в пользу Шлиссельбургского уездного Попечительства детских приютов" (17.12.1910).

Благотворительность — черта, унаследованная Алексеем Ганзеном от отца и деда. И.К. Айвазовский не только был великолепным живописцем, но и "крестным отцом" большей части населения города Феодосии, попечителем женской и мужской гимназий. Железная дорога и морской порт, раскопки скифских курганов и Археологический музей в Феодосии, вода в городе из имения художника, галерея для бесплатного посещения. Невозможно огласить весь список того, что удаюсь сделать одному человеку и чего хватило бы на несколько жизней. Недаром на склепе И.К. Айвазовского сделана надпись: "Родился смертным, оставил по себе бессмертную память".*

О том, что отец Алексея Ганзена стал для него примером в благотворительной деятельности, говорит тот факт, что, имея небольшую коллекцию картин, среди которых были работы Эберле, Рафальта, Менацци, Мещерского, Балестеро, Айвазовского и других художников, Вильгельм Львович Ганзен постоянно участвовал в проводимых в Одессе благотворительных выставках картин, доход от которых шел в помощь бедным, голодающим либо детям.

"Искусство имеет свою сферу влияний на человека. Оно как бы призвано оберегать эту "душу", не допускать, чтобы она засорялась скверной житейской. Искусство сродни молитве".** Не случайно поэтому картины Алексея Васильевича Ганзена несли добро людям.

* V век. Мовсес Хоренаци. / Ш. Хачатрян. "Айвазовский: известный и неизвестный". Самара, 2000, с. 25.

** Нестеров М.В. Продолжаю верить в торжество идеалов (письма к А.В. Жиркевичу) / ж. "Наше наследие" № 3, 1990.

Людей, знавших Алексея Ганзена, поражала "...быстрота, с какою на белом холсте появлялся живой трепещущий морской ландшафт, преемственно унаследованная от деда. Много позже, когда Ганзен переехал в Петербург, на "пятницах Куинджи" и на понедельниках акварелистов он в час с минутами заканчивал довольно большие марины для благотворительного аукциона в пользу бедных и престарелых художников".*

"Понедельники акварелистов" — есть не что иное, как общество художников "Мюссаровские понедельники", которое было образовано с целью оказания помощи собратьям по творчеству. Благотворительная деятельность, лежащая в основе целей данной организации, строилась на устройстве благотворительных аукционов, сеансов совместного рисования, художественных лотерей. Собранные средства от продажи картин и лотерей были основой благотворительной помощи.**

Документы, хранящиеся в Российском государственном архиве литературы и искусства, дают возможность предполагать, что благотворительная деятельность Алексея Васильевича Ганзена в обществе "Мюссаровские понедельники" была весьма активной.***

Говоря о том, что Алексей Васильевич Ганзен в своем лице является представителем попечительской, благотворительной и меценатской деятельности в России начала XX века, имелось ввиду и то, что он был почетным членом трех попечительств детских приютов, и то, что оказывал благотворительную помощь бедным и престарелым художникам. Кроме того, в дореволюционный период издательство "Новое время" выпустило серию открыток с репродукциями картин А. Ганзена, доход от которых пошел в пользу Любанского общества попечения о бедных.

Интересной деталью является то, что на обратной стороне открыток имеется символика Любанского общества попечения о бедных, воспроизводящая символ детского призрения — птицу, кормящую птенцов.**** Это дает основания предполагать, что данное общество ставило своей целью призрение детей из бедных семей.

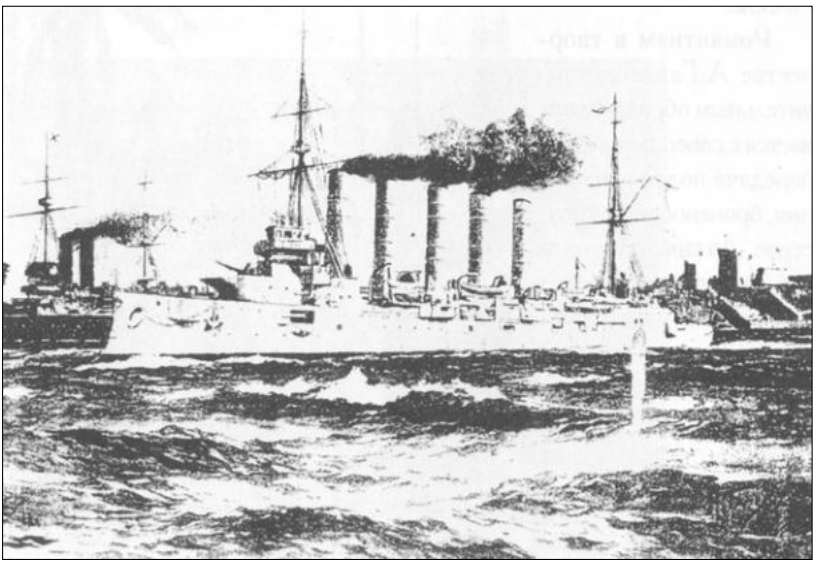
Любанскому обществу попечения о бедных не суждено было затеряться среди более пяти тысяч подобных организаций только оттого, что до сих пор в коллекциях филокартистов XXI века имеются открытки с ре-

* Брешко-Брешковский И. Театр и жизнь. / ж. "Париж", 1929, № 17.

** Северюхин Д.Я., Лейкинд О.Л. Золотой век художественных объединений в России и СССР (1820-1932): Справ. СПб. 1992. О.Л. Лейкинд. Д.Я. Северюхин.

*** РГАЛИ, ф. 2601, оп. 1, ед. хр. 2829.

**** Власов П.В. Благотворительность и милосердие в России. — М., 2000, вклейка л. 2.



продукциями картин художника-мариниста Алексея Васильевича Ганзена, выпущенные с благотворительной целью.

В 1916 году в Петрограде с благотворительной целью вышел альбом "Российский императорский флот" с иллюстрациями А. Ганзена. Чистый доход от его издания пошел в пользу воинов и их семей, пострадавших в первую мировую войну.

Годом раньше в Петрограде в Товариществе Р. Голике и А. Вильборга вышла открытка с репродукцией с картины А. Ганзена, воспроизводящей одно из достопримечательных мест Севастопольского побережья. Открытка была выпущена с благотворительной целью. На обратной стороне Сергеем Чехониным было сделано оформление и информация о том, что открытка выпущена Петроградским городским комитетом "в пользу воинов и их семейств".

Меценатство предполагает щедрость души и бескорыстие. Газеты 1910 года сообщали о том, что "родной внук Айвазовского — Ганзен является счастливым обладателем семидесяти картин великого мариниста. Среди них есть полотна исполинских размеров и, в общем, это — бедно-бедно — полумиллионное состояние. И крупные фирмы Запада, и богатые коллекционеры в России предлагали Ганзену купить у него все эти картины. Но внук не желает их продавать. В собственном доме в Одессе Ганзен

хочет устроить галерею картин деда для бесплатного осмотра публикой. Такую симпатичную мысль можно только приветствовать".*

В 1929 году в интервью с его персональной выставки в Париже в галерее Жоржа Пти он скажет: "Никто не знал, что сталось с моей собственной коллекцией в Одессе, где находилось около 400 картин, среди которых уникальные полотна мастеров Возрождения".**

По утверждению Н.О. Лосского: "Нравственная жизнь человека состоит из поступков, за которые он ответственен".*** Совершая в своей жизни поступки, пронизанные заботой о тех, кому необходима была помощь, будь то дети из приютов, престарелые художники или простые граждане, малый достаток которых не давал возможности приобщиться к художественным ценностям, Ганзен действовал искренне, с большой долей ответственности и еще большим желанием оказать действенную помощь.



* "Биржевые ведомости" № 12095, 28.12.1910; "Одесский листок" № 218, 24.09.1910.

** Ж. Поплавский. На выставке Алексея Ганзена / Театр и жизнь. 1929, № 17.

*** Лосский Н.О. Условия абсолютного добра. — М.: Политиздат, 1991, с. 190.

Кавалер ордена Одессы

Нашему другу Евгению Голубовскому, с которым мы много лет трудимся на ниве журналистики, с которым много чего создали, в том числе – и журнал "Одесса", и этот альманах, – исполнилось 70 лет.

Уверены: это не только семейный юбилей, не только замечательный повод собраться в близком кругу, но, без сомнения, и заметная дата в истории города и тех его граждан, кому близки и дороги идеи, вдохновлявшие фундаторов Южной Пальмиры, наших предков, разных по крови и вере, но единых в главном. В осознании себя одесситами.

Евгений Голубовский, быть может, более других достойных наших земляков сделал для того, чтобы не прерывалась связь времен, чтобы не исчезли из памяти грядущих поколений не только великие и признанные, но и некогда звонкие, а ныне несправедливо смикшированные имена. Он – автор, составитель, комментатор, издатель книг, без которых уже невозможно представить себе золотую одесскую полку. Он одним из первых в свинцовые времена поддержал молодых художников, не приемлющих оков соцреализма, стоял у истоков нового искусства, составляющего ныне гордость Одессы, да и всей Украины.

Вице-президент Всемирного клуба одесситов (президент – Михаил Жванецкий – подарил Жене свою взыскательную дружбу), редактор газеты "Всемирные одесские новости", кавалер ордена Маразли... Каждая его ипостась заслуживает подробного и обстоятельного разговора и его, несомненно, ведут в эти дни коллеги Голубовского, работавшие с ним в первых составах "Комсомольской искры", "Вечерней Одессы", "Одесского вестника", "Вестника региона". Среди них – ученики Евгения Михайловича и по профессии, и по жизни. И каждому есть что рассказать и вспомнить о своем учителе.

Мы планировали предоставить им страницы альманаха, но на семейном, дружеском юбилейном торжестве попросила слова Аня Голубовская, архитектор, создатель и руководитель галереи искусств "Либерти". Дочь Валентины Степановны и Евгения Михайловича. Ее монолог мы сочли знаковым и решили познакомить с ним наших читателей.

Феликс КОХРИХТ, Олег ГУБАРЬ
– от имени и по поручению Редколлегии и Редакционного совета
альманаха "Дерибасовская – Ришельевская"

Анна ГОЛУБОВСКАЯ

"Как многое переплелось вокруг тебя..."



Помнишь, у меня в детстве была хорошая книжка (сколько их было, хороших)?

Василий Аксенов. "Мой дедушка — памятник". Я не о таком тебе сегодня, чуть патинированном юбиляре. Не о всем известном, многими любимом, кого-то и по сей день раздражающим как кость в горле, я о моем собственном. Единственном. Папе.

Как ты сумел мне внушить с детства и навсегда — чувство защищенности.

В моей школе ты побывал лишь однажды — мне порвала — несправедливо, за случайную кляксу, тетрадку училка... Помню ее, стоящую перед тобой, не повысившим голоса, высокую, выше тебя ростом, и на глазах уменьшавшуюся, оплывавшую как свечка, растаявшую совсем. Ты, уходя, вынул из кармана и дал мне шариковую ручку, и никто из учителей не посмел отнять ее у меня, так я и писала ею — единственная в классе. Больше не жаловалась. Ты был слишком тяжелой артиллерией для этой советской, заскорузлой, антисемитской школы, и как мало места она занимала в моей жизни. Какой огромный мир был у нас дома — с находками в Букине и прогулками по антикварным, "Свободой", полуночными гостями и стуком маминой машинки до утра. И ровно без десяти девять утра — твоя непревзойденная точность! — ты убегал в "Вечерку". Как ты всегда много работал — говорить не мог, попадая наконец вечером домой, и как много, много, много времени дарил мне.

Даже не то, думаю, оглядываясь, что сочинял ежевечерние сказки с продолжением, а постарше вовремя, как в топку, подбрасывал книжки, обсуждал их со мной на равных (помнишь до-олгие наши поездки в десятом трамвае), таскал с собой на спектакли, в общество книголюбов, по мастерским, собирал со мной марки и монетки, не то главное. Главное, что ты никогда не мог без меня обойтись. Я всегда была тебе нужна — ежечасно, при любых обстоятельствах, в любых компаниях ты крепко, крепко держал меня за руку. Никакого пафоса, при всей твоей рафинирован-

ности самый немытый стакан в винарке ты спокойно опрокидывал, подмигивая мне, как Чеширский кот. Помню, чуть ли не единственный раз я оторопела — году в 82-м, когда мы не знали еще слова "бомж", жутковатый хмырь выпрыгнул с воплем "Женя!!!" к тебе из мусорника. Вы обнялись. Это был Коля Новиков. Или старая фотография (где она?), на которой вы с Андреем Битовым среди уличных мальчишек в кучах отбросов на Привозной. Залихватский берет. Ранний Маяковский, которого читал мне нараспев (видишь, как изменилась жизнь — ты совсем перестал читать мне стихи), и стертый под креслом паркет — ты же мысленно наматываешь километры по полю, смотря футбол! Лекарства навсегда — аспирин и зеленка. Кофе покрепче, еще кофе, сбить давление, и еще кофе. Красивая, такая красивая мама. Наши с тобой пятьдесят грамм 9 мая, после кладбища. Розыгрыши, поддразнивания, сведение к шутке, к парадоксу — и никогда никакого занудства, менторства, никогда никакой фальши. Если не мог что-то объяснить, расстраивался, говорил, давай лет через десять. Но не отмахивался. И не обманывал. Наверное, не по доктору Споку — подарить всю свою жизнь, без умолчаний и секретов, всегда называя вещи своими именами. Никогда не осуждать слабости, никогда не забывать, чем можно обрадовать, уметь выслушать, уметь услышать. Познакомить, поделиться друзьями — как многое переплелось вокруг тебя, как многих подарил и даришь ты мне до сих пор.

Я так люблю тебя, папа, я так люблю вас обоих. Что бы ни было в моей жизни, нет для меня более мощной силы, чем твоя неспортивная фигурка в потертом пиджаке. С твоей мнительностью и страхами из-за пустяков, часто детской просто наивностью во всем, что связано с бытом и твоей железной волей в действительно трудные минуты. Ну их к черту, эти трудные минуты, нам их хватило с лихвой. Я хочу весну, я хочу скорее выйти с тобой гулять нашими улицами, я так люблю, когда ты хохочешь и улыбаешься девушкам, я все еще надеюсь стать на тебя похожей. Всегда торопиться, никогда не скучать, влюбляться. Проснуться с блестящей идеей и немедленно запустить ее в жизнь. И смеяться. Как умеешь только ты — до слез.

Не оставляйте стараний, маэстро...



Вера ЗУБАРЕВА, доктор филологических наук, Пенсильванский университет

Меж властью "я" и "мы"
О романе Мариам Юзефовской "Бесаме мучо"

На полке русскоязычной американской литературы появился роман Мариам Юзефовской "Бесаме мучо". Главы из него были напечатаны в 2004 г. в журнале "Континент", в 2005 г. он положительно отмечен в книжном обозрении "Нового мира" журналистом Павлом Крючковым. В том же году роман был номинирован на самые престижные российские литературные премии: "Букер" и Аполлона Григорьева, а в 2006 – опубликован издательством "Вагриус".

Не приходится и говорить, что русскоязычная американская литература подобным вниманием не избалована. В чем же причина такого интереса российской печати к роману Юзефовской? Подробности эмигрантского житья-бытья давно уже перестали быть предметом интереса широкого читателя, который сам успешно пересекает границу России в различных направлениях, да и написан роман не именитым (на сегодняшний день) автором, что, естественно, является стопроцентной "приманкой" для критики и издателей.

На данный вопрос остается только один ответ – оригинальность произведения, неоднозначность в раскрытии темы, которая, как будет показано ниже, выходит далеко за пределы эмигрантской и охватывает более широкую, общечеловеческую сферу отношений. Все это ставит роман в ряд большой литературы и, соответственно, привлекает к нему профессиональные круги России.

Так о чем же этот роман, так обманчиво названный автором "Бесаме мучо"? Обманчиво, ибо тут же ожидаешь увлекательных любовных перипетий, эротических сцен, и всего того, чем изобилуют современные профессиональные и полупрофессиональные издания, специализирующиеся на любовных треугольниках различных конфигураций – от равнобедренных (где героиня мечется между двумя безликими претендентами на ее руку и сердце) и равносторонних (вроде все трое неплохие люди, а счастья как не было, так нет) до прямоугольных, где гипотенуза, натянутая до предела, так и не может связать воедино две противоборствующие стороны – мужчину и женщину.

Увы, того, кто взял в руки это произведение в надежде окунуться в радужный мир мыльной оперы, постигнет разочарование, ибо роман Юзефовской – это серьезное архитектурное сооружение, фундамент которого составляет философская концепция, а не сюжетная занимательность. В чем же суть этой концепции?

В беседе с журналистом радиостанции "Голос Америки" Марком Беллом Юзефовская так характеризует угол зрения, под которым писался роман:

"Дуальность человеческой натуры заключается в противоречии между духовным и материальным началами. Прибавьте к этому эгоцентризм, ложное понимание свободы. Потрясения, подобные революции, смене формаций, эмиграции, обостряют эти проблемы до предела".

Не секрет, что стремление выйти на другую "орбиту" у многих эмигрантов связано с обретением материального статуса, и это роднит их с бывшими соотечественниками, мечтающими о том же роге изобилия по ту сторону океана. Большинство героев "Бесаме мучо" не являются исключением из этой схемы: их понимание свободы и счастья ассоциируется, прежде всего, с материальным благосостоянием. Однако под влиянием тех или иных обстоятельств оказавшись у последней черты, они осознают иллюзорность материального мира как незыблемого плацдарма счастья.

В 90-х годах для вновь прибывших в Соединенные Штаты самым большим потрясением, пожалуй, было западное отношение к стабильности. Динамика изменений, происходящих во всех сферах западной жизни, диктовала смену менталитета, взращенного на государственных гарантиях. Изменчивость ситуации обрушивается лавиной на эмигранта, жаждущего стабильности и гарантированности прожиточного минимума. Эмигрант вступает мир с противоположным знаком, где переход с одного места работы на другое считается позитивным, а служение "верой и правдой" одному хозяину является негативным. Здесь все наоборот, как в зазеркалье: стабильность постоянно разрушается, чтобы не обратиться в застойность, а изменчивость поощряется, приветствуется и вознаграждается. Но плата за изменчивость неимоверно велика, поскольку нестабильность распространяется на все сферы жизни, включая и личную, так что стремительность изменений подчас оказывается трагичной.

Герои романа Юзефовской проходят через всевозможные стадии внутренних и внешних изменений. Успех, деньги, семейное счастье – все зыбко и непрочно в этом мире бушующего благоденствия. Сегодня – принц, завтра – нищий. Как быть? Как удержаться на плаву в океане с неспадающим десятым валом деловой активности? В конечном итоге, человек остается наедине со своим духовным миром, если таковой есть. А если нет, то он обречен слушать симфонию внутреннего безмолвия в сопровождении технократического оркестра, бьющего в литавры новейших достижений на экране телевизора.

Особенно трагичен переход в мир с противоположным знаком для творческой личности, которая по определению не может мыслить категориями приспособленчества, ибо это разрушает ее цельность и самобытность – особенности, без которых творцу грозит злокачественное перерождение в ремесленника.

Конечно, под давлением обстоятельств творческий человек может отказаться от служения своему призванию и уйти в материальную сферу жизни. Но дар не прощает отступничества. Исподволь, день за днем разрушая внутренний мир художника, оно обращает в пепел не только душу, но и достигнутый материальный успех, чьи плоды сладки, а послевкусие – горько.

Ярким представителем одержимых творчеством является главный герой романа – артист кукольного театра Нисон. В противовес основной массе эмигрантов он изначально стремится не столько к материальному благосостоянию, сколько к свободе и творческой

самореализации. Какова же его концепция свободы? "Тело – рабство, дух – свобода. Свобода от времени и власти, при которых выпало жить. Свобода от обстоятельств и других людей, пусть даже самых близких. Все это преходяще. Лишь дух вечен", – провозглашает он. Но земля, которая издали казалась раем, встретила Нисона неласково. Оказалось, для выживания на первых порах ему нужно было добывать хлеб насущный тяжким трудом, ничего общего не имеющим с творчеством.

В минуту смятения он записывает в своем дневнике: "Мы скользим по поверхности жизни, как водяные пауки по речной глади, не вникая и боясь познать всю ее глубину. Скрыты сами от себя толщей условностей. Что движет нами? Какое начало? Телесное или духовное? Где граница между ними?

В этом мире вещей и идей
В море горьких ошибок, потерь
Наши души – сиротские дети,
Ищут нас средь пожарищ страстей".

В конечном итоге он осознает, что его кризис – это кризис вольноотпущенника, который отныне должен нести ответственность за свою судьбу. Он интуитивно ощущает, что крайности – "тело" и "дух" – не могут быть плодотворным подходом к жизни, которая есть объединение того и другого. Истинный творец должен найти эту меру, эту "золотую середину", которая позволила бы ему развиваться.

Свобода для Нисона – самовыражение в творчестве, и ради этого он готов принимать от жизни удар за ударом, падать и подниматься, переносить любые материальные лишения, "лишь бы не жить растительной жизнью в ожидании конца". Трагедия распада семьи, разрыва с женой, эмиграция переплавляются в акт творчества – он пишет пьесу "Изгнание из рая".

Концепция этой необычной пьесы зарождается постепенно, шаг за шагом, получая свое развитие по мере развития сознания ее автора, проходящего длительный путь осмысления перемен, случившихся в его жизни. И вот однажды в Манхэттене, разглядывая в очередной раз собор святой Женевьевы со сценой "Покаяния", Нисон вдруг обретает ту цельность мировидения, которая собирает воедино разрозненные наброски его будущей пьесы.

"А разве театр – не желание тиражировать свое "я" в сознании зрителей? Что это? Видоизмененный инстинкт размножения? А если так, то религия, философия, искусство – попытки воспроизводства подобных не телом, а духом! Быть может, это и есть непорочное зачатие?! Так вот в чем грех Адама! Он овладел Евой, как животное, не одарив ее и частицей души, которую вдохнул в него Творец".

Этот качественный скачок в сознании героя является квинтэссенцией романа, поскольку именно отсюда начинается новое формирование творческой и человеческой сущностей Нисона, до тех пор пребывавшего в разладе с собой, в трагическом разрыве между бытом и творчеством, душой и телом. Творец создал Адама как единство духовного

и телесного, и, стало быть, задача любого творца не отказываться от материального, но найти баланс между материальным и духовным. Осознав это, Нисон уже не одинок. Его творческое уединение есть противопоставление рутинному одиночеству обывателей. Окруженный своими героями, он создает новую вселенную, гораздо более богатую и драматичную, нежели та, которую он оставил "на том берегу".

Цельность Нисона, его индивидуализм, противопоставлены обывательскому эгоизму других героев этого небольшого по объему, но густонаселенного романа. Разница между эгоистом и индивидуалистом плохо понималась в России, где оба слова принимались как синонимы. Тем не менее, индивидуализм в корне отличен от эгоизма. Индивидуалист – это личность сильная, направленная на сотворение и созидание, способная на материальные жертвы во имя развития своих идей, убеждений, принципов. Индивидуалист отличается ответственностью, способностью на компромиссы, причем компромиссы не примитивного толка. Индивидуалист идет на уступки, решая одновременно две задачи: (1) помочь другому, (2) но не разрушить при этом и себя. Эгоист и альтруист решают, соответственно, только одну из двух поставленных задач, и в этом смысле их метод более простой. Сложность начинается в интеграции двух равноправных начал – "я" и "мир". Это важный момент в понимании философии индивидуализма и вытекающей отсюда культуры и этики компромисса, зачастую примитивно толкуемого как полное уничтожение собственного "я".

Эгоист – полная противоположность индивидуалисту. Эгоизм изначально направлен на разрушение, ибо его стремление – процветать за счет окружающих. Однако узкий прагматический взгляд на вещи не позволяет эгоисту разглядеть ту яму, которую он сам себе роет, постоянно используя и опустошая ресурсы, необходимые на всем пути развития. Эгоист – это прагматик, мыслящий короткими комбинациями и посему не замечающий шаха, который готовит ему жизнь, после того как он взял ладью. Эгоист и личность – "две вещи несовместные".

В романе эгоистический подход представлен такими героями, как Дэниэл и Роз. Дэниэл, эмигрант с почти 30-летним стажем, провозглашает свой кодекс независимости таким образом: "Я – гражданин своей собственной державы". На чем же зиждется эта держава? Ответ прост – на материальных ценностях, которые ставятся во главу угла. Семья, друзья, привязанности, дарование – все это цинично отметается, если не служит основной цели – сооружению "золотого тельца". И хотя Дэниэл утверждает, что "деньги – это слуги. Они должны работать день и ночь на своих хозяев", он, сам того не осознавая, становится рабом и слугой своего "тельца".

Для Роз, пожилой американки, помнящей мытарства и неудачную семейную жизнь своих родителей – эмигрантов начала 20 века, – нежелание себя связывать ни с кем и ни при каких обстоятельствах становится символом свободы. Но свобода эта эфемерна, поскольку она эгоистична и, в конце концов, сжигает на огне одиночества того, кто за нее ратовал. Поначалу кредо Роз – это союз с собой. "В этом союзе я не боюсь ни изме-

ны, ни подлости. Я полностью доверяю своему партнеру, то есть самой себе", – заявляет она. Но жизнь заставляет изменить это кредо. В ее жизни происходит трагическое событие, и одиночество уже вселяет страх, который прежде глушила повседневная суетность. "Ничто не может заменить близкого человека. Даже деньги", – говорит Роз, которая еще в юности решила, что ее самым близким другом будет счет в банке.

Разоряется Дэниэл. Остро ощущая потребность в поддержке и все еще мысля категориями своего прошлого, он пытается привязать к себе Нюсю, бывшую жену Нисона: "Ты приносишь мне удачу. Мне никогда еще так не везло на бирже, как той осенью", – говорит он ей. Но, увы, эмиграция ожесточила Нюсю: "Мне не под силу взваливать на себя чужие проблемы. Я уже знаю, каково быть рядом с тем, кого приперло к стенке". Ей стала чужда идея поддержки и дружеского соучастия, хотя "на том берегу" она с детства "мечтала приобщиться к чему-то великому и служить ему всю жизнь", а свое замужество – союз с Нисоном – воспринимала как воплощение этой мечты. Но в эмиграции, порывая с ним, в разговоре с дочерью она мотивирует свой разрыв как желание свободы: "Хочу быть самой собой, а не чьим-то придатком. Не хочу ни за кого больше цепляться".

Можно ли осуждать человека за естественное желание быть самим собой? Разумеется, нельзя. Но речь не о том, а о стиле Нюсиной, в общем-то, примитивной формулировки. В отношениях, где требуется взаимная отдача, она мыслит себя "придатком". Подобное мышление типично для эгоиста, который не понимает сути взаимности и естественное требование самоотдачи и поддержки воспринимает как посягательство на собственную свободу. В той, другой жизни, Нюся безоговорочно служила Нисону – именно служила, как служат идолу. И в этом и сказывалась ее изначальная ограниченность, ее изначальное непонимание порочной сути жертвенности, столь часто – увы! – воспеваемой в произведениях русских классиков. Как правило, одна крайность поведения (альтруизм) резко сменяет другую, и после всепоглощающей жертвенности идет жестокое попрание кумира – модель, печально узнаваемая и в сфере социально-исторических отношений...

К чему же ведет крайний эгоизм героев романа и неразрывно связанное с ним одиночество? Посильно ли человеку чувствовать себя "неприкаянной частицей мироздания"? Легко ли жить в созданном ими мире, где "собеседник – эхо"?

Герои романа стоят перед извечной проблемой выбора, постоянно разрываясь "меж властью "мы" и "я". К сожалению, "я" понимается многими из них как "эго", и в этом их надломленность и предрасположенность к краху.

Можно ли утверждать, что проблемы поиска смысла жизни и своего места в ней, эгоизм и связанное с ним одиночество присущи лишь эмиграции? Увы, нет. Человек на разных этапах своего бытия проходит через эти испытания, и эмиграция в данном случае не порождает эти проблемы, но существенно заостряет их, ставя героев в ситуации наивысшего напряжения, тем самым увеличивая вольтаж человеческих страстей. Осознав это, главный герой пишет в своем дневнике следующее:

"Не признаю ни стран и ни границ
Есть лишь разливы вод, есть твердь небес и суши.
Есть Книга Судеб, где на каждой из страниц
В тисках безвременья томятся наши души".

Так посредством главного героя автор декларирует свое кредо — нас всех, независимо от страны пребывания и даже с учетом уникальности каждого индивидуума, роднят проблемы личности и эгоизма. Не этим ли в России вызван интерес к роману писательницы Мариам Юзефовской "Бесаме мучо"?

Мариам ЮЗЕФОВСКАЯ

Бесаме мучо

...Новая жизнь все больше и больше поглощала Нюсю. Она даже не замечала, как постепенно начала отходить от Нюсика. Только с дочерью и отводила душу, рассказывая о своей работе, о прогулках по городу. Муж, едва она заводила об этом речь, отмахивался и угрюмо обрывал ее: "Помолчи. Надоело". И уходил в другую комнату. Нюся ломала голову: то ли притворяется, то ли ему действительно неинтересно. А она открывала для себя новый мир, и главное — что может жить одна, без Нюсика. Словно тот человек, которого любила, чьей неотъемлемой частью давно привыкла себя считать, остался за океаном. Однажды сделала попытку примирения. Придя домой, прошла в комнату, где обосновался Нюсик, села на его диван и, сама не веря в свои слова, устало сказала: "Послушай, давай попробуем жить по-человечески, как прежде". "Не мешай, — грубо отрезал он, — выйди и не смей заходить сюда без стука". Она, сама не зная зачем, начала все же объясняться, что да, что-то сломалось между нами, но все еще можно исправить. Нюсик, нажав на кнопку пульта, усилил звук телевизора и притворно засмеялся. Шло какое-то шоу. И не понимая в нем ни слова, он смотрел его, как немое кино. Когда Нюся, наконец, ушла, открыл настежь окно, чтобы проветрить комнату. Он ненавидел приторно-сладкий дух, источаемый кремами и помадой. Это ассоциировалось у него с продажной любовью, которую ради любопытства испробовал в юности. И потому, когда сошлись, строго-настрого запретил Нюсе всякие женские уловки, внушая: все должно быть натуральным. "Красота или есть, или ее нет. У тебя с этим делом все в порядке". И, словно удостоверяясь в сказанном, начинал оглаживать ее. Нюся заливалась счастливым смехом: "Мороз-воевода дозором обходит владенья свои". Ластясь точно кошка, подставляла всю себя его губам, ладоням и страшно гордилась тем, что с пер-

вого дня их близости он как бы стал хозяином ее тела. И то, что теперь напомаженная, напудренная, с подведенными глазами, она смела появляться перед ним в таком непотребном виде, вызывало бешенство. Нюсик воспринимал это как вызов. А ее попытка примирения казалась лживой уловкой, имеющей скрытую подоплеку. "Хочет затащить меня к себе в постель, "бесамы", видите ли, ей захотелось", — злорадно думал он.

За годы совместной жизни у них накопилось множество знаков и словечек, понятных лишь им двоим: ласкательных, смешных, порой не очень приличных. Но "бесама" было самым главным. В молодости во время какой-нибудь вечеринки или застолья Нюсик цепко брал жену за руку и при всех, дерзко улыбаясь, тоном капризного ребенка говорил: "Нюсенок, хочу бесаму". Она краснела, прерывала разговор и, следуя за ним, ускользала в прихожую, где оба поспешно напяливали пальто и убегали, ни с кем не прощаясь. Они выскакивали на середину мостовой, останавливали первую попавшуюся машину. И мчались домой. При этом Нюсик садился рядом с шофером, подгоняя его дикими историями об оставленной горящей плите, рыдающем ребенке и взбадривая обещанием сказочных чаевых. А Нюся, сцепив зубы, беззвучно плакала от смеха на заднем сидении. Изредка оборачиваясь назад, он с фальшивым участием говорил хорошо поставленным актерским голосом: "Потерпи, мой дружок. Мы уже почти у цели". И показывал ей сплетенные пальцы, что на их языке означало страстную "бесаму". Эта двусмысленность вызывала у нее новый бешеный приступ смеха.

На улице бесновалась метель. Попав в колодец двора и пометавшись между стенами домов, усмирялась, утихала, стелилась покорной поземкой. Нюсик отошел от окна и окинул взглядом комнату — разномастные стулья, колченогий комод, стол с ободранными ножками, продавленное кресло. Вся эта мебель по приезде была ими подобрана на свалке, а затем Нюсиными руками вымыта, вычищена и застелена пестрыми шалями, накидками, салфетками. И это желание замаскировать унизительную нищету, которая все равно проглядывала то там то здесь, угрюмо демонстрируя выбоины, извилистые следы шашеля и глубокие царапины, вызвало в Нюсике прилив ярости. Он начал со злобой срывать пестрые куски материи, призванные скрыть убогую действительность их нынешней жизни. "В этом она вся, со своей показухой, фальшью, обманом, — Нюсик с ненавистью топтал жалкие тряпки, точно в них было заключено все зло мира, — я презираю эту бабу, хоть она и содержит меня". Теперь он Нюсю иначе как бабой не называл, добавляя при этом те самые грязные позорные сло-

ва, которые были в ходу в компании прыщавых подростков их местечка. И вдруг увидел на полу тряпичную куклу. Не отдавая себе отчета, нагнулся и взял ее в руки. Она была старая, потрепанная. Нюся сшила ее для Алены, когда той исполнился год. Кукла получилась потешная — с крошечным алым ротиком, черными дугами бровей и широко раскрытыми голубыми глазами. Алена назвала ее Мама Нюта. Нюсик бережно расправил на ней пестрое платье и начал пристально разглядывать, точно увидел в первый раз. Внезапно понял, что она чем-то неуловимо напоминает ему юную Нюсю: то же наивное выражение лица, та же распахнутость глаз. В тот же миг в нем ожил прежний свежий запах ее кожи, схожий с запахом проклюнувшейся молодой листвы. И это вызвало новый прилив ярости. "Ненавижу!"— выдохнул он сквозь стиснутые зубы, отшвырнул от себя куклу и с маху бросился на диван. Накрылся с головой одеялом, повернулся лицом к стене. И тут в глубинах его тела возникло желание. Скорчившись, он крепко сжал взбунтовавшуюся плоть и неожиданно для себя всхлипнул.

...Вскоре Алена заметила разлад между родителями:

— Ма, тебе не кажется, что ты потихоньку отбиваешься от дома? Что происходит между тобой и папой?

— Мы с ним практически не видимся, — смутилась Нюся, — прихожу — он уже спит. Ухожу — он еще спит, — начала оправдываться она.

— Ты махнула на него рукой, — сурово оборвала дочь.

Нюся засуетилась, как провинившаяся школьница, стала отнекиваться. Но в душе понимала — дочь права. Она давно уже старалась как можно реже бывать дома. "У меня ни сил, ни времени", — оправдывалась перед собой, осознавая в то же время, что в ней проклевывается другой человек — жесткий и эгоистичный. Нынешний Нюсик, выгоревший дотла, стал ей неинтересен. А его внезапно вспыхивающая злобность были несносны. В ней давно угасло желание ощущать его рядом с собой. И когда он окончательно перебрался в другую комнату, в душе была несказанно рада. Казалось, их, на протяжении многих лет тесно спаянных, сросшихся точно сиамские близнецы, кто-то безжалостно отделил друг от друга. И теперь каждый должен был научиться жить в этом мире поодиночке.

"Не могу больше с ним находиться под одной крышей", — однажды призналась она дочери. И как только это произнесла, ей вдруг стало ясно — она хочет уйти от Нюсика.

— Папу нельзя оставлять одного в таком состоянии, — закричала Алена.

— Тебя не интересуют мои чувства!— воскликнула Нюся,— я ведь тоже человек.

— Если уйдешь от папы, ты мне больше не мать! — Алена швырнула трубку.

"Моя дочь пытается мной манипулировать как куклой", — с горечью подумала Нюся, вслушиваясь в частые гудки. Она долго колебалась, откладывая мучительный разговор с мужем. Иногда в ней просыпалась детская вера в чудо. Она представляла, что Нюсик грубо и властно, как прежде, скажет: "С чего это ты надумала? Совсем сбрендила?!". И они начнут все заново. А потом вдруг пугалась: "Он будет цепляться за меня. И я не смогу его бросить. Тогда все затянется на неопределенный срок. А может быть, и до конца жизни. Разве мало пар, которые тянут свою лямку изо дня в день, уже ни на что не надеясь? Нет, я не хочу повторять жизнь моих родителей", — твердила она.

Все решилось просто и буднично. В воскресенье утром они неожиданно столкнулись на кухне. Она уже собиралась улизнуть из дома. Но тут Нюсик вышел из своей комнаты в обвисшей майке с трехдневной щетиной на лице, подошел к холодильнику, открыл его и застыл в раздумье. Это глупая привычка всегда нервировала Нюсю. Но раньше она приписывала ее тому, что муж, погруженный в мысли о театре, просто не замечает жизненной мелочевки. "О каких глобальных проблемах он думает сейчас?" — мелькнула досадливая мысль. И вдруг ее раздражение прорвалось наружу:

— Закрой холодильник. Эта рухлядь дышит на ладан. Отсюда нужно съезжать.

— Переезжай одна, так будет лучше для нас обоих, — угрюмо сказал он.

Через неделю Нюся нашла по объявлению недорогую крохотную квартирку. Чтобы отрезать себе путь к отступлению, сразу внесла задаток. Хотя мысли об Алене не выходили у нее из ума, при этом Нюся ощущала в душе странную холодность и даже озлобленность. "Отец для нее как икона. Она молится на него и все ему прощает. Я у них всегда была сбоку припек, девочка на побегушках". Съезжая, из общих вещей взяла немного постельного белья. Почти все оставляла Нюсику за исключением чудом уцелевших из их разоренного прошлого кое-каких мелочей, которыми страшно дорожила. Среди них был дешевый металлический зажим для галстука, впопыхах купленный ею для Нюсика по случаю вручения ему награды за постановку "Швейка", ее непарная пластмассовая клипса, подделка под перламутр, вторую потеряла в его номере в гостинице в ту ночь, когда родилась их "бесама". Поколебавшись, прихватила еще тряпичную куклу Маму Нюту.

Нюсик в дела жены не вникал. Теперь, когда им была утеряна власть над ней и ее телом, он вдруг почувствовал, что Нюся стала ему совершен-

но безразлична. И это новое чувство несказанно обрадовало. Точно сбросил тяжкую ношу. В нем возникло давно забытое ощущение свободы, легкости и даже уверенности в себе. Он начал строить планы: "Выйду из этой добровольной тюрьмы, куда сам себя заточил. Устроюсь на работу, безразлично какую, лишь бы содержать себя. И покончу с этим позором, с зависимостью нахлебника".

Прошло какое-то время, и он вдруг начал ощущать щемящую тоску. "Неужели причина в этой бабе? Разве она так много значит для меня, и я не смогу без нее существовать? Но это абсурд! Жил же до нашей встречи, даже бывал счастлив". Нужно было немедленно прояснить природу этой тоски, до конца понять. Иначе было неясно, как в дальнейшем с ней уживаться: дышать, спать, двигаться. Чтобы успокоиться, стал, рассуждая, расхаживать по квартире. "Из-за кого я убиваюсь? Из-за этой приспособленки? Там она пылинки с меня сдувала. Потому что я был известен, имел имя. А здесь чуть ли не с первого дня стала смотреть сверху вниз, словно я ничтожество, и указывать, как жить. А едва стала на ноги — бросила. Но разве человек может так разительно измениться за год? — спросил он себя. — Вероятно, я многого не замечал. Ведь главным всегда была работа. Не ври, — бесстрастно уточнил Нюсик. — Не работа, а успех у публики. Пошли дальше. Итак, ты считаешь, что там она использовала тебя? А помнишь, как ты изображал из себя мачо? Когда не ладилась работа, и жизнь для тебя теряла вкус, делал вид, что приударяешь за кем-то. Это встряхивало ее. Она в возбуждении начинала часто облизывать губы. Они чуть обветривались, слегка вспухали, становились пунцовыми, а каемочка, очерчивающая их, коралловой. Ты дергал ее за ниточку, как марионетку, а потом исподтишка наблюдал за вскипающей в ней яростью. По опыту знал — все переплавится в такой жар, что вы оба несколько недель будете ходить как шальные. В театре поражались вашему нескончаемому медовому месяцу, и никто не догадывался, что ты, провинциальная посредственность, намеренно держишь ее в струне. Конечно, способный и вдобавок упертый. Но таких великое множество! Имя вам — ремесленники. Великое, Божеское — не для вас. Поэтому каждый новый взлет для тебя был мукой. Ты постоянно нуждался в трамплине. И этим трамплином тебе служила Нюся. Она должна была опять и опять отвоевывать тебя. На волне ее обожания тебе иногда удавалось прыгнуть выше своей головы. Так кто кого использовал? Это ты ее всегда рассматривал только как свою функцию. Она обязана была следовать за тобой, подчиняться

твоим порывам, замыслам, планам. Но все развалилось — вначале империя, в которой вы жили, затем тот мирок, что вас окружал. С тебя облезла вся позолота, не стало ни декораций, ни свиты. Вот тогда Нюся, наконец, разглядела тебя. И увидела, что ты никакой не король, не гений, а обыкновенная бездарность. А как добытчик — полное ничтожество".

То ли от этих гнетущих мыслей, то ли от знойной влажности нью-йоркского лета ему стало невыносимо душно. Он подошел к окну и рывком его открыл. Из колодца двора пахнуло застоявшимся раскаленным воздухом. На стене дома гибкий вьюнок с пожелтевшими пожухшими листьями рвался к свету, упрямо цепляясь за поросшие лишаем кирпичи. "Все живое хочет жить, — подумал он, — но ведь и она часть природы. Хотя наверняка этого не осознает. Что с того, что приспособленка? Разве ее учили воздействовать на обстоятельства? Ей вдолбили, что она должна приноравливаться к ним. Ею всегда кто-то помыкал: вначале мать, потом — ты, теперь какая-нибудь миссис Смит. И неизвестно, что лучше — тихо плыть по течению жизни или быть лживым рабом. Помнишь, как ненавидел, проклинал и втихомолку подтачивал ту систему, за что срывал дешевые аплодисменты от таких же рабов, как ты? Как в то же время принимал подачки и награды? Гордился ими. А когда система рухнула, ты стал вольноотпущенником, и оказалось, что свобода тебе не по зубам. Ты даже не можешь заработать на кусок хлеба насущного, — Нюсик едко усмехнулся. — Хочешь продолжать игру в куклы, не вникая в действительность? Парения не хватает? Тебе удалось несколько раз, похлопав крыльями как петух, оторваться от земли и пролететь пару шагов! Что из того? Приземлялся ты у той же навозной кучи и опять тянул свою лямку! — он обхватил голову руками. — Господи, о чем я? Весь вопрос в том, как дальше жить", — почти сломленный, прошептал он.

...В один из дней Нюсик оказался вблизи разоренного, давно не работающего луна-парка, над которым возвышалось застывшее, покрытое ржавчиной чертово колесо. Увидел заброшенный павильон с небольшой сценой и вдруг подумал: "Здесь можно было бы поставить мою пьесу "Рай". Этот вид на океан выразительней любых декораций. Бездонный простор — вот что нужно! Ведь на земле еще ничего нет". Он вернулся домой, когда уже стемнело. Вытащил Еву из футляра, посадил в углу дивана. И, обращаясь к ней, точно к живой, произнес: "А ведь ты и Адам — марионетки в руках Творца! И ваше изгнание из рая — трагедия, поставленная ИМ в назидание. Но кто в ней мы, люди? Лишь зрители? Или нам отведена роль массовки, греческого хора, вторящего героям: "О, горе вам,

низверженным из рая!"? Может, мы — призраки вашей вины, неотступно следующие за вами по пятам? Жертвы первородного греха? Или каждый из рода человеческого обречен переживать трагедию собственного грехопадения? Меняются лишь костюмы и декорации в зависимости от эпохи". И вдруг почувствовал, как у него похолодело в груди. Это был знак, которого, случалось, ждал месяцами. Поспешно схватил лист бумаги, начал записывать: "Адам и Ева — напольные куклы. Мотивы — инстинкт, страсть. Театр теней — преследующие их призраки вины. Но главное действие на авансцене! — забормотал, торопливо черкая, чтобы ничего не упустить. — Живые актеры: мужчина и женщина из плоти и крови. Их страсть и грехопадение, — он прикрыл глаза. Представил танцовщицу в телесном трико, сладострастно изгибающуюся и протягивающую между ног символ похоти — алый шарф. Лицо ее было разительно похоже на Нюсино. — Но концовка?! — он задумался. — Не могу нащупать верного хода. Мы скользим по поверхности жизни, как водяные пауки по речной глади, не вникая в суть и боясь познать всю ее глубину. Скрыты сами от себя толщей условностей. Что движет нами? Какое начало? Телесное? Духовное?" Развернул лист обратной стороной и записал сразу без помарок:

В этом мире вещей и идей,
В море горьких ошибок, потерь
Наши души — сиротские дети,
Ищут нас средь пожарищ страстей.

...Вскоре Нюсик начал осваивать Манхэттен. Выйдя из метро, подхваченный нескончаемым людским потоком, он оказался перед двумя рядом стоящими небоскребами, устремленными к облакам. Подняв голову, залюбовался ими. И его охватила гордость за человеческий род. "Как это несовершенное существо, распятое между низменным и высоким, беззащитное перед раздирающими его страстями и разрушающим временем, оказывается способным на такое?!" — с восторгом подумал он. И смешавшись с разноликой толпой, почувствовал единение с ней. Его поражала разумная стройная планировка улиц, блистающие стеклом и металлом громады зданий, перемежающиеся храмами. Проходя мимо церкви с высоким портиком и массивными колоннами, услышал русскую речь и замер от неожиданности. На ступенях стояли люди с фотоаппаратами и камерами, а пожилой гид в бейсбольной шапочке что-то рассказывал.

— Перед вами собор святой Женевьевы, — подойдя поближе, услышал Нюсик. — Посмотрите на двери. Это копия фасада Нотр-Дам. Они были вывезены из Франции, и на целый век старше самого собора.

Преодолевая неловкость, Нюсик обогнул экскурсантов, поднялся вверх по ступеням и приблизился вплотную к резным дверям.

— Как видите, внизу изображена сцена искушения: Адам, Ева и обвившийся вокруг дерева змей с лицом женщины. Наверху — сцена "Покаяние". Слева — кающийся Адам с протянутой рукой, как бы умоляющий Творца: "Подними из греха меня!". Справа — торжествующая Ева. Обратите внимание на ее улыбку. И между ними — Дева Мария с Младенцем в окружении ангелов. Это уникальная копия. Я даю вам десять минут на съемку, и далее мы с вами направимся в место, где протекает художественная жизнь города, так называемый нью-йоркский Монмартр, к отелю "Сохо гранд".

Гид отошел в тень платана и закурил. Нюсик, не в силах сдержать волнение, робко приблизился к нему.

— Скажите, как по-вашему, в чем смысл этой композиции? Почему в фрагменте "Покаяние" между Адамом и Евой — символ непорочного зачатия?

— Простите, вы из нашей группы? — мужчина окинул Нюсика внимательным взглядом. — Я вас что-то не припоминаю. Если хотите, можете присоединиться сейчас. Учитывая, что вы пропустили начало, с вас пятнадцать долларов.

Нюсик покраснел, точно его уличили в краже. Ему хотелось объяснить: дело вовсе не в экскурсии. А в том, что людской род оказался в западне. Потому что все мы — и предки, и ныне живущие, и потомки — обречены на грех уже фактом своего рождения. Как разорвать этот круг порока? И если общими усилиями найти ответ на мучительный вопрос, то это изменит не только наши собственные жизни, но жизни многих других: и бездумно щелкающих фотоаппаратами экскурсантов, и куда-то спешащих прохожих.

Он пристально посмотрел гиду в глаза, понял — все напрасно. Извинился и отошел в сторону. Дождавшись, когда группа сядет в автобус, вновь поднялся на ступени, вплотную подошел к двери и начал пальцами, точно слепой, ощупывать теплую от солнца резьбу. Постоял несколько минут в задумчивости и пошел в сторону океана. "Парадокс, — размышлял он, проходя по Уолл-стрит мимо здания биржи, — я хочу разгадать тайну целого. А сам — его мизерная частица. Значит, и во мне заключена доля этой тайны".

Сипорт встретил его прохладным солоноватым ветром, деловито снующими яхтами и трехмачтовым парусником, пришвартованным у дебаркадера. Дощатая пристань с бухтами просмоленных канатов и стоящими между ними скамейками соединялась с мощенной булыжником площадью живописно выгнутыми мостиками, украшенными разноцветными флажками.

Нюсик огляделся вокруг. Двух-, трехэтажные старинные здания с узкими маленькими окошками, забранными витыми чугунными решетками, кадки с живыми цветами и скверик, огороженный невысокой литой изгородью, показались ему смутно знакомыми. Точно видел когда-то во сне. На старинных часах в центре площади пробило шесть. И словно откликаясь, в ближайшей церкви зазвонили колокола. Вслед им раздался басовитый гудок, к пристани причалил однопалубный кораблик. Из него высыпали туристы. И тотчас все ожило. Открылись двери лавочек и ресторанчиков, забегали официанты, вынося на улицу столики. Показались зазывалы: кто в пиратском костюме, кто на ходулях, кто в костюме Микки-Мауса. Под часами заиграл маленький джаз-бэнд. На пристани появилась девушка в короткой юбочке черного кружева. Вскочив на одну из скамеек, она стала отплясывать канкан, высоко поднимая ноги. А на углу, на маленьком помосте в виде барабана, который услужливо подкатил негр, неподвижно застыла египетская мумия, облаченная от макушки до пят в золотой балахон. И лишь подойдя совсем близко, по ярким белкам глаз и движению зрачков можно было догадаться, что внутри живой человек.

Кораблики причаливали один за другим, площадь наполнялась, зажглись фонари, огни витрин и гирлянды маленьких разноцветных лампочек, обвивающих стволы и ветви деревьев.

Он попал в сказочный нарядный мирок, словно наконец-то осуществилась мечта его серого местечкового детства. С этого дня загорелся идеей попробовать себя в Сипорте. Единственное, что останавливало, — программа. "Марионетки здесь не диковинка, — рассуждал Нюсик, — для представления с перчаточными куклами нужен сюжет, текст". Ему хотелось создать нечто новое, поражающее воображение подстать этому праздничному миражу. Внезапно осенило: а что если поставить фрагмент "Рая", танец Евы и Адама?! "Но где взять деньги на костюмы, маски, на еще одну куклу в человеческий рост? И как быть с ассистентом? Ведь одному с двумя куклами не управиться", — думал он по пути к дому.

Доставая из кармана ключ от двери, замер точно вкопанный: "А разве театр — не желание тиражировать свое "я" в сознании зрителей? Что это? Видоизмененный инстинкт размножения? А если так, то религия, философия, искусство — попытки воспроизводства подобных не телом, а духом! Быть может, это и есть непорочное зачатие?! Так вот в чем грех Адама! Он овладел Евой, как животное, не одарив ее и частицей души, которую вдохнул в него Творец". Эта оформившаяся мысль поразила Нюсика. "А чем ты лучше? — с тихой печалью спросил себя. — Разве хотел по-

делиться с Нюсей щепоткой своего "я"? Хотя какой может быть спрос с нищего духом?"

...Наступала осень. Уже начались дожди, и порывы ветра, срывая багровые листья с деревьев, швыряли их пригоршнями на серый булыжник. Иногда, оставив футляр с куклами в закусочной, где его уже знали, Нюсик отправлялся бродить по Манхэттену. В один из таких дней ноги сами привели его в Сипорт. Он дошел до пристани и, глядя на медленные ленивые волны, подумал: "Я всегда был частью чего-то: государства, театра, семьи, той жизни. Все кончилось, прошлое рухнуло. Теперь свободен от всех связей и пут. Отдельная единица. Отныне могу быть самим собой. Но эта разруха сломала мне хребет. На поверку оказалось, что вольная жизнь мне не по плечу. Значит, свобода не для меня?".

Начало моросить. Нюсик подошел к витрине запертой на зиму лавочки, машинально росчерком нарисовал на мокром стекле парящую в полете птицу. "Два крыла — страдание и наслаждение — движут человеком, — пробормотал он, — как всякий раб, я хочу только наслаждений. Но если бы не было падений, разве человек ощущал бы радость взлетов? Падать и подниматься. Быть может, каждое падение — новая ступень для подъема? Хорошо, я готов принимать удар за ударом. Но в чем конечная цель? Куда и к чему я стремлюсь? Мне нужно за что-то зацепиться. Во имя чего вся эта канитель? Или пора научиться жить, как многие, бессмысленной растительной жизнью?"

Вечером того же дня записал в красную коленкоровую тетрадь:

Быть неприкаянной частицей мирозданья
В плену времен, страстей и бытия.
Томиться, жить, как в зале ожиданья,
Терзаясь, выбирать меж властью Мы и Я.

...В начале ноября он решил перебраться в метро. Долго колесил по разным веткам. Выходя на остановках, приглядывался к толпе. В конце концов, облюбовал остановку на 42 улице, где скрещивались маршруты всех районов Нью-Йорка. Вечером решил посоветоваться с дочерью.

— Отличное место, папа, — рассеянно одобрила она и добавила, словно невзначай:

— А знаешь, Энрико начал репетировать со мной большую сольную программу.

— Кто это Энрико?— насторожился Нюсик. — Ты никогда о нем не говорила.

— Наш хореограф, — Алена запнулась. — Папа, я взрослая женщина!

— Ты его любишь? — у Нюсика почему-то пересохло в горле.

— Мы партнеры. Ну да, секс. Что тут особенного?— выпалила дочь. — Пока приглядываюсь к нему.

— Что ты имеешь в виду? — осторожно спросил Нюсик.

— Я — не мама. Ты для нее с самого начала был существом высшего порядка. Оттого ей не по плечу оказалось видеть тебя потерянным. Это не для меня. Не желаю ни на кого смотреть снизу вверх. Вообще-то я устала от вашего раздрая, — печально сказала она, — сколько мне еще ходить в сиротах? Пора вам съезжаться.

— Твоей матери теперь нужен другой мужчина, — с запинкой произнес Нюсик. Это была та рана, которая саднила не переставая.

— Папа, я догадываюсь, о чем ты говоришь. Но пойми, главное, чтоб рядом была родная душа.

Нюсик окончательно смутился. И чтобы сменить разговор, спросил:

— Вы с Энрико вместе едете работать во Флориду?

— С чего ты взял? — удивилась Алена. — Я даже еще не говорила с ним насчет "Пальмового берега". Боюсь, проболтается.

— Ты ему не доверяешь? — удивился Нюсик.

— При чем здесь доверие? По договору обязана предупредить за две недели до ухода. Другое дело, что это выпадает на Рождество, и трудно найти замену. Но это не моя проблема. Где гарантия, что как только я скажу, меня сразу же не вышвырнут под каким-нибудь предлогом? И тогда я повисну в воздухе на месяц.

— Не понимаю ваших отношений, — помолчав, откликнулся Нюсик.

— Я не хочу повторять мамину ошибку. Поэтому никаких восторгов и кумиров — раз, и душа на запоре — два, — отрезала Алена.

...Первый день на 42-ой Нюсик работал с марионетками. До обеда его картонная коробка для денег оставалась почти пустой. Люди проносились мимо, обгоняя друг друга, не оглядываясь по сторонам, напряженно глядя прямо перед собой. И лишь после полудня вокруг него начал собираться народ. Приунывший было Нюсик воспрял духом. Но тут подошел высокий чернокожий мужчина с коляской и, хмуро глядя на Нюсика, отрывисто произнес какую-то фразу. Нюсик, не понимая ни слова, но ощутив холодок, пробежавший вдоль спины, на всякий случай улыбнулся и дружелюбно кивнул, не прерывая работы. Мужчина, гневно вытаращив глаза и вращая белками, выкрикнул что-то и поддал ногой коробку с деньгами. Монеты покатились по цементному полу. Нюсик, точно зачарованный, следил, как они скатываются через решетку на нижнюю платформу, как мчатся под уклон прямо под ноги прохожим.

Пинком отбросив коврик Нюсика, мужчина начал раскладывать свои вещи. Достал усилитель, саксофон и складной стульчик. По-хозяйски уселся, опершись спиной о стену и перекинув ногу на ногу. Приложив к губам саксофон, издал несколько пронзительных звуков, точно примериваясь. Нюсик, презирая себя и внутренне корчась от униженности, под настороженным взглядом мужчины уложил в сумку коврик и марионетки, собрал оставшиеся деньги, сошел вниз по лестнице. Постоял, прислушиваясь к звукам саксофона. Мужчина играл что-то слащавое, то и дело сбиваясь и фальшивя. И это отчего-то несказанно обрадовало Нюсика, словно развязывало ему руки. Он представил, как со всего маха ударяет по раструбу саксофона. Как откидывается назад голова с вытянутым затылком, вся в обрамлении множества косичек мелкого плетения, а из толстых, словно вывороченных, ярко-красных губ течет алая струйка крови, стекая на подбородок.

Нюсик взлетел вверх по лестнице и, став напротив, несколько секунд вызывающе смотрел на него в упор. Потом расстелил коврик и начал работать, подлаживая танец марионеток в такт мелодии саксофона. Около него снова начали останавливаться зеваки, бросать деньги в его коробку. Саксофонист вскочил, в ярости затряс кулаками. Кинулся к Нюсику, расталкивая всех на своем пути. И тут Нюсик, скорчив уморительную гримасу, стал изображать драку. Марионетки хлестали друг друга, бились на кулачках, лягались, выкрикивая ругательства разными голосами, переходя с визгливого тенорка на низкие басы. Толпа, уже окружившая Нюсика плотным кольцом, то и дело взрывалась хохотом и восхищенными "вау".

Саксофонист, ощерившись, круто повернулся и ушел. Нюсик, проработав еще с час, собрал вещи, нырнул в толпу, вскочил в первый попавшийся поезд. А дома, достав из ящика кухонного стола перочинный складной нож, открыл его. Попробовал пальцем лезвие. Недовольно покачал головой. "Вот тебе и высокая философия, — издевался над собой, разглядывая нож, — человечка лишь чуток поскрести — и предстанет образина с когтями и клыками. А туда же, тайнами природы интересуемся. Смысл жизни ищем. Но все просто: мы и есть часть этой дикой природы. Если завтра этот тип сунется, я его пырну". На ручке ясно была видна надпись "Завод им. Красного Интернационала". Нюсик громко рассмеялся.

На другой день после обеда опять появился саксофонист с тележкой. Увидев Нюсика, он застыл на месте, словно не веря своим глазам. Потом оскалился и грозно двинулся в его сторону. Нюсик подумал о перочинном ножике, который лежал в часовом кармашке брюк. Бросил презритель-

ный взгляд и цыкнул слюной под ноги саксофонисту. Он хотел крикнуть что-то вроде: "Ну, давай, падлюка! Бей! Шо стоишь?". Так у них в местечке начинались драки между мальчишками. Но тут вдруг вспомнил, что саксофонист ни слова не понимает по-русски. Его стал неудержимо душить нервный хохот. Не выдержав, Нюсик громко прыснул. Саксофонист оторопело попятился, выругался и пошел вниз по пандусу, толкая перед собой тележку и бормоча: "Крэйзи! Хи из рили крэзи!".

...Новый год Нюсик встречал дома один. Купил шампанское, покрыл стол скатертью, поставил два бокала, откупорил бутылку. И тут позвонила Алена:

— Папа! С Новым годом! С новым счастьем! Только что закончилось мое первое выступление в "Пальмовом береге". Приняли на ура. Я бисировала три раза. Здесь очень сильный хореограф, он работал три года в Питере. Не то, что Энрико, у которого за душой год учебы на Кубе. Его конек — падебаск. Но не более.

— То есть ты разочаровалась в нем? — сухо спросил Нюсик. Ему вдруг стало обидно за этого Энрико, которого он никогда не видел в глаза. Нюсик и сам не мог понять, в чем дело, но ему вдруг показалось, что эта обида имеет прямое касательство к разрыву между ним и Нюсей.

— Ну да, он репетировал со мной, — холодно ответила Алена, — в конце концов, это его обязанность.

— Но разве вы не жили вместе? — вырвалось у Нюсика.

— Одно дело работа, другое — наши отношения. И потом, ты плохо себе представляешь Энрико, — Алена рассмеялась, — его идеал семьи: пяток детей, пасущихся в патио, сиеста в гамаке, натянутом между пальмами, и вечно беременная жена. Знаешь, какая у него любимая поговорка? "Мучо травахо, пако песо. Много работы, мало денег". Ты не представляешь, что такое лень мексиканского мужчины, родившегося в состоятельной семье. Это не для меня.

— Раньше ты так не думала, — продолжал упорствовать Нюсик.

— Обстоятельства меняются, — с ноткой раздражения откликнулась Алена. — Я ничего ему не обещала. Пойми, у меня есть обязательства только по отношению к своей семье: это ты и мама. Я очертила круг и в ближайшее время не собираюсь его расширять. Не могу и не желаю растрачивать себя на все человечество. И вообще, брак нужен не в молодости, когда страсти бушуют, а в зрелости и старости.

— Быть может, ты права, — задумчиво откликнулся он.

И только когда Алена положила трубку, Нюсик вспомнил, что так и не поздравил дочь с Новым годом.

Владимир НИКОЛАЕВ

Пять редакторов*
Из журналистского блокнота

Записки Николаева

С Владимиром Георгиевичем Николаевым я проработал много лет и сохранил о нем теплые воспоминания...

В далекие 60-е он взял меня, вчерашнего внештатника "Комсомольского племени", на работу – корреспондентом в газету "Південна зоря", окормлявшую сразу четыре района области. С тех пор я полюбил Бессарабию и одесские пригороды, пристрастился к шабским и староказачьим винам, да и озимые могу отличить от яровых.

Николаев был опытным, поднаторевшим в партийно-хозяйственных дискурсах руководителем. В меру требовательным, но, скорее, снисходительным к нам – молодым журналистам. Таким же Владимир Георгиевич оставался и в областной газете "Знамя коммунизма" (ныне "Юг"), где я прослужил при двух из пяти упоминаемых им редакторах – П.К. Волошенюке и И.П. Беленькове., а затем при Ю.М. Мазуре Николаев являлся их заместителем и, как я сейчас понимаю, был этим уязвлен. И на то наличествовали у него причины. Выпускник филфака Одесского университета, офицер-артиллерист, прошедший войну, раненный и награжденный, он, разумеется, заслуживал и первых ролей, но бдительное партийное око заметило в нем скорее лояльность, чем преданность, старательность, чем истовость – и вывело его на вторые позиции.

Думается, с годами Владимир Георгиевич оказался этому рад. Не знаю его социального происхождения, семейных убеждений, но могу предположить: Николаев если и исповедовал какую-то идеологию, то – одесскую. Согласно ей он не был подвержен национальным и конфессиональным фобиям, преклонялся перед одесской историей и стариной, обожал рыбачить с фофана в районе Большого Фонтана с незабвенным Александром Петровичем Шнайдером.

Другого редакционного острослова – Павла Борисовича Рейцина – считал своим учителем, привившим ему любовь к цирку, где оба были признаны своими людьми. Разумеется, Николаеву приходилось писать и отчеты с партсобраний, и заметки с производства, но, по моим наблюдениям, он более всего любил сочинять рецензии на цирковые представления, заметки об одесской старине и юморески в "Полундру" – сатирический раздел "ЗК".

Он уважал заведующего отделом культуры Александра Андреевича Щербакова – за консервативный профессионализм. Увы, последний из знаменских могикан недавно ушел из жизни...

* Рукопись датируется 1980 годом.

Николаев пережил своих редакторов, о которых пишет в публикуемых нами записках. При последнем из замреда его перевели в ответственные секретари, но даже на этой хлопотной, требующей нервоотдачи должности он был верен себе. Не суетился, не "брал в голову" и вел все тот же размеренный, чуть сибаритский образ жизни. Непреклонно ездил с Черемушек обедать домой – на Преображенскую, случалось, и подремывал, запершись в кабинете, зная, что я (его заместитель) не подведу своего шефа...

Как свидетельствует коллега, Олег Губарь, В. Г. не изменил своим привычкам и в газете Одесского университета "За наукові кадри" – на своем последнем редакторском посту. Он же добавил штрихи к портрету нашего редактора. Владимир Георгиевич уважал преферанс, но играл в него с той мягкой иронией, с которой и жил и работал...

Предполагаю, что Николаев вовсе не был урожденным пофигистом. Сверстники, с которыми он провел студенческую юность, помнили Володю совсем другим – романтиком, энергичным и порывистым... Однажды, когда мы коротали ночь в ожидании поступления в номер "ЗК" материалов очередного партийного съезда, Владимир Георгиевич, относившийся ко мне с симпатией, впервые и в единственный раз вспомнил фронтовые годы...

Он чудом избежал гибели – немецкий крупнокалиберный снаряд накрыл командный пункт батареи. Погибли все офицеры, а старшего лейтенанта Николаева контузило



**1963 год. Редактор "Південної зорі" В.Г. Николаев и его команда.
В нашей межрайонке в ту пору работали журналисты, ставшие впоследствии известными.
На снимке, сделанном при помощи автоспуска Михаилом Рыбаком, – Николай Омельченко,
Борис Слобидкер, Рафаил Град, Галина Швец, Юрий Сенкевич и автор этих строк,
а также одна их самых классных редакционных машинисток Рая Наумец.
Прошу извинения у коллег, фамилии которых запамятовал, – ведь прошло уже 43 года...**

и засыпало землей... Проходивший мимо образовавшейся воронки боец увидел чуть торчавший из земли сапог и, чего греха таить, решил сменить свои рваные ботинки на хоть какую обувь... Дернул за голенище – показалась нога, тронул ногу – теплая! Вытащил молодого старлея, убедился, что тот жив, и побежал догонять свой взвод...

Может быть, в это миг Владимир Георгиевич что-то понял о жизни и смерти...

Работая над его записками, переданными в наш альманах, я позволил себе не редактировать, а кое-где сократить их. Иначе пришлось бы снабдить их комментариями объемом в основной текст. Казалось бы, прошло всего 26 лет, а как изменилась наша жизнь, да и само понятие о журналистике, которой Владимир Георгиевич посвятил жизнь!

И все же, полагаю, события, некогда происходившие в нашем городе, люди, чьи имена когда-то были на слуху, небесстрастно запечатленные В.Г. Николаевым, найдут отклик в памяти и сердцах одесситов.

Феликс КОХРИХТ

Сначала немного хронологии:

Ф.В. Лифшиц (1944-1946) – 2 года
Г.В. Усть-Шомушский (1946-1949) – 3 года
Г.Г. Рыбин (1949-1960) – 11 лет
И.Б. Кигитов (I960-1963) – 3 года
П.К. Волошанюк (1963-1973) – 10 лет

Два человека в Одессе поставили рекорд редакторского долголетия. Это Рыбин и Волошанюк.

Шесть редакторов пережил я. И ровно шесть пережили меня. Ф.В. Лифшиц зачислил автора сих отрок в штат "Большевистского знамени" литрабом. И.П. Беленьков с удовольствием проводил меня на пенсию с должности отсекра "Знамени коммунизма". Между этими двумя "историческими" акциями пролегло тридцать пять лет без хвостика.

Пять редакторов. Какими они были?

1. Лифшиц (1944-1946)

Федор Васильевич Лифшиц был первым послевоенным редактором одесской областной газеты "Большевистское знамя" – ныне "Знамя коммунизма". Как только я переступил порог его кабинета, еще в шинели, но уже без погон, он строго спросил:

– Пьешь?

— Пью, — не солгал я.

Щелкнул ключ огромного редакторского сейфа (сейчас он стоит в приемной), и на столе появилась сулея с мутноватой жидкостью. Редактор бережно наполнил стакан:

— Давай!

Мне было двадцать шесть — и фронт за плечами. Я не поморщился.

— Еще?

— Нет!

— Будешь работать в отделе культуры.

Мне потом рассказали, что если бы я сказал "да", — я был бы назначен в отдел сельского хозяйства. Так случилось с Осиповым. У редактора были свои принципы подбора кадров.

Мы сидели в кабинетах третьего этажа в старинном доме на ул. Пушкинской, 32. Вместо сигарет курили махорку, вместо кофе хлебали самогон. Было холодно, центральное отопление еще не работало. В кабинетах стояли "румынки". Топлива было вдоволь — необъятные подшивки оккупационной "Молвы". Печи возмущенно гудели от этой макулатуры, которая сгорала необычайно быстро. "Молвой" обертывали ноги вместо портянок, а кое-кто из наших женщин пеленал детей — первенцев послевоенной пятилетки.

Однажды ночью "Молвы" не стало. Это была первая и, пожалуй, последняя репрессия в послевоенные годы. "Молву" увезли на ул. Бебеля.*

"Большевистское знамя" выходило половинным форматом "Правды" на четырех страницах. Мы организовали немало починов на фронте восстановления народного хозяйства города и области. Один из них — почин Анны Вельской, бригадира строителей порта, гремел на всю страну. Бельская выступила в редакции за "круглым столом". Она ездила в Москву и там рассказала о том, как наша редакция помогла ей стать передовиком-новатором. Вельской дали орден, ее избрали депутатом. Это была заслуга коллектива. Копейкина, Шнайдер, Осипов, Мельниченко, Могилевский работали в поте лица. Редактору жали руку в обкоме. Редактор жал руки нам. Все чаще открывался огромный редакторский сейф, все чаще звучала команда:

— Давай!

Любил наш редактор вспоминать фронтовые годы, оборону Одессы, в которой сам участвовал. В тот период он написал немало статей и корреспонденции, но славу ему принесло сочиненное лично им в 1941 году "Письмо фашиствующему фюреру от потомков запорожцев":

* В МГБ — КГБ (ред.).

"...Решили мы с тобой, сукин сын, поговорить один на один. Как завещали нам наши прадеды и деды, пусть на тебя обрушатся все беды. На этом мы писать кончаем и одного желаем, чтобы у тебя, пса, застряла во рту польская колбаса, чтобы ты со своими муссолинами подавился греческими маслинами. И тебя, свирепый ты гад, не минет советский снаряд. Передай это Герингу, Геббельсу и Риббентропу, а заодно поцелуй их в ...".

И далее следовала такая сочная рифма, что будь живы запорожские казаки, они остались бы довольны.

Этот образец эпистолярной литературы, как стало известно в 1945-м, был подшит в деле и хранился в берлинской рейхсканцелярии. Хорошо хранился. За семью замками. Под грифом "Совершенно секретно".

В тот первый мирный послевоенный год на страницах газеты загремело, засверкало имя Посмитного*. Большой очерк о нем написал Павел Мельниченко. И пошло! Макар Анисимович стал большим другом нашей редакции. До конца дней своих...

Лифшиц был веселым человеком, любил шутку, анекдот, экспромт. Редко летучка заканчивалась без смеха, без улыбки. Почему-то у всех в эти годы было хорошее настроение. Может быть потому, что только-только закончилась война, наступил мир, по нам не стреляли, нас не бомбили. Уже одно это было счастьем. Работалось легко, с подъемом, а ведь газета выходила под утро, мы много работали и ночью, недоедали, недосыпали. В командировку ездили в "дежурных" сапогах.

Лифшиц ввел "литературные среды". Осуществляли их мы — работники отдела культуры: А.В. Недзведский (мой первый зав.) и я. Андрей Владимирович вскоре ушел из редакции в университет, стал кандидатом, а потом доктором наук. Наш активный автор и по сей день. Моим новым заведующим отделом культуры стал Александр Петрович Шнайдер — талантливый фельетонист.

Одесские редакции подарили науке немало толковых людей. Кандидатом экономических наук стал Топорков — ныне дипломат, а был литработником отдела информации. Другой литработник, отдела пропаганды, Б.С. Прахье, стал кандидатом философских наук. Ответственный секретарь "Чорноморської комуни" И.В. Прокопенко уехал в Киев и там защитил диссертацию. В науку ушли Човганский, Иванченко, Гопченко... Сегодня говорят: "В науку пошел середняк", — но это к журналистам не относится.

Лифшиц требовал, чтобы каждую "среду" были встречи с интересными людьми. На Пушкинской, 32, побывали Максим Рыльский, Константин Паустовский, Любовь Орлова, Остап Вишня, Владимир Сосюра, Исаак Дунаевский.

* М.А. Посмитный, председатель колхоза, дважды Герой социалистического труда.

Дунаевского спросили:

— Чем объяснить, что в последнее время вы мало пишете?

— Иссяк Осипович, — шутливо ответил он.

Поэт-фронтовик Семен Гудзенко вдохновенной читал стихи:

Мы не от старости умрем,
От старых ран умрем...

Вскоре мы узнали печальную весть...

Цирковой артист Эмиль Кио был личным другом Лифшица. Однажды Кио пригласили на редакционную летучку. Из носов и ушей журналистов сыпались серебряные монеты, в карманах обнаруживались белые крысы, царило непринужденное веселье.

Под занавес Кио сжег на столе редактора все забракованные им рукописи, а годные отправил в цилиндр с помощью очаровательной ассистентки Кэти. Кэти уже в 1946-м была в "мини". Никто не возражал.

В одну из "сред" мне было поручено доставить в редакцию внучку Л.Н. Толстого Анну Ильиничну. Она остановилась на Даче Ковалевского. Помню, редактор, давая задание, сказал:

— Вот тебе сто рублей, бери любую машину, доставь, мы ждем.

У моря на веранде маленького домика сидели три старухи. Почему я решил, что самая высокорослая и полная и есть внучка великого писателя, не знаю. Но именно ее я усадил в открытый частный "виллис". Когда разговорились по дороге, то выяснилось, что она не внучка, а торговка рачками с Привоза, у которой остановилась Анна Ильинична. Пришлось возвращаться, но торговка не хотела выходить из машины, ей нужно было в редакции заявить о прохудившейся крыше. Анна Ильинична ее поддержала. Так я привез в редакцию двух старух: одну литературную, а другую торговую. На встрече обе уселись в президиуме. Их путали. Кончилось тем, что обеим преподнесли цветы. Василий Колосов сфотографировал подружек на память вместе с нашим редактором.

Всю жизнь буду благодарен Лифшицу. Он научил нас быть всегда в хорошем настроении, в любых ситуациях не теряться, познакомил с интересными людьми, был настоящим одесситом. "Ни часа без шутки" — его девиз.

К сожалению, редакторство его было непродолжительным. Но как здорово, что даже в самые грозовые для него дни он не терял чувства юмора.

Лившиц пришел с опозданием на то самое заседание бюро обкома, на котором его должны были снять с работы. Конечно, его спросили, почему он, всегда такой точный и пунктуальный, опоздал.

— Я знал, что это то самое заседание, на которое мне нечего спешить.

Члены бюро улыбнулись, но критиковали жестоко. Любого редактора, любую газету всегда можно раскритиковать в пух, это мы, газетчики, хорошо знали.

В конце первый сказал:

— Будете сдавать дела новому редактору, Усть-Шомушскому.

Лифшиц, любивший экспромт, и тут был верен себе:

— Усть? Ну и пусть! — громогласно заявил он.

Все же нам не совсем понятно было, почему Лифшица сняли с работы. Заведовать сектором прессы в обкоме еще оставался Гладштейн.

2. Усть-Шомушский (1946-1949)

Георгий Вениаминович Усть-Шомушский прибыл к нам из Донбасса. Всех удивляла его двойная фамилия.

— Из казаков, — авторитетно заявил Борисов.

В первый же день редактор заслал в набор и опубликовал трех номерах серию своих очерков о шахтерском крае. Чуть позже объяснил кое-кому:

— Обуться надо.

Пара хороших ботинок и составляла стоимость трех "подвалов". Очерки, правда, были сделаны на совесть. Они нам понравились. У Шомушского было удивительное чутье на людей. Именно при нем сложился костяк, на который долго опирался не один редактор. Он сплотил коллектив, умело переманивая лучших журналистов из других газет, из многотиражек, искал и находил способных корреспондентов для села.

Одним из самых способных сельских корреспондентов был Михаил Горбис. Материал он схватывал на лету. Был инициативен, оперативен. Чуть не хватало мастерства. Правки Шомушского ликвидировали этот пробел. Правил редактор умно, бережно, твердо, хорошо зная ситуацию.

Горбис совершал невероятные вещи. Рейд по области на самолетах? Пожалуйста! Всесоюзная перекличка свеклосеющих районов? Через три дня это уже было в газете. Встреча Посмитного с ведущими писателями Украины? Через пять дней к Посмитному слетались Гончар, Корнейчук, Василевская, Олийнык, Рыбак...

В дни уборки урожая Шомушский добился того, что был выделен персональный самолет, правда, двухместный. Редактор летал над областью, справлял нужду под крылом самолета, снова взлетал. Об этих полетах долго говорили потом в редакции. Материалов не было. Но важен престиж. Залетал редактор и к Горбису в Гайворонский район, где в селе

Хащеватом ел знаменитую фаршированную рыбу "фиш" в кабачке "У Бориса". Этот кабачок помнят многие. Там до сих пор висит список почетных гостей. Среди них Шолом-Алейхем, Менделе Мойхер Сфорим, Александр Корнейчук и... Шомушский. Жаль, что Гайворонский район отошел к Кировоградской области.

— Миша, — говорил, бывало, редактор Горбису, — редакции необходим фейерверк.

Горбис понимал эти слова буквально. В кабинет редактора заявлялись лучшие пиротехники области.

Шомушский подбирал журналистов не только по деловым и политическим качествам. Он любил быстрых живых людей. Ненавидел интриганов, подхалимов, стукачей и слухачей. Презирал наушничество. Для него все были равными друзьями по работе. За ошибки бил, но тут же все и кончалось.

Однажды мне довелось увидеть, как редактор ведет себя в обкоме. Случилась опечатка, в которой я был виноват. Нас обоих вызвали к секретарю обкома. Заходим в приемную. Шомушский шепчет мне на ухо:

— Ты хочешь видеть, как я захожу к секретарям?

И тут же, несмотря на приподнявшуюся секретаршу, открыл дверь, ведущую к первому, ногой.

Первый встретил нас приветливо. Разговор шел о новых кинокартинах, о театре, о пряниках, но только не об ошибке. В конце секретарь сказал, кивнув на меня:

— Я думаю, он понял.

— Прочувствовал, — сказал Шомушский.

— Вперед! — сказал секретарь.

Вот и все. Но о том, что Шомушский открывает дверь кабинета большого начальства ногой, узнала вся редакция. Я тому был не первый свидетель.

При Шомушском начали свою деятельность в нашей редакции Лист, Рейцин, Горбис, Щербаков, Петров, множество способных журналистов.

Листа он сделал ответственным секретарем. Рейцина боготворил. Так как тот в прошлом был железнодорожником, Шомушский переманил его из "Черноморского гудка" (ездил лично с Рейциным в командировки по магистрали). Их творческое содружество продолжалось неделю. Очерки об Одесско-Кишиневской тех лет и сейчас читаются с интересом.

— А как вы писали вместе? — спросили Павла Рейцина.

Тот ответил экспромтом:

— Исключение из правил:
Я писал, Шомушский правил.

Георгий Вениаминович развернул в редакции бурную хозяйственную деятельность. При нем был организован буфет по коммерческим ценам, функционировала парикмахерская, в библиотеке сидел сапожник. Буфетчица Аня и парикмахер Исай по утрам обслуживали редактора. Побрившись и выпив чаю с бутербродами, шеф начинал планерку ровно в 10.00. Планерки проходили живо. Шомушский критиковал невзирая на лица, умел зажечь. При нем впервые началось соревнование городов-героев на страницах газеты. Люди много ездили по стране, и за это были благодарны редактору. Когда началась трудная весна 1947-го, мы с Давидом Листом по заданию редакции выехали в Ивановский район и организовали там выездную редакцию "Большевистского знамени". Газетка выпускалась каждый день форматом 1/8 "Правды". Листок расходился по колхозам мгновенно. Он печатался в районной типографии. Не было электричества, и мы крутили плоскопечатную машину поочередно. Райком выделил нам скудный паек, но мы не жаловались. За работу в выездной редакции обком вынес нам благодарность. Была выдана премия: буханка хлеба и банка повидла. Вечером был пир.

В Ивановском районе не хватало тракторов. Пахали на коровах. Самым популярным лозунгом был: "Личных коров — в борозду!". Дело обстояло так: если председатель колхоза давал свою буренушку в борозду — все давали. Председатели показывали пример.

Шомушский умел работать с людьми, хорошо знал каждого, ценил ветеранов. За это его уважали. И все же однажды он допустил промах в кадровом вопросе.

В отделе писем работал старейший журналист, очень скромный и добрый человек Алексей Михайлович Борисов. Писал он мало, но умел организовать рабкоров, привлечь интересных авторов. Шомушскому показалось, что от старика мало пользы, что ему работать трудно. Борисову было предложено уйти на пенсию. Тот заартачился. Шомушский тоже. Коса на камень. В результате появился приказ об увольнении. Это было вопиющее нарушение не только профсоюзной демократии. В день, когда был издан приказ, Борисов получил поздравление редколлегии "Правды" по случаю шестидесятилетия. Он был одним из старейших рабкоров "Правды", участник обороны Одессы, рабочий поэт первых лет советской власти, которого хорошо знали Катаев, Багрицкий, Олеша, Ильф, Бабель, Бондарин. Но всего этого не знал Шомушский. Пришлось отменить приказ. Редактор публично извинился. Нам всем это понравилось.

Еще долгие годы Алексей Борисов работал в редакции и принес немало пользы. Мы отпраздновали его семидесятилетие и восьмидесятилетие.

Когда заходила речь о здоровье, Борисов отшучивался:

— Слава молоту и наковальне!

А может, и впрямь свое долголетие и богатырское здоровье он выковал за кузнечным горном. Еще в 1913-м году в "Одесском курьере" было напечатано его первое стихотворение под заголовком "Молотобоец":

Я взмахом жилистой руки
Кую железные плуги
И отдаю в закал огню
Мечи и крепкую броню.

Для нас, молодых, Борисов был человеком из легенды. Таким он стал и для Шомушского. Осенью сорок девятого распространился слух, что Шомушский уходит. В одном из кабинетов Могилевский стал на стол и начал громко комментировать это событие, а потом запел:

— Уходит, уходит Усть
Постигнет редакцию грусть...

Внезапно открылась дверь и в кабинет вошел Шомушский. Был конфуз.

Вскоре действительно Георгий Вениаминович уехал в Киев на учебу. В редакцию не вернулся.

3. Рыбин (1949 —1960)

Великий новеллист О. Генри однажды заметил: "Тот не знал и не познает никогда всей полноты жизни, если не ведал трех вещей: бедности, войны и любви".

Георгий Георгиевич Рыбин даже больше, чем кто-либо, познал все это.

Он пришел в журналистику из рабочей среды, трудился на Коломенском паровозостроительном заводе слесарем, прошел университеты на военной службе, на Дальнем Востоке, в газете "Тревога". Его закалил тридцать седьмой, просолил сорок первый, когда он еле-еле вышел из окружения, научил смотреть смерти в лицо сорок второй — сорок пятый.

В этом с виду суровом человеке удивительно сочетались твердость духа и доброта, щедрость сердца и простота, суровая проза и высокая поэзия. Он знал наизусть почти всего Маяковского, свободно декламировал Есенина, Надсона. Он цитировал наизусть целые страницы наиболее значительных произведений Ленина и Сталина.

Рыбин был отличным публицистом. Будучи заведующим отделом

партийной жизни редакции "Знамени коммунизма", часто ездил в командировки, много писал. До сих пор помню серию его статей о Кодымской районной парторганизации, о коммунистах "Январки", о восстановлении порта. Передовые писал редко, но на высоком идейно-политической уровне, остро. Они запоминались, были злободневны. Об этом часто говорили на летучках.

Когда Рыбин стал редактором, никто не удивился. С первых дней он сумел поставить себя.

Помню, когда в его кабинете однажды сидело много журналистов, раздался телефонный звонок. Инструктор обкома партии Кизилов делал замечания и поучал от своего имени.

— А кто это говорит? — спросил Рыбин.

— Инструктор Кизилов.

— Иди к чертовой матери, если не дальше! — выругался Рыбин и повесил трубку.

Редактор имел дело только с секретарями. Дверь, правда, к ним в кабинет ногой не открывал, как это делал Шомушский, но был с ними на дружеской ноге. Кизилов больше не звонил.

— Понимашь, — говорил Рыбин, — звонят да еще поучают.

Это "понимашь" было частым в его речи.

— Понимашь, надо распатронить Березовский райком, — говорил он мне.

И я ехал в командировку "патронить". Секретарем Березовского райкома партии был Лутов. То и дело он занимался фальсификацией, приписками. Борьба с этим злом только начиналась. Статья наделала шуму. Но Рыбин стойко отбивался, не дал автора в обиду. Лутова вскоре сняли с работы.

Более десяти трудных лет руководил Рыбин редакцией. И никогда перед трудностями не пасовал. Только уж очень любил переводить журналистов из отдела в отдел. Мне, например, пришлось работать и в отделе сельского хозяйства, и в отделе вузов, и в отделе промышленности литработником, потом стал заведующим отделом писем. Я недоумевал.

— Понимашь, — говорил редактор, — все это тебе, молодому, на пользу. Познаешь все горести и радости отделов — человеком будешь.

Сколько раз потом я с благодарностью вспоминал эти слова!

Главным отделом редакции Рыбин почему-то считал отдел писем.

— Оттуда ноги растут, — говорил он, — все самое интересное можно взять только из писем.

Особую заботу проявлял Рыбин о технических службах редакции, Он укрепил машбюро. Во главе его стала Фира Лазаревна Раскина. Нашу Фи-

рочку за быстроту печатания называют пулеметом. Многие ведущие писатели города, журналисты печатаются только у нее. Она действительно — одна из лучших машинисток города, а может быть, и Украины — космические скорости сочетаются с безупречной грамотностью. Высоко ценил Рыбин учетчицу отдела писем, а потом секретаря Наталью Делюкову, тогда еще совсем молодую нашу сотрудницу, которая пришла работать в редакцию сразу после освобождения Одессы войсками Красной Армии. Редактор пополнил корректуру квалифицированными кадрами: Шапко, Авижанская, Беер... С курьерами он был на равных, знал их жизнь от и до. С типографскими работниками здоровался только за руку. Умел работать на линотипе.

Рыбин был поэтом. Его стихи печатала "Комсомольская правда" в ту пору, когда он был рабочим в Коломне. Да и потом он "грешил", но читал рифмованные строки только в узком кругу. Наш редактор сочинил "100 заповедей журналиста". Не для печати. Иногда он их читал. Кое-что я переписал, кое-что помню:

— Тот же журналист, кто сидит на стуле, журналист тот, кто сидит верхом на столе или ходит вверх ногами.

— Тот не журналист, кто желает поскорее избавиться от собеседника. Каждый десятый посетитель — очерк, каждый десятый жалобщик — фельетон, каждый восьмой телефонный звонок — информация. Каждый новый человек — кусок жизни.

— Тот не журналист, кто не начинает и не заканчивает беседу словами: "А что же нового?".

— Лучшие друзья журналиста: швейцары, официанты, диспетчеры, шофера и дворники. Только у них можно узнать самое интересное.

— Тот не журналист, который не пьет с нужными для творчества людьми.

— Редактор мобилизует, а ответственный секретарь практически организовывает. Тот не журналист, кто не попадал между этими жерновами.

— Тот не журналист, кто не требует командировки.

— Тот не журналист, кто никогда не шагал из редакции ночью по опустевшим улицам.

— Тот не журналист, кому сразу нравится написанное им.

— Если приезжаешь в колхоз за положительной статьей, никогда не отказывайся от выпивки.

— Если идешь пешком, старайся иметь попутчика. Уединение опасно для творческой жизни.

— Тот не журналист, кто постоянно твердит о трудностях своей работы. Только один человек должен его понимать — жена.

Вот в таком духе.

Это были годы скоростного строительства важнейших государственных объектов. Журналисты работали на субботниках на сооружении вокзала Одесса Главная, на строительстве шоссе Одесса—Ленинград. Работали и писали об этом. На каждом таком объекте был журналистский пост "Знамени коммунизма". Рыбина можно было видеть то с лопатой в руках, то с заступом. Он любил физический труд. Грести, например, мог часами, и не как-нибудь, а так, что лодка стрелой неслась.

Мы часто рыбачили с лодки на 10-й станции Большого Фонтана. Иногда к нам присоединялся Александр Шнайдер, иногда поэт Игорь Неверов с романисткой Анастасией Зорич, реже Константин Осипов — очень способный, инициативный, но безвременно ушедший от нас журналист.

Технику ужения и на реках, и на море усвоил великолепно, знал тонкости этого дела. Умел вязать скумбрийные и ставридные самодуры. А это не так-то просто. До сих пор вспоминают о нем фонтанские рыболовы-любители, да и профессионалы тоже.

Рыбин поставил рекорд редакторского долголетия. Проработал на посту редактора 11 лет. До него в Одессе никто не мог похвалиться таким стажем. Рыбина тепло провожали на пенсию. Так, пожалуй, никого не провожали.

4. Кигитов (1960-1963)

Долгое время Иван Борисович Кигитов был у Рыбина заместителем, и на этой должности слыл тихим, внимательным, вроде добрым человеком, даже скромным. Но все это было за широкой спиной такого редактора, как Рыбин.

Будучи заместителем, все чего-то выжидал. Характерная деталь: стоило Рыбину заболеть или уйти в отпуск, как Кигитов разворачивал бурную деятельность. Сильный коллектив есть сильный коллектив. Создавалось впечатление, что Кигитов умеет... Но, став редактором, он направлял эту свою бурную деятельность в личную пользу... Нет смысла долго говорить о его недостатках. Их было много...

Первые два года все шло по инерции. Заведенная Рыбиным и его предшественниками машина двигалась по прямой. Шли премии из ВДНХ, были и положительные обзоры республиканских газет. Но коллектив все видел, знал и чувствовал, что что-то "не тее". Инерция угасала, шел третий год руководства газетой новым редактором.

И вот однажды на партсобрании посыпались на Кигитова критические замечания, едкие, колкие, но принципиальные, справедливые. Одно, второе, третье... не счесть.

О, если бы человек понял! Если бы, как Шомушский когда-то, признал свои ошибки, извинился, поправился. Но нет, не понял, стал в позу, понадеялся на поддержку кое-кого. Кигитов не удержался от соблазна считать себя непогрешимым.

Полушутя-полусерьезно, не помню, кто из маститых писателей, вывел в свое время следующую формулу: человек — это дробь, где числитель — то, что он есть, а знаменатель — то что о себе мыслит. Чем больше знаменатель по отношению к числителю, тем меньше дробь.

В постановлении собрания, на котором так остро критиковали Кигитова журналисты, были слова: "...довести до сведения обкома партии"...

В ту пору (1963 г.) секретарем обкома партии по пропаганде была Лидия Всеволодовна Гладкая. Мы уважали эту умную и образованную женщину. Она хорошо понимала журналистов, и журналисты понимали ее. Держала себя просто, давала разумные советы, не раз выручала нашего брата, попавшего в трудное положение, часто ненароком заезжала в редакцию. Мы получали от нее очень важную информацию, что помогало избегать многих накладок.

Не все знают, что Гладкая коренная одесситка, что она окончила исторический факультет университета перед самой войной. Будучи студенткой, много занималась спортом. И серьезно. В баскетболе была чуть ли не мастером. В те времена женская сборная одесского университета по баскетболу была одной из сильнейших команд Одессы, а среди студенческих команд одной из лучших на Украине. Играя за сборную, Гладкая побывала во многих городах страны. Помню матчи и тренировки с ее участием во многих спортивных залах. За быстрой стройной фигуркой Личи (так ее все тогда звали) всегда пристально наблюдал студент-историк Коля Шарыгин, будущий ее муж, впоследствии блестящий дипломат, увы, не доживший до наших дней. Гладкая везде успевала, была наиспособнейшей студенткой, большой активисткой в общественной жизни. В послевоенные годы она была секретарем ЦК ЛКСМУ, потом работала в Одесском горкоме партии. И вот — обком...

— Нормальный человек, — говорили о ней журналисты. И это была высочайшая оценка.

Нам нравилось, что Гладкая была настоящей одесситкой, что ее никогда не покидало чувство юмора.

Известный дореволюционный, но очень прогрессивный журналист Влас Дорошевич писал: "Одессой и одесситами должны руководить только люди, влюбленные в этот неповторимый город, в одесситов, понимающие одесситов, не лишенные чувства юмора...".

К сожалению, на больших руководящих постах в Одессе побывало немало "варягов", не знающих Одессы и одесситов, не любящих их, и тем самым нанесших большой ущерб нашему общему делу.

Говорят, спортивные журналисты любят подсчеты: очки, голы, секунды, кто, где, когда. Но подсчеты бывают и другого рода. Перелистайте подшивки одесских газет, пороитесь в партархиве — и вы узнаете, что за послевоенные годы 146 руководящих "варягов" были с треском сняты с работы.

Из всех секретарей обкома партии я особо выделяю двух замечательных людей, которые запомнились на всю жизнь своей человечностью, талантом, эрудицией, умением работать с людьми, тактом и партийной принципиальностью. Это первый секретарь обкома партии пятидесятых годов Алексей Алексеевич Епишев и не первый секретарь шестидесятых годов Лидия Всеволодовна Гладкая...

Л.В. Гладкая поддержала мнение большинства коммунистов редакции. Вопрос о Кигитове был поставлен на бюро. Финита ля комедиа.

5. Волошанюк (1963 — 1973)

Он был одним из тех, кто работал в нашей газете еще до и во время Великой Отечественной войны.

Листая подшивку "Большевистского знамени" за июнь-август 1941 года, я не раз встречал его фамилию под фронтовыми корреспонденциями.

Молодой Волошанюк работал в молодой газете. Всего только три с половиной года исполнилось "Знамени", когда началась война. И не знал, и не ведал начинающий журналист, что судьбе будет угодно сделать его редактором этой газеты, когда ему уже стукнет 49. Одиннадцать лет оставалось до пенсии, и ровно 10 лет он был редактором нашей газеты.

— Редактору газеты очень важно вовремя уволиться, — шутил Волошанюк.

Коль зашла речь о войне, не могу не сказать о журналистах, которые, как и Волошанюк, давали свои статьи с переднего края обороны Одессы. Это А. Борисов, М. Макаров, П. Мельниченко, К. Шарапов. Давид Лист работал и печатался тогда в "Черноморской коммуне". Михаил Мельман был художником фронтовых газет и после войны снова пришел в редакцию "Знамени коммунизма".

Волошанюк имел за плечами огромный опыт партийно-политической работы, приобретенный им во время войны и в послевоенный период. Был он редактором и винницкой областной газеты, и других газет, много лет работал в отделе агитации и пропаганды Одесского областного комитета партии, руководил одесской телестудией.

Конечно на фоне Кигитова Волошанюк выглядел куда ярче, умнее, привлекательнее. Он многих знал в городе и области. И его многие знали. При нем в газете активно сотрудничали заслуженный агроном УССР И.В. Вовченко, лауреат Государственной премии ученый-аграрник Б.Э. Берченко, токарь-скоростник Г.И. Нежевенко, моряки А.М. Хасин, П.М. Мыльников, профессор В.Г. Коновалов. Газета была интересна выступлениями писателей Ивана Гайдаенко, Ивана Рядченко, Игоря Неверова, Владимира Лясковского, Юрия Усыченко, Юрия Трусова, Григория Карева.

В эти годы было много нервотрепки. То газета становилась органом промышленного обкома, то нормального. То она дублировалась на украинский язык, то снова выходила на одном русском. То сокращались штаты, то пополняясь, но никогда не разбухали...

При Волошанюке мы отпраздновали двадцатилетие Победы. В 1965-м был выпущен объединенный номер газет городов-героев: "Московской правды", "Ленинградской правды", "Волгоградской правды", "Славы Севастополя", "Киевской правды" и одесской "Знамя коммунизма". Керчь, Новороссийск и Тула тогда еще не были в числе городов-героев. Тогда, в 65-м, и появился девиз "Первыми были в суровом бою, первыми будем в мирном строю!". "Правда" похвалила наш объединенный номер. Традиции, зародившиеся в тот год (дружба, перекличка, соревнование городов-героев), живы и сейчас.

До и после XXIV съезда КПСС "Знамя коммунизма" вела рубрику "Хозяйствовать эффективно, экономически грамотно". Под этой рубрикой были опубликованы статьи о проблемах рентабельности, прежде всего, животноводства, отдельных хозяйств, об использовании малопродуктивных земель и неудобий, о поливных гектарах, о бережливости, о том, что дает рубль, вложенный в производство, об экономической науке и практике. Большой популярностью у читателя пользовались рубрики "Берегите, храните как зеницу ока землю" и "Фермы: резервы и перспективы". Много сделал для становления сельхозотдела газеты П.П. Михайлюк, а с приходом в нашу редакцию способнейшей журналистки Беллы Кердман отдел стал еще глубже, ярче освещать аграрные вопросы.

При Волошанюке расцвела "Полундра". Надо сказать, что Кигитов умалил ее значение, и она на некоторое время исчезла со страниц газеты. Посыпались письма в редакцию. "Полундра" была полностью восстановлена во всех правах. Ее творец Александр Петрович Шнайдер (Карп Полубаков) — один из старейших сотрудников редакции, ветеран войны, автор многих фельетонов, либретто оперетт, пьес, "капустников" в одесском Доме актера.

Нет нужды рассказывать о выступлениях "Полундры". Перелистайте подшивку за 15 лет, обратите внимание на 4-ю страницу воскресных номеров. Короткий фельетон Карпа Полубакова ожидался с нетерпением. Была хорошая действенность. Было ОТК "Полундры". Ее знали во многих городах. "Клуб "12 стульев" "Литературной газеты" благосклонно относился к ней.

Однажды в канун 1 апреля мы сообщили "Клубу 12 стульев" в ответ на его просьбу, что:

1. Одесса намерена смеяться круглый год без выходных и даже первого апреля.

2. "Клубу 12 стульев" следует переехать на Дерибасовскую.

3. Необходимо возвратить "Рога и копыта" их законным владельцам — нашим землякам.

4. В Одессу следует направить по путевкам Литфонда неизвестных доселе юмористов и сатириков. Расходы отнести по статье "Подготовка кадров".

5. И вообще, Одесса не возражает против установления звания "Столица смеха".

Это шуточное послание было использовано на последней странице "Литературной газеты".

Несколько лет спустя, во второй половине 70-х, когда первым в обкоме уже был Н.К. Кириченко, "Литературная газета" вернулась к идее сделать Одессу столицей смеха хотя бы на один день — 1 апреля (ср. хороший пример болгарского Габрово). В Одессу был направлен авторитетный представитель "Клуба 12 стульев", но вернулся он в Москву ни с чем. А ведь беседовал с первым. Вот еще один пример того, как "варяги" расстреливают хорошее настроение одесситов.

И дело не только в 1 апреля. Дело в стиле руководства. В Одессе оно должно быть немного иным, не таким, как в других городах, хотя юмор ценится везде. Честное слово — прав был поэт Иван Рядченко, когда утверждал, что в 1941-м

Об одесский бессмертный, прославленный юмор
Разбивались смертельные пули врага.

Волошанюк это понимал. За что и был уважаем.

Как часто собираясь мы у "Копилки", которую содержал Рейцин. Павел Борисович читал нам строки из писем в редакцию:

"Хочу познакомиться с Карпом Полубаковым, хотя знаю, что это невозможно — его образ собирательный".

"Там, где пройдет ремонтная бригада, не пройдет и человек".

"Книга, завернутая в ксилофон".

"Отопление дореволюционное — буржуйка".

"Я не буду художественно изощряться".

"Мавр сделал свое дело, мавр может получить премиальные".

"Жалобный донос".

"В коммунальной квартире не въедешь в коммунизм".

"Я мать почти что двоих детей".

"Мужские трусы имели скрытые дефекты".

"Прошу объявить благодарность медсестре за умение сделать любой укол, за умение войти в вену".

"В процессе ссоры мадам Цапкина показывала Беренбойму неприличные места".

Все это нарочно не придумаешь.

В общем-то, Волошанюк хорошо относился к людям, ценил юмор. Был предельно вежлив, заботился и о ветеранах, и о молодежи.

Не знаю почему, но в годы, когда редактором был Волошанюк, в газете случалось немало ошибок, опечаток, накладок. Кое-какие увидели свет, а кое-что заметили "свежеголовые", успели исправить. Вот только некоторые:

"Промыленный (вм. *промышленный*) обком"

"Ночная реакция" (вм. *редакция*).

"Комсомольцы совершили рейд по тюрьмам" (вм. *по трюмам*).

В объявлениях: кино "Кто вы, доктор Горбис?" (вм. *Зорге*).

"Эстрада уходит на Запад" (вм. *эскадра*).

"Завод имени Мельмана" (вм. *Тельмана*).

"Коллектив Израильского порта" (вм. *Измаильского*).

"Племенные ребята" (вм. *пламенные*).

"Надо, чтобы музыка эротически обогащала" (вм. *эстетически*).

"Развитие мелочной промышленности" (вм. *молочной*).

"Спусковые объекты" (вм. *пусковые*), ну и т. д.

Не знаю, почему так много ошибок было при Волошанюке. А может быть потому, что я у него был заместителем...

Но уволили Петра Корнеевича Волошанюка не за ошибки, а по старости. Пенсия нормальная — персональная, что и требовалось доказать.

"Пусть арфа сломана, аккорд еще рыдает..."





В 1909 г. в одесской периодике наблюдался очередной взрыв издательской активности. Энтузиасты, достав деньги на первые номера и придумав броские названия, смело начинали свое дело. Так появились, например, ежедневная газета "Одесская жизнь" (редактор-издатель М.Е. Школьник; выходила с 30 мая по 30 июня) и иллюстративный, литературный, сатирический и юмористический журнал "Одесские тайны" (редактор-издатель Б.И. Сапожников; вышло восемь номеров с середины июля по декабрь).

Сапожников владел коммерческой типографией по Ришельевской улице, дом № 27. Редакция давала обещания, которые сразу же настораживали: "Журнал будет первым в Одессе и единственным на всем Юге России... Мы задались целью поставить это издание на такую высоту, что наши читатели будут им более чем довольны... Еженедельно журнал будет давать иллюстрации на все выдающиеся местные и мировые события. Оригинальные карикатуры, оригинальный юмор...". Однако энтузиазм явно превышал реальные возможности.

Вскоре уже сообщалось следующее: "Ввиду технических затруднений, настоящий номер журнала выходит в несколько уменьшенном объеме и с меньшим количеством иллюстраций. В будущем все №№ журнала будут полнее во всех отношениях...".

И все же газета "Одесская жизнь" и журнал "Одесские тайны" дают возможность почувствовать настроения и круг интересов одесситов той короткой поры затишья, когда люди отошли немного от событий 1905-1907 гг. и еще не нача-

лась первая мировая война и все последующие страшные катаклизмы первой трети XX века.

В периодике сообщалось о каких-то далеких "персидских событиях", а в основном разбирались житейские ситуации, быт одесситов, "страшные находки", варьировались сюжеты адюльтера, сопровождавшиеся забавными рисунками или пересказы очередной "потрясающей драмы" – свахи, махинации, "таинственные убийства". За неимением наших современных телесериалов горожанам ежедневно предлагалась порция завлекательного романа под интригующими названиями: "Одесская тигрица", "Маркиза-воровка", "Романтическая загадка", "Погибшая жизнь" и тому подобное.

Вот-вот в Одессе должны были пустить электрический трамвай. А бой быков на Куликовом поле так и не состоялся – городская управа отобрала разрешение на проведение этого мероприятия, выданного раньше г. Кришталеву.

За пустяками мелькали и действительно серьезные сообщения, показывающие, в каком ярме бесправия и материальной нищеты пребывали многие жители местечек. Воспрещение же евреям жить легально во многих городах зачастую ставило в затруднительное положение симфонические оркестры и драматические труппы, потому что их лучшие участники должны были выехать в черту оседлости.

На страницах газеты "Одесская жизнь" встретились стихотворные зарисовки Николая (Наума) Топуза под псевдонимами Н. Туз, Н. Т-уз, под которыми он потом активно работал в журнале "Крокодил" (1911-1912 гг.).

Несмотря на внешнюю безыскусность этих изданий, они вносят свою небольшую лепту в историю нашего города.

Татьяна ЩУРОВА


ОДЕССКІЯ ТАЙНЫ
Иллюстрированный, литературный, сатирический и юмористический журналъ
№ 7
Воскресенье 25 Октября 1909 года.
ОДЕССА.
Утромъ, днемъ и вечеромъ.


Злодѣяніе въ церкви.
Ужасы жизни
Драма на морѣ.
Происшествія
За кончикъ пера.
Театральные обѣты.
Врачи-аферисты.

За сутки.

Наконецъ-то!

У насъ будетъ электрическій трамвай.

Да, да, будетъ!

И напрасно вы, читатель, недовѣрчиво качаете головой...

Я говорю совершенно серьезно.

Самъ читалъ (не помню только въ который-то разъ), что соглашеніе между гор. общественнымъ управленіем и г. Легоде уже достигнуто.

Да, оно достигнуто! Хроникеръ, сообщившій это сенсаціонное извѣстіе, захлебываясь отъ восторга, добавляетъ, что на этихъ дняхъ проектъ будетъ отправленъ въ Петербургъ на утвержденіе.

Сколько разъ повторялось это "на-дняхъ".

А между тѣмъ "возъ и нынѣ тамъ".

А все-таки когда-нибудь у насъ будетъ-же электрическій трамвай!

НАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ



Альбомъ одессита

"Автомобили"

Въ Одессѣ всѣ безъ исключенья
На злобу дня заговорили.
Еще бы! Прямо безъ стѣсненья
Калѣчатъ насъ автомобили.
То на прохожаго наѣдутъ,
Городового переѣдутъ:
Летитъ стрѣлой, вздымая пыль,
Несчастье всѣхъ — автомобиль.
Автомобильныя шоферы
Вредятъ не хуже намъ холеры,
И если дальше такъ пойдетъ,
Въ Одессѣ жизнь совсѣмъ замретъ.
Усерднѣй всѣхъ толстякъ извѣстный,
Богачъ, коль знать хотите, мѣстный,
Большимъ имуществомъ владѣетъ,
Зато людей калѣчить смѣетъ.
На путь всесильнаго прогресса
Вступила милая Одесса:
Бывало дрожки насъ давили,
Теперь-же мнутъ автомобили.

Н. ТУЗЪ



Плачъ одессита

Намъ скучно... Намъ грустно. И негдѣ веселья искать...
Проходятъ тоскливо дни, ночи...
И хочется горько стенать и рыдать...
Ахъ, больше страдать нѣтъ ужъ мочи.

—

Давно-ли неслася кипучей волной
Веселая жизнь на бульварѣ...
А мы наслаждались прекрасной весной
И жили въ любовномъ угарѣ?..

—

Давно-ли молились мы мощнымъ борцамъ,
Для нихъ очищали карманы...
Иль съ пыломъ лишь свойственнымъ нашимъ сердцамъ,
Холили, любили шантаны?..

—

Теперь-же забыты борцы и борьба,
Закрыты всѣ кафе-шантаны...
И нынче... (Ты, право, жестока, Судьба!)
Остались намъ лишь Фонтаны...

—

Съ надеждой и вѣрой мы ждали
Грядущаго боя быковъ...
Напрасно... Мы все потеряли,
Оставшись в роляхъ "дураковъ".

—

Намъ скучно и грустно... Гдѣ счастья искать?
Отъ боли сердечной хочу я кричать...
Но, впрочемъ... Вѣдь нынче опасно роптать...
И лучше... я буду молчать.

Митридатъ.

АФОРИЗМЫ.

Женщины равны тѣнямъ: гонишься за ними, онѣ удираютъ, а удираешь отъ нихъ, онѣ гонятся за тобою.

* * *

Хорошій адвокатъ равенъ піявкѣ, хоть онъ дѣйствительно высасываетъ кровь, все таки онъ нерѣдко помогаетъ.

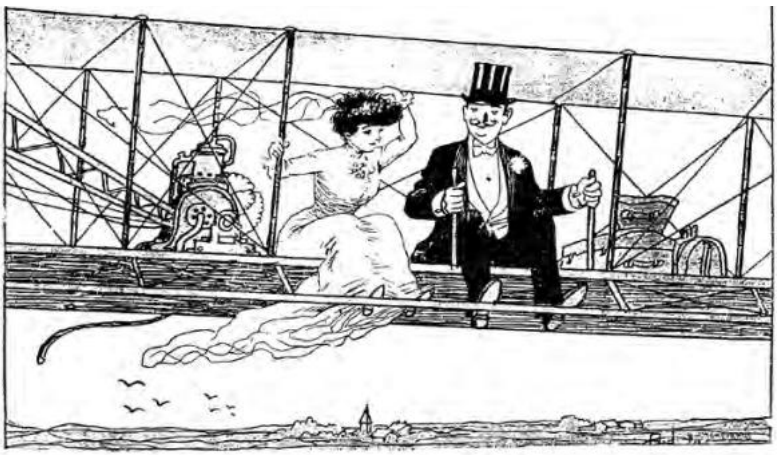
* * *

Фальшивые деньги дѣлаютъ люди, фальшивыхъ людей дѣлаютъ деньги.

* * *

Въ настоящее время конкуренція равна маленькому одѣялу, которымъ каждый хочетъ прикрыться не считаясь съ тѣмъ, что другіе останутся не прикрытыми.





ПРАВДА О ЖЕНЩИНЕ

Женское сердце

Чрезвычайно обширно. Может вместить одновременно от 2 до 3 мужчин и еще одного молодого человека.

Бьется совершенно особенно: в такт вальсу.

Женские глаза

Омут, в котором ничего не видно.

Обладают способностью принимать различные оттенки: под цвет платья и даже мебели.

Лгут даже тогда, когда кажется, что женщина говорит правду.

Женские клятвы

Писаны помелом по воде, угольком в трубе, мелом по льду, веером в воздухе.

Женские слезы

Обладают следующим составом: девяносто девять сотых — воды, одна сотая — морской соли.

Сохнут чрезвычайно быстро, но жгут руки мужчин, как каленое железо (напрасно!). Пятен на платье женщин не оставляют.

Женские поцелуи

Что и говорить, приятны, но опасны. Туманят мужчинам голову, лишают рассудка, отравляют кровь.

Несомненно, что содержат в себе еще неисследованный наукою яд.

Женская логика

Я всегда права — ты всегда виноват.

Я так хочу!

Значит, ты меня не любишь!

Женская арифметика

Дважды два — а все-таки выйдет по-моему!





Маркъ Твенъ и воры.

(Анекдотъ изъ жизни великаго писателя).

Про Марка Твена разсказываютъ забавный анекдотъ.

Однажды, на дачѣ въ Рединѓѣ, знаменитый юмористъ былъ внезапно разбуженъ среди ночи. Его секретарша, миссъ Ліонсъ, обезпокоенная подозрительнымъ шумомъ, встала, чтобы узнать, въ чемь дѣло. Она замѣтила двухъ воровъ, которые при свѣтѣ электрическихъ карманныхъ фонарей, уносили часть дорогого фамильнаго серебра. На ея зовъ прибѣжали слуги и самъ Маркъ Твенъ. Всѣ бросились розыскивать скрывавшихся воровъ. Миссъ Ліонсъ, боясь, что престарѣлый писатель утомится – настояла на томъ, чтобы онъ снова легъ спать. Онъ дѣйствительно легъ въ постель, но предварительно велѣлъ подать себѣ кусокъ бѣлой папки и написалъ на ней громадными буквами слѣдующее объявленіе:

"Вниманію слѣдующаго вора".

Въ этомъ домѣ держатъ и впредь будутъ отнынѣ держать исключительно лишь мельхіоровыя вещи. Ихъ вы найдете въ мѣдномъ ящикѣ, въ углу, тамъ, гдѣ стоитъ корзинка для кошки. Если вамъ понадобится корзинка, то переложите котятъ въ мѣдный ящикъ. Но, – главное не производите шума. Это безпокоитъ нашу семью. Туфли стоятъ въ передней, рядомъ съ тѣмъ приспособленіемъ, въ которомъ стоятъ зонтики, кажется, эту штуку называютъ шифоньеркой или перголой или чѣмъ-то въ этомъ родѣ. Пожалуйста, не забудьте закрывать за собою выходную дверь.

Съ совершеннымъ почтеніемъ

С. Л. Клеменсъ".

Этотъ плакатъ, за подписью настоящей фамиліи великаго писателя (Маркъ Твенъ – псевдонимъ) былъ впослѣдствіи прибитъ ко входной двери. Но еще въ то время, какъ великій юмористъ составлялъ свое юмористическое заявленіе, воры были пойманы и препровождены въ ближайшій участокъ.



Маленькіе Одесскіе разсказики.

Открытіе

Федоръ Андреевичъ Усть былъ маленькимъ человѣкомъ въ одной большой газетѣ. Тамъ онъ писалъ долго долго, и все маленькіе маленькіе замѣтки.



Однако, вскорѣ волею Судебъ Ф. А. Усть сделался большимъ человѣкомъ въ маленькой копеечной газеткѣ.

Съ этихъ поръ онъ сталъ писать большіе большіе фельетоны, даже дѣлать немаловажныя открытія. Такъ какъ-то онъ изрекъ: – Владиміръ Мономахъ былъ прадѣдомъ Владиміра Святого. И написалъ въ одномъ изъ своихъ глубокомысленныхъ фельетоновъ: – Еще Владиміръ Мономахъ говорилъ: "Тяжела ты шапка Мономаха!".

"На чертей"

Одинъ фотографъ имѣлъ очень скверную привычку.

Когда къ нему приходили за деньгами служащіе, онъ говорилъ: – На чертей мнѣ фотографія, когда нужно деньги платить.

Вскорѣ фотографъ этотъ открылъ бани, и попрежнему говорилъ: – На чертей.

Затѣмъ началась издательская эпидемія, онъ принялся за изданіе копеечной газеты. Когда за деньгами приходили сотрудники, фотографъ-банщикъ-издатель говорилъ: – На чертей мнѣ фелетонисты, на чертей мнѣ репортеры и ментропажи когда имъ нужно денегъ платить. На чертей имъ деньги, чѣмъ они жили раньше, что они до газеты лопали...

Этотъ фотографъ никогда не снимался въ собствѣнной фотографіи, никогда не мылся въ собственныхъ баняхъ, но зато его часто ругали въ собственной газетѣ, и онъ говорилъ: – На чертей мнѣ все это. А впрочемъ, – вѣдь я – У. М. Анскій

Исторія одной жизни

Оглавленіе.

I. Рожденіе Файвуша. II. Первыя похожденія Файвуша въ Минскѣ. III. Юность и ученіе Файвуша. IV. Файвушъ уже докторъ. V. Файвушъ работаетъ во всю. VI. Успѣхи Файвуша – онъ рэбе. VII. Файвушъ богатѣетъ, община бѣднѣетъ. VIII. Файвушъ чуть ни лопается съ жиру. IX. Файвушъ объѣлся. X. Файвушъ начинаетъ колебаться. XI. Файвуша поймали. XII. Файвушъ старается оправдаться. XIII. На Файвуша сыпятся удары. XIV. Всѣ дѣла Файвуша открыты. XV. Файвушъ летитъ. XVI. Файвушъ опять докторъ.



Оводъ.

Владимир КАТКЕВИЧ

Стукач на судне

Запаренный третий механик в четыре часа утра вышел из машинной шахты после вахты и обнаружил у двери собственной каюты застывшего в известной позе пожарного матроса. Пожарник подглядывал через замочную скважину в каюту механика, где выражались скрипучим петрушечьим голосом. Третий простецки припечатал стукача рабочим ботинком-"гадом". Поджопник был убедительным, любопытный матрос впрессовался предглазьем в ручку двери. Попугай в каюте заорал:

— Кто сказал на боцмана рашпиль?!

Самое забавное, что байку эту автору излагали в попугайных подробностях на разных судах, и на каждом даже показывали конкретного пожарника-стукача, с которым она произошла. Вот как укоренился в сознании факт обязательного присутствия доносчиков на борту.

От Путивля до Гаити

На пассажирских судах пожарной вахте положено наблюдать за порядком, чтоб не разводили на палубе костры, не запускали шутихи и петарды, и в пожарном порядке сигнализировать о замеченных нарушениях, а также докладывать обо всем интересующем сотрудникам органов, которые обязательно внедрены в экипаж, их обозначали пятыми помощниками капитана. Экипаж задачи стукачей-пожарников понимал, даже сочувствовал часовым огня: ведь это можно очуметь: четыре часа бродить по пароходу и пугать парочки на пеленгаторной палубе!

На том же теплоходе "И. Франко" позже плавал пожарным матросом начальник особого отдела армии Ковпака, подаривший судовой библиотеке книгу "От Путивля до Карпат". Неутомимый конник на закате жизни, используя связи, надумал продолжить беспримерный переход от Путивля до Гаити. Вот этот героический партизан точно был в глубокой отставке, но при памяти. Он отличился в Кристобале (Колоне), славившемся уличными ограблениями. Обычно к пожилой пассажирке подкрадывался воришка на мопеде, вырывал ридикюль и нажимал на газ. Когда у барышни из ковпаковской группы мулат вырвал кошелек, коротышка-ветеран ухватил мопед и приподнял заднее колесо, чтоб не утек. Потом он ловко перебросил мотоворишку через себя и обезвредил болевым приемом, нажав коленом на глазное яблоко. Так что конкретная материальная польза от этих ребят присутствовала.

С пожарниками все понятно — работа у них чуткая. На расширенные полномочия претендовал также шифровальщик, была такая загадочная должность на лайнерах, и, разумеется, доверием органов были обличены пассажирский помощник, старший администратор, метрдотель ресторана, еще начальник бассейна и сауны. О связях с органами догадывались, положено было догадываться и демонстрировать пиетет.

Джек Лондон с Бебеля

Полномочия обнаруживались уже в терводах, когда проводился досмотр силами экипажа. По приходу "Л. Собинова" в Одессу из Австралии некто Гу-в, воинское звание его тогда по слухам было небольшим, кажется, старший лейтенант КГБ, просочился к порогу каюты автора вместе с таможенником и приказал:

— В этой каюте прошу сделать досмотр особо тщательно!

К машинной команде этот ответственный товарищ никакого отношения не имел, экипажу его в секретном качестве не представляли и не рекомендовали. В судовой роли, где за лишние рты фирма-фрахтователь платить не расположена, уполномоченный был записан старшим администратором, "Л. Собинов" был его первым судном. Для автора же турбоход был пятым в череде морских судеб, он к тому времени уже успел повидать пять континентов, ходил старшим группы в увольнениях, побывал в комсоргах машинной команды и был, наконец, тоже офицером, вторым рефмехаником. Помню, гражданин начальник-администратор любил в волейбол резвиться, боролся с полнотой. Это когда в тропиках в котельном отделении было 45 градусов. Еще в глаза не был расположен смотреть.

Таможенник на его рекомендации реагировать не спешил, попросил не волноваться, видимо, был неплохим психологом. Моряцкий бизнес у автора как-то всегда пробуксовывал, с контрабандой так и не заладилось — не дано.

За месяц до злополучного досмотра, в ночь накануне выхода турбохода "Л. Собинов" из сухого дока, в Триесте случился пожар. Мы спускались в шахту рефотделения по скобам, передавали из рук в руки огнетушители. В задымленный туннель ушли в связке боцман с двумя матросами... Переборка топливного танка накалилась и деформировалась, все знали, что взрывы танков даже после дегазации не бог весть какая редкость. В это время ответственный товарищ вращался в толпе наверху, возможно, фиксировал разговоры. Пожар локализовали и потушили без него. Оказалось, итальянцы оставили включенным сварочный трансформатор. Если

бы рванул танк, то он бы писал отчеты о нашей гибели, не исключено, что приплюсовал бы и халатность погибших.

Когда горели в Суэцком канале, он тоже околачивался по верхам, столовую команды тушили пятнадцать минут. По статистике, пожар, продолжающийся на пассажире более 20 минут, потушить практически невозможно. Девочки оставили подсолнечное масло в противнях включенных плит, а сами пошли накручивать бигуди перед вечером отдыха экипажа. Масло вспыхнуло. Вентиляция подняла языки пламени до подволока и понесла горящие куски пластмассы в помещения.

Следом за нами шел авианосец "Клемансо" с тоннами авиационного керосина, оружием, и ядерным, в комплекте. Скорость в канале для каравана регламентирована 7 узлами — ни вперед, ни назад. Было бы справедливо наградить правительственными наградами многих стран рядовых тружеников, предотвративших ядерный взрыв небывалой силы. Наверное, случись такое, он бы был отмечен посмертно чувствительнее, чем все мы, грешные.

Возможно, он уже генерал или даже адмирал государственной безопасности, принимая во внимание морскую специализацию. Если сохраненному воинскому званию адмирал Канарис обязан прежней службе, то у этого гвардейца необычное для строгих органов звание вполне оправдано.

"Ах, неужто, ах, неужто снова в порт пришла "Алушта"

Откуда брались "пятые помощники капитана"? О том, что они непременно есть, что прислушиваются и присматриваются, знали все. Это удобно. Чтобы держать с трудом визированных в напряжении, скрывая собственные промашки.

Максимыч, знакомый автору уже по береговым обстоятельствам, в свое время окончил Водный институт. Возможно, симпатичный общительный студент был замечен еще во время учебы, почему ему и предложили поехать в город Могилев, где напротив городской тюрьмы располагалась высшая школа КГБ. Именно в период его учебы в грозном учреждении у него вышел сборник стихов с лирическим названием, — тогда случалось, книжки тоже печатали по звонку. После окончания грозного учебного заведения Максимыч работал третьим механиком на каботажных "айяяйчиках", микропассажирчиках типа "Ай-Петри", "Ай-Тодор". Стишатами продолжал грешить:

"Ах, неужто, ах, неужто снова в порт пришла "Алушта".

Он был средним механиком и очень компанейским парнем.

После инсульта у Максимыча нарушилась речь, но он не унывал и деньги для выпивки добывал продажей на Привозе индийского чая, краденого с чаеразвесочной фабрики. Когда его преследовала привозная милиция, Максимыч вывернул наизнанку оставшуюся со времен романтической службы куртку. Куртка была с секретом и предназначалась для "НН", наружного наблюдения, имела изнутри другой цвет, карманы, змейки, кнопки, то есть полноценную атрибутику. Милиционер пробежал мимо.

Максимыч пребывал в бедности. В нужде, но тоже без уныния закончил жизнь и его однокашник по могилевской школе, одессит с греческими корнями Леша Ва-ус. Старший лейтенант КГБ Ва-ус работал старшим администратором на "И. Франко". Хорошо помню, как после возвращения из восьмимесячного антильского рейса "И. Франко" встречало целое стадо черных "Волг". Брали Ва-уса знатно, показательно, изображая видимость чистки рядов. Говорили, что якобы он был организатором группы контрабандистов, свирепствовавших на нескольких пассажирских судах. Возможно, это было устрашительное галочное мероприятие, на которые Контора Глубокого Бурения была особенно падка. После отсидки Ва-уса, которая длилась чуть ли не 15 лет, Максимыч встретил откинувшегося однокашника все на том же Привозе, когда тот покупал лампочку. Экс-администратор работал водителем троллейбуса, жил скромно, не шиковал.

Для чего же шли, если иной раз и на пиво не хватало? Богатеть, как известно, запрещалось, а именно деньги обещают свободу, поэтому зарились на дополнительную степень подвижности и доверия, которая маячила в зеленом возрасте за псевдоромантикой рискованной профессии. Этот лишний глоток воздуха свободы был самообманом, обременительной иллюзией. Во-первых, вместе с обретением ее взваливался такой груз ответственности, что ядро на ноге у каторжника просто потеха. Во-вторых, разве можно воспользоваться свободой на ограниченном пространстве, даже если его размер — одна шестая суши? Тем более что за границей эти привилегии исчезали, на лишних в команде за границей сразу обращали внимание, они раздражали наблюдательных лоцманов и начальников госпиталей.

Среди рыцарей с мечом в петлицах попадались и довольно симпатичные люди. Так, старший администратор турбохода "Максим Горький" Св-ов, кажется, тогда майор, если его просили, откладывал ракетку, он уважал настольный теннис, и формировал прямо на колене группу желающих пойти в город, то есть, с кем хочешь и когда ты свободен. Автор несколько раз отпрашивался в Ла-Гуайре (Венесуэла), которую изучил, как

Ильичевск. Когда в Бремерхафене убежал пианист Морозов, Св-ова, говорят, списали. Автор встретил его после карьерной неудачи на Ленина и с удовольствием и сочувствием с ним поздоровался.

Упомянутого же старшего лейтенанта Гу-ва встретил тоже в городе, осведомленностью напоминающем большую деревню, его однокашник по политехническому и спросил, как дела, как плавается.

— Устаю, — пожаловался старший лейтенант, — рука болит, пишу, как Джек Лондон.

Возможно, этот джек лондон что-то клепал и на автора. Автор по молодости пытался разоблачать стукачей, это, естественно, агентуру озлобляло. Кстати, служебные докладные не видели никогда даже капитаны. Если характеристики или представления писались капитаном, стармехом, старпомом, а потом заверялись помполитом, то "телег", сочиненных героями, которые пишут, не видели даже пострадавшие.

И капитану, думается, давалась оценка. Скажем, "на вечерах отдыха вальсирует судорожно, на третьем такте дает козла". Или "за границей нуждается в особом контроле". То есть особого отдела.

Получается, что не капитан полномочный представитель государства — хозяин на незыблемом железном пространстве, а некий старший лейтенант, отказавшийся после окончания технического института ехать по назначению в патриархально-заштатный пгт. Да что там капитан! Сам последний начальник пассажирской службы ЧМП Валерий Иванович Дробот тоже не знал, где топчет палубу настоящий машинист, а где закамуфлированный штатный офицер КГБ. Не докладывали даже тогда, когда случилась перестройка, хозрасчет и, казалось бы, грядет послабление.

— Капитан, если он настоящий капитан, в первую очередь должен любить людей, с которыми плавает, — говорит Дробот.

В том числе и контрабандистов, и стукачей, затесавшихся среди простых тружеников. На такую трудную поголовную любовь действительно способен не каждый.

Агент с пятой графой

Случается, что и сама ответственная должность представляет рогатку для карьерного роста. Так довольно долго плавал на "Литве" пожарным матросом некто З-н. Звучная еврейская фамилия на этот раз не стала тому помехой, жаловали повышенное доверие. Матрос при его пятой графе окончил заочно батумскую мореходку, где учились за деньги, но в офице-

ры его так и не представили, штурманские вакансии на экспрессном рысачке были плотно забиты. Года через два в Неаполе к трапу "Литвы" пожаловал третий помощник с израильского парохода, тот самый пожарный матрос.

— Он изменник Родины! — предупредил команду особист. — Я категорически запрещаю с ним общаться.

А возможно, хорохорился для конспирации, ведь не исключено, что и на израильском пароходе бывший матрос по заданию, разработанному на Бебеля.

Принято было считать, что в фокусе внимания ответственных товарищей в первую очередь пассажиры, среди которых могли затесаться власовцы и оуновцы, другие отщепенцы, еще "зеленые братья". Почему-то особенно шарахались от власовцев. На стоянке в Рио-де-Жанейро даже отменили увольнения на карнавал, потому что в городском транспорте к нашим барышням приставали с комплиментами власовцы.

Помимо этого в загранпортах нужно было поддерживать связь с агентами и резидентами, срочно эвакуировать на судне засыпавшихся, было и такое. Кто-то, перед кем отчетливо маячил электрический стул, бежал опрометью оттуда, другие штирлицы туда, а отдувались за все это или по шапке получали одни и те же ответственные товарищи, среди которых попадались весьма симпатичные, не один только майор Св-ов.

Из цирка в министерство культуры

В порту Сидней после полугодовой круизной работы снимался в линейный рейс курсом на Саутхептон турбоход "Л. Собинов". Буксиры уже отлепили его от стенки и тащили в глубину акватории, которая представляет собой затейливо ветвистый фьорд. Момент был волнующим, "Л. Собинов" уходил в Северное полушарие, возможно, безвозвратно, все-таки пароходный возраст был почтенным. Некоторые особо чувствительные провожающие даже смахивали слезинки. Пока маневрировали, из воды вынырнула женская головка, барышня решительными саженками поплыла прочь от родного парохода. Не заметили, откуда она вообще появилась, потому что она выпрыгнула из служебных кают третьего класса, которые всего в метре над водой. Объем бедер позволил ей проникнуть в иллюминатор, что случается далеко не всегда. Собиновскую беглянку подобрал портовый катер. "Л. Собинову" пришлось снова швартоваться для неприятных формальностей в иммиграционной полиции. Классная номерная Альбина Р., конечно же, осталась в Австралии, турбоход ушел без нее.

Вырезку из сиднейской газеты, чуть поболее трамвайного билета, показывал автору бывший администратор "Л. Собинова" Петр Тихоныч П. Беглянка на снимке выглядела эффектно, вообще она была фактурной барышней.

— Ведь я предупреждал капитана, еще когда на Австралию шли, что она путается с югославами, — огорчался Тихоныч.

На переходе из Англии в Австралию частенько возили эмигрантов и перемещенных лиц, среди которых было немало легких на подъем поляков и югославов. Одна югославская компания поселилась в каютах, которые эта бортпроводница убирала, и, понятное дело, обнаружились встречные симпатии. Югославы нацелились на север Австралии, в залив Карпентария, где на острове Гроте-Айленд бокситовые рудники. Рабочие на островах почти целиком из славянских стран, там даже концы принимают эмигранты, не знающие английского.

Видимо, Альбинка сомневалась, но потом решилась.

Тихоныч искренне сокрушался, что не уберег бортпроводницу от опрометчивого шага. Батюшка Тихоныча происходил из того же особого отдела армии Ковпака и наверняка знал пожарника, который плавал матросом на "И. Франко". Говорят, что рейды Ковпака по тылам противника потом позволили особистам подвести многих неустойчивых жителей под расстрельную статью. Ковпак, будучи уже депутатом Верховной Рады, запросто позвонил Шелесту и сказал:

— Тихону треба хату у Кыиви.

Тихоныч учился заочно на юридическом факультете и подрабатывал силовым акробатом в цирке. Когда в Ворзеле ограбили склад ОКСА и убили сторожа, Тихоныч, тогда студент третьего курса, дежурил в прокуратуре. Он оседлал мотоцикл и рванул в Ворзель. Физическая подготовка позволила оказать физическое воздействие на второго оставшегося в живых сторожа, и сторож прохрипел:

— Один из них был горбатым.

В ту же ночь Тихоныч широким бреднем прошелся по Ворзелю и платформе Стеклозаводская, собрал трех горбачей и с помощью того же физического воздействия раскрыл убийство с ограблением.

Тихоныч продолжительное время работал замминистром культуры УССР, и потом уже на пароходе возил в бесформенном картонном ящике с раскрошившимися дурно смердящими кораллами фотоархив. Когда при дегустации браги, сдобренной ананасовым вареньем, речь заходила о каком-нибудь известном артисте, он скреб, как мышь, в коробке и предъявлял фотографию:

— Вот Белла Руденко, я и Смирнов-Сокольский!

Я видел его на снимке рядом с Гагариным, оба были приятно выпивши.

Тихоныч был принципиальным бессребреником и в загранпортах не покупал колониальных товаров на продажу, а для этого, поверьте, нужно было обладать мужеством. Тем не менее, когда после отоварки в Триесте одна девочка из его группы забыла в супермаркете пакет, он искренне расстраивался, хлопотал, снарядил новую группу в супермаркет и принес покупки.

Тихоныч был расположен "накатить рюмку" в компании, за употребление горячительных напитков его все время понижали, последняя его должность, кажется, — старший классный матрос.

Автор несколько раз, обычно проездом, навещал его холостяцкую берлогу на элитной Арсенальной, спал на полу и закусывал сырой морковкой, больше в доме ничего не водилось. Тихоныч работал начальником службы безопасности какого-то почтового ящика, жил одиноко и на Новый год вызывал наряд милиции, чтобы просто угостить, к органам у него были особо трепетные симпатии.

Вы не ошиблись каютой?

Помимо кадровых чекистов в судовую роль вписывали сотрудников таможни и кадровых офицеров милиции, то есть уполномоченных из ведомств, которые не только никогда друг с другом не дружили, но даже зачастую находились в непримиримой конфронтации чуть ли не на генном уровне. Присутствие их, конечно, мобилизовало, было малоприятным, но думаю, оправданным. На лайнере, представляющем модель нашего общества с двойным дном, могло произойти что угодно: изнасилование, убийство, самоубийство, наконец, тривиальные бытовые кражи случались на каждом судне, барышни крали друг у друга помаду, а тритоны обычно шариковые карандаши.

В дальние плавания ангажировали офицеров из водных отделов милиции Черноморско-азовского бассейна, обычно не одесситов. Так, на "Максиме Горьком" плотником плавал капитан сочинского водного отдела милиции Мо-цкий. Палубная команда откуда-то разнюхала, что плотник искусственный, может, киянкой пальчик припечатал, и от псевдоматроса шарахались. Автор очень удивился, когда встретил его возле дежурной части в Сочи, куда меня препровождали для выяснений. Мо-цкий, возможно, узнал автора, но отвернулся и на помощь, как принято у настоящих моряков, не кинулся.

На том же "Максиме Горьком" стоял вахту штатный сотрудник уголовного розыска, уже одесского, мотормен Б-ин. Как-то после сдачи им

вахты отказал компрессор, и разъяренный сменщик предъявил в курилке ему претензии. Драка случилась знатная, сменщик знал о милицейской принадлежности нерадивого лжемоториста и молотил его с остервенением. Через полгода автор встретил Б-ина, на Староконном рынке, еще настоящем старом Староконном, где к Б-ину подходили несвежие личности с рапортами, искали какие-то вещи — то ли краденые, то ли с трупа. Б. оперативник Б-ин похвастался, что получил от органов комнату хоть и в коммуналке, но в центре, и мы простились тепло, даже выпили.

На "Максиме Горьком" на непыльной должности техника АТС трудился капитан милиции из Ялты Чу-ко. Телефонная должность предполагает обходы кают, ремонты, не исключает прослушку и установку жучков. Жена Чу-ко работала в комиссионном в Ялте на набережной, говорили, что раньше, до загранплаваний мужа, она сдавала в ОБХСС моряков, приносивших на комиссию в магазин венецианские гондолы сверх нормы, но после плаваний исправилась и даже кого-то выручала.

Присутствие всех этих ребят предполагает наличие какой-то гражданской профессии, которую можно при желании подогнать под морское назначение. Возможно, ангажировали милиционеров — выдвиженцев из рабочей среды, тогда приглашать в органы членов партии с предприятий было модно.

Внедряют и таможенников, которые по приходу крестиками на схеме судна указывают коллегам, в каких коффердамах искать мохер, в каких порнуху.

Причем случается, присылают неожиданно без согласований, как десант. Так за два часа до снятия в рейс "Белоруссии" рефмашинист Александр Садомский обнаружил в собственной каюте незнакомца, споро, посолдатски заправлявшего его родную койку.

— Ты, дядя, часом не перепутал намбер кэбин? — вежливо справился хозяин лежбища.

— Никак нет, все по форме, — ответил тот, ловко помещая за уголки подушку в свежую наволочку.

Садомский моментально обратился по телефону к батюшке, известному в Одессе капитану, тот напрямую к начальнику пассажирской службы.

— Не знаю о таком, — простосердечно, но испуганно отбоярился начальник.

Никто не знал, включая стармеха и инспектора отдела кадров Василия Ху-ова, подпись которого украшала направление нового рефмашиниста. Вот такое закадровое назначение случалось.

Когда через полгода на "Белоруссии" была обнаружена партия контрабанды, рефмашинист исчез, даже не сдав постель и не заполнив обходной лист. И в Одессе его с тех пор не видели, видимо, был иногородним мытником.

Разрешите заложить?

Стукачей, как правило, тоже вычисляли, даже мирились с их присутствием, не бунтовали. Понимало это и их начальство, почему они неожиданно исчезали, их переводили на другие суда или даже в другие пароходства. Они там выполняли свои функции до тех пор, пока на судно не попадал осведомленный водоплаватель и не предупреждал товарищей о тихарьке. Тогда им снова меняли дислокацию.

Впрочем, некоторые задерживались, укрепляя среди закадычных собутыльников мысль, что они "стучат" щадяще, дескать, если бы не они здесь присутствовали, а другие, более прыткие, было бы хуже.

Штатные сотрудники силовых структур ничего бы не сделали, если бы не оповестители, добровольные, но не бескорыстные волонтеры, скажем, в отличие от волонтеров Армии спасения.

Как их вербовали?

Приходили не с пустыми руками, облегчались от доносов, разумеется, не в приступе обострившегося патриотизма. Стукачество сулило перевод на хороший пароход, назначение старшим в группе увольняемых на берег, хождение по несколько раз в увольнение в корневом порту, то есть во главе угла стоял материальный интерес. Для патологически злопамятных оно обещало дополнительный эксклюзивный рилакс, когда можно было наклепать на ненавистного командира или даже капитана, который обязан любить всех, включая стукачей.

Самые неразвитые стукачи были закомплексованы, скажем, по причине недостатка образования. Работая на рядовых должностях и донося, они рассчитывали получить хоть зыбкое, не обнаруживаемое превосходство.

Оповестителей тоже разоблачали, но выборочно, обычно не хватало для полной ясности продолжительности рейса. Если бы рейсы длились, скажем, года два, как минимум, то можно было бы выселять их в канатный ящик. Когда "М. Горький" два года без захода в Союз работал с американцами, стукачей меняли самолетами, как больных или беременных. Оставлять разоблаченных было опасно, переплававшие экипажи могли в лучших магеллановых традициях протащить их под килем.

О возможной легализации стукачей под занавес водоплавающие, разумеется, были наслышаны. По приходу в порт приписки токарь одного из сухогрузов надел висевшую в красном уголке шинель пограничника, явился к стармеху, который портил ему жизнь семь месяцев, и строго приказал:

— Я за вами следил весь рейс. Одевайтесь!

На другом сухогрузе моторист забрался изнутри в трубу и оттуда швырял прицельно гайки в вахтенного механика. Повредившегося умом моториста капитан Дробот, конечно, в Одессе списал, но в отделе кадров капитана упрекнули за непродуманный поступок, свихнувшийся моторист оказался завербованным оповестителем.

Кто "стучался" в дверь ко мне?

Не знаю, наблюдался ли такой агентурный размах в других бассейнах, но в Мурманском пароходстве и вообще на Севере Крайнем одесситов традиционно считали стукачами, причем всех поголовно. Помню, когда в Александрии мы, преодолев по жаре многокилометровый маршрут, принесли на архангельский лесовоз коробки с фильмами для обмена, нас не очень жаловали. На причал была спущена шлюпка, якобы для покраски, в тени которой храпели двое пьяных матросов.

— Привет, стукачки! — добродушно промычал с трапа бородач.

Навряд ли поморов оставляли без присмотра, возможно, к ним командировали пьющих и не пьянеющих стукачей.

В Бейруте из-за хронической нехватки причального фронта один рижский сухогрузик стоял лагом к французскому рефрижератору, через который мы и пробрались, опять же, с дурацкими жестяными коробками для обмена. На палубе промежуточного француза шел чендж, бронзовые болванки из токарной мастерской меняли на рулоны диацетатного шелка.

— Красиво живут! — заметил мой напарник.

— У нас некому класть, — съязвил рижанин.

Не уверен, что может сравниться по размаху с нашим стукачество на грузинских судах. В Лас-Пальмасе грузинские кадеты жаловались нам, что за увольнение в ключевых для отоварки портах им приходится платить валютой руководителю практики. Не исключено, что у них доносят на руководителя, который не пустил в город оплатившего увольнение.

Зачастую стукачество малоэффективно в отшибных "камышовых" акваториях. Так, в Измаильском пароходстве в перестроечное время экипажи возили отслужившие свое "лысые" автокамеры, баржи приходили, увешанные гирляндами скатов. Экипажи простодушно объясняли на досмотре, что бэушные камеры подарил в Регенсбурге любитель. Просто подарил негодные из жалости и симпатий, чтоб не копались на немецкой свалке. А у стукачей выясняли, подарил ли, или все-таки со свалки. Да кто их разберет? В цыганских вулканизаторных шарагах и сараях на лысый

западный скат наваривался быстро изнашиваемый кустарный слой и реализовывался за первый сорт. Особенно грузинам.

Еще в Измаиле отчаянно боролись с контрабандой топлива. Говорили, что иной раз еще до эмбарго самоходки снимались в рейс залитыми до пойол дизельным топливом, которое потом продавалось в Югославии, где оно гораздо дороже. Возможно, вымысла в этом "морском телефоне" больше, чем того горючего под пойолами. Или на своем лимите экономили. Тогда в УДП заставили с судов давать ежедневные сводки о километраже и расходе топлива.

Сколько плавало оповестителей во всех 17 пароходствах? К 1990-му году, по оценке последнего министра морского флота СССР Тимофея Борисовича Гуженко, флот состоял из 1800 единиц общей грузоподъемностью 22,3 млн. т. Если допустить, что на каждом судне было по два героя, которые пишут "телеги", то это уже почти дивизия, и не кадрированная, а развернутая на морских просторах планеты. Содержать их было не особо накладно, потому что все ответственные были при должностях, записанных в судовой роли. Вреда они особого не причиняли, не вредили напрямую, гайки завинчивали по часовой стрелке. Но для каких целей все-таки учреждалась дивизия со своими генералами и фельдфебелями, которая, не случись развала империи, неминуемо разрослась бы до армии? Вопрос, на первый взгляд, разумеется, искусственный, банальный, но все-таки...

Главную задачу, борьбу с вражеской идеологией, эта контора не выполняла с самого начала. Протабанили еще в 50-е. Когда на материке все поголовно слушали "Голос Америки", на судах это мог себе позволить только начальник радиостанции, и то слушал исключительно под подушкой, в наушниках, задраив иллюминатор на глухари.

Законспирированная дивизия

Трещина в идеологии обозначилась в пятидесятые после съезда, и предотвратить или хотя бы отсрочить переворот в сознании товарищам из строгих учреждений, увы, не удалось бы даже в собственных головах, не привыкших к фуражкам.

Тем не менее, экипажи приняли правила игры, прилежно ходили на политзанятия изучать тезисы пленумов, на профгруппы, так обозначались профсоюзные собрания по службам, дисциплинированно голосовали в 4 часа утра по местному часовому поясу, скажем, на переходе из Гуаякиля в Находку. Спешка была необоснованной, потому что пароход находился в мертвой зоне, откуда радиоволны до Одессы не доходят уже, а до Владивостока еще.

Экипажи судов активно подхватывали всевозможные почины, щекинский, плавания с сокращенными экипажами и другие полезные и откровенно странные. Так, инициативный ныне здравствующий капитан Б-ев предложил брать в рейсы поросят, откармливать, потому что в тропиках, когда резко падает аппетит, остается много объедков, и возвращать в Одессе уже в виде боровов, пополняя пароходское хозяйство в Благоево.

На ленинский субботник в апреле машинную команду "Л. Собинова" загнали в багажный трюм "ликвидировать бардак", если достоверно стенографировать задачу, обозначенную главным механиком. Трюм был завален хламом, мусором, негодными трубами. В углу стояли резные, с плюмажиками, расходные гробы из тикового дерева, доставшиеся от англичан: пассажиры зачастую были запредельного возраста, и могло случиться всякое. Один машинист для смеха прилег в гроб, а товарищ его припечатал крышку ногой, она захлопнулась на замок, пришлось звать старпома, чтобы отпер домовину, ключи были только у него.

То есть зловещая опасность краха идеологии не маячила, подпольные кропоткинские ячейки на судах не организовывались, некогда было: четыре часа через восемь вахта, в промежутках, чтоб дурные мысли не одолевали, собрания в ассортименте, партийные, открытые комсомольские, репетиция хора, шахматный турнир с судами по радио, санавралы, театрализованные праздники Нептуна через неделю, когда работали в тропиках, тревоги, учения аварийных партий.

С накалом, взаимными обвинениями, проходили профсоюзные собрания, где давали оценку работы за месяц. Пострадавшие от обиды выпивали, но кингстонов никто не открывал.

В тридцатые, когда "Совфлот" грешил изобилием троцкистов в экипажах, стукачей, кстати, не было предусмотрено, как и плавающих комиссаров, никто не пакостил, просто бежали.

Один такой беглый троцкист подошел к мотоботу в порту Шарлотта-Амалия на американском острове Сан-Томас из группы Виргинских островов. Стоянка была рейдовой, мы привезли пассажиров-немцев для экскурсии и ждали их возвращения.

— Ребята, а у вас можно купить на борту ленинградскую гитару? — спросил на русском.

— Ленинградскую — не уверен, но советского производства в валютном киоске есть, — говорю.

— А можно мне сплавать с вами, выбрать?

— Пассажиры вернутся с экскурсии, — говорю, — и мы вас свозим.

— Ты что, с ума спятил? — процедил пожарный матрос, представлявший тайную власть.

Пришлось отказать без мотивов. Бывший ленинградец все понял, заплакал и пошел прочь по раскаленному причалу.

Поврежденные умом

В 70-е все изменилось, сходили с ума чаще, чем бежали.

Психически расстраивались от тоски или неразделенной любви. На сухогрузах это в какой-то мере оправдано — жизнь монотонная, коллектив осточертел. Предрасполагают к нервным расстройствам изнуренная геноцидами генетика, славянский менталитет, мнительность, чувствительность, плаксивость, особенно по пьяному делу. Но теряли рассудок и на пассажирах, что особенно странно. На "Л. Собинове" работал "по верхам", то есть обслуживал пассажирские помещения, электрик с высшим педагогически-физкультурным образованием. Этот атлет-гиревик неожиданно побрил голову до блеска и отпустил окладистую с синим отливом броду. Пожилые пассажирки, встретив его ночью в отсеке, пугались, — шла война с Афганистаном. Просили его заменить. Сожитель по каюте рассказывал, что "басмач" корчил перед зеркалом страшные рожи или демонстрировал зеркалу гениталии. Это происходило на пароходе, где в судовой роли две сотни женских фамилий.

Как-то "басмач" предложил стоматологу угоститься пивом и всучил пустую банку, выуженную из мусоросборника, к ней что-то налипло. Стоматолог поставил в известность переводчика госпиталя, который был уполномочен органами, об этом знала даже машина, и тот приказал:

— Взять его!

Больного обезвреживали терапевт со стоматологом. Положили его в спецпалату без иллюминаторов, такая была предусмотрена еще англичанами для больных с неустойчивой психикой.

Особого вреда для имущества от нервнобольных не было. Да и могли ли как-то тихарьки повлиять на ситуацию? Присутствие их, сама умышленно культивированная обстановка недоверия, подозрительности, влияла негативно, провоцируя к помешательству.

Причем рехнувшихся не стыдились и не боялись, а боялись побегов.

Чтобы предотвратить побеги, пароходные власти предпринимали неуклюжие меры в узкостях, в том же Гибралтаре, Кильском канале. Зачем выставлялись вахты бдительности при прохождении Босфора? Все

равно бы не успели сделать циркуляцию и отловить пловца баграми. Вот на военных судах все было куда четче. Там особист в августе выходил на ют в шинели.

— Что-то озноб пробирает, — жаловался личному составу, перекуривающему в трусах на юте. Шинель у него топорщилась, потому что на поясе под ней висели лимонки.

Там понятно, бросил лимонку — и концы в воду. Главное, чтоб в шлюпбалку не угодить и эсминец с боезапасом и ракетами не подорвать. В торговом же флоте мероприятие выглядело легкомысленно и наивно.

Существовала ли угроза массовых побегов с советских судов? Думаю, что в семидесятые или даже в суматошные восьмидесятые такая цепная реакция разразиться не могла. Опять же из-за менталитета и генетики: зацикленная на досрочном выполнении пятилеток нация мало странствовала массово, один лишь Афанасий Никитин приходит на ум. На побеги не решались еще и потому, что опасались в глубине души изменения отношения к самому себе. Не семья якоряла, дети или очередь на квартиру, или экзамены на заочном факультете мореходки, а именно то, что мы тогда были другими. Как так убежать? Товарищи варятся в лицемерии, брежневской похвальбой на политзанятиях пичкают, а ты убежишь. Ты что, слабее других? Все-таки побег выглядел тогда сокрушительным ударом по самолюбию.

В семидесятые мы сидели в летнем кафе Пойнт-а-Питра на Гваделупе. Трое мужчин скромно пили хороший кофе. В памяти пульсировала мелодия "...пил кофе на Мартинике...", параллель вдохновляла и вместе с тем вселяла тоску.

— Вчера по "голосу" сообщили, что в Кюрасао с ленинградского научника "Менделеев" сбежал лаборант, — сообщил между прочим радиооператор.

— Мы в прошлом году грамотно отоварились в Кюрасао, — вспомнил третий механик. — Брали нейлоновые платья "чулок" по два зеленых.

— Сейчас они уже по четыре, — фельдшер вздохнул.

Вот примерно так реагировали, с географической привязкой. Кстати, в Виллемстадте на Кюрасао, где происходила бешеная отоварка, в магазине, больше похожем на оптовый склад, работал бывший одессит, рыжеватый господин средних лет. Когда бармен замахнулся превысить пресловутую норму раз в пятнадцать и купить целый рулон, штуку материи, бывший шепнул ему:

— Тут крутился один дядя из Белого дома.

Бармен сочувственно улыбнулся, потому что сам был стукачом.

— Кому передать привет в Одессе? — спросил автор, когда уходили.

— Всем, всем, всем, — обтекаемо ответил тот, возможно, автор тоже не внушал ему доверия.

Да что там убежать, потеряться на базаре было страшно. В небольшом городке Сува, где всего-то один чахлый скверик в центре, мы потеряли в трех пальмах бухгалтера. Я прочесал пол-острова, пока ее обнаружил горько рыдающей на декоративной скамеечке. Потеря группы для нее была потрясением. Пришлось приводить даму в себя с помощью мороженого.

— Только не говорите на судне! — умоляла она.

Массовые побеги с "рыбаков" случились позже в Океании, уже в девяностые. В Новой Каледонии (порт Нумеа) сейчас можно услышать русскую речь чаще, чем французскую. Женились на каначках, барышни они неприхотливые, отзывчивые, душевные, жадные до белых мужчин. Жить можно экономно в фавелах из картона, отопление за неуплату не отключат, зимняя одежда не требуется.

Для чего же организовывались вахты бдительности? Исключительно для того чтобы отчитаться о проведенной работе.

Что касается интереса к забугорной литературе, то он не прорезался. Например, в Лас-Пальмасе в одной из лавок стоял ящик из-под дамских чулок, где стояла стопкой полиграфическая продукция издательств "Посев", "Грани", "Континент", "Доктор Живаго". Водоплавающие в "Гранях" не особо понимали, разглядывали открытки с лицами советских хоккеистов, оставленные здесь наверняка нашими рыбачками, потом просили включить автомобильный магнитофон. Смуглый индус-продавец для пробы хулиганил в микрофон:

— Раз, два, три, четыре, пять вышла зайчик погулять...

Покупали электронику, но посевовские книжки в мягких обложках стояли все те же, из года в год. Бывая на Канарах почти регулярно, я замечал, как они бесполезно желтели.

Эрозия идеологии трудового человека

Может быть, присутствие на борту соглядатаев сдерживало вывоз советской валюты или драгметаллов? За границей в подсобке какой-нибудь лавки Лас-Пальмаса, которую держали выходцы из Индии, действительно можно было продать червонцы с профилем Ильича, но покупали их по очень низкому невыгодному курсу, да еще надували, рассчитывая, как обычно, что обманутый не станет поднимать шума. Говорили, что эти са-

мые нелегально вывезенные деньги потом используются для подрывной работы против СССР. Гораздо серьезнее экономику подрывало осевшее в швейцарских банках золото партии.

Что же касается обручальных колечек на продажу в Австралии эмигрантам по номиналу, то, во-первых, иностранец их с таким же успехом мог купить в "Ювелирторге" в Союзе. А иностранцу визу не прихлопнешь. Во-вторых, если бы спрос в СССР на ювелирные изделия возрос, то просто подняли бы на них цены, в памяти несколько таких резких скачков, на которых наживался кто угодно, только не моряки, вялившиеся, как правило, в рейсах. Первая же такая переоценка на родине уже бы обессмыслила копеечные рискованные бизнес-операции по доставке обручальных колечек с приличной пробой, скажем, в Австралию. С австралийскими ценами разбег был небольшим, кое-кто возил изделия из драгметаллов на "Л. Собинове", а в Панаму или Бейрут колечки не повезешь, там это добро дешевле.

Вывоз иностранной валюты по советским законам карался в диапазоне от двух до восьми лет. Долларами торговал много лет прямо возле "Торгсина" на Шампанском переулке известный футболист "Черноморца" Коля М. в паре с братом. Они никогда не кидали моряков, и милиция валютчиков терпела. Говорят, у них была "крыша" на уровне учреждения на Бебеля. Доллары же по 3.50 можно было купить и у иностранных слушателей военных училищ. Непонятно, почему морякам запрещали приобрести валюту за свои кровные и истратить, скажем, на покупки семье. Если бы это разрешили, то намного повысилась бы привлекательность работы на море, на судах бы оседали лучшие из лучших, и флот от этого только бы выиграл.

Сама визовая избирательность с обязательной характеристикой-рекомендацией была своеобразным предохранителем-дросселем от проникновения во флот авантюристов и проходимцев. Все-таки на плаву находились 1800 единиц, это колоссальное народное достояние, которое содержали в исправности в условиях интенсивной эксплуатации, неравномерной качки, повышенной влажности, вибрации и грамотного обслуживания. В начале рейса к острову Свободы палубная команда начинала красить судно, к концу рейса обычно заканчивала. К этому моменту появлялись новые ржавые подтеки, и все повторялось сначала — пароход безудержно ржавел в активной среде.

Вполне вероятно, что органы не рассчитывали на масштабный рост флота, а когда маховик раскрутился, они вынуждены были под пополняющийся флот соответственно тоже раздувать штат оповестителей.

Нужны были беззаветные искренние труженики, самоотверженные

специалисты, которые бы не только сохраняли пароход в готовности, но и давали саморемонтами ему вторую, а то и третью жизнь. Обычно приговор кормильцу подписывал регистр, когда степень износа корпуса более 15%.

Работало это поколение за ничтожную смешную зарплату. Ставка моториста второго класса была 85 рублей без тропических надбавок, командировочные в валюте после закрытия границы начислялись в размере 18 долларов — стыдно сказать.

При таких символических жалованьях хоть как-то можно было латать экономику. Моряки помнят, как гоняли из развивающихся дружественных стран устаревшие сухогрузы-универсалы, в основном, в балласте. Долго лелеялась мечта сделать прибыльным или хотя бы рентабельным пассажирский флот, хотя он во всем мире убыточный. Правда, этого достигли аккурат перед развалом.

Против этих экономически неоправданных глиняных ног колосса выступил открыто единственный человек, капитан-диссидент № 1 Алексей Васильевич Морозов.

"В ЧМП моряк, — писал Морозов сначала начальнику пароходства Алексею Данченко, а потом в Политбюро, — получает за свой труд не совзнаки, а чеки или валюту, которые реализуются на рынке бросовых товаров с перспективой заработать за каждый инвалютный рубль 20-25 рублей".

Если академик Сахаров в инвалютной "Березке" в присутствии западных корреспондентов выяснял, почему не продают икру на совзнаки, то капитан-диссидент Морозов ополчился на чеки-боны, из-за которых "происходит эрозия трудовой идеологии". Со стороны государства было вдвойне аморально обрекать на бизнес-операции тружеников, не расположенных к вынужденной спекуляции, да еще и в установленных неизвестно кем рамках, а потом наказывать труженика, если купил не положенные 6 косыночек с люрексом, а упаковку. Секуляризация, неоправданное угнетение граждан, содержание их в несвободе и унижении были расплатой за допуск под железный занавес. Это все равно, что залезать в постель к человеку в сапогах, галифе и с табельным оружием в портупее.

На морвокзале есть прекрасный памятник морячке. Справедливо было бы еще поставить памятник бедолаге-современнику, который где-нибудь в подшкиперской или укромном коффердаме выкраивает из парчи или кримплена по заготовленной выкройке фигуры своей женушки заготовки кофточек, чтобы больше провезти.

— Если бы нормы ликвидировали, — говорил один впечатлительный

помполит, — то покупали бы столько гипюра, что им можно было бы пароход несколько раз обернуть! Вы представляете, что бы тогда творилось?

Ну и на здоровье! Рынок бы сам реагировал на насыщение.

Вот и получается, что преувеличенно серьезные ребята были нужны только своей конторе, но отнюдь не флоту, потому что были, да и остались, надо полагать, вещью в себе, когда во главе угла стоят узкие ведомственные, традиционно засекреченные интересы.

Когда в 91-м высаживали с судов сокращенных за ненадобностью докторов и помполитов, тихо плавающих чекистов и других публично с судов хлорофосом не вытравливали. Они неслышно пришли и так же незаметно покидали обреченные на выброску в Аланге суда. А как бы они, принципиальные и беззаветные, могли бы там при двойной бухгалтерии пригодиться, когда липовая продажа для утилизации годных еще судов оформлялась по одним документам, а реальная сумма сделки обозначалась в других? Не было замечено их на аресте "Тойво Антикайнена" в Калькутте, когда два года экипаж кусали крысы. Не было и на "Балашихе", когда в команду внедрился по купленным сертификатам уголовник, совершивший убийство электрика-плотника.

Можно ли было как-то цивилизованнее организовать контроль хотя бы на пассажирах?

В 60-е годы на больших трансатлантических пассажирских лайнерах подсаживали в среду респектабельных пассажиров первого класса так называемых контрактников. Эти агенты, будучи вполне воспитанными и образованными людьми, знакомились в салонах, красиво ухаживали за дамами. Ухаживая и наигрывая, скажем, Шопена на рояле, такой сотрудник мог выведать, что его барышня везет, скажем, несколько незадекларированных бриллиантов с балларатских приисков, а потом с легким сожалением ее сдавал досмотрщикам. Эти свободные детективы в качестве вознаграждения официально получали 20% гонорара от добычи таможенников.

Еще в 80-е годы, после захвата пиратами "Лаура", в состав одесских пассажирских команд тоже ввели охрану по два человека, и еще два обеспечивала дирекция круиза. Но лица уже были другие, бывших пятых помощников среди них не было замечено.

Агенты секьюрити особенно пригодились, когда совершали рейсы "nowhere", то есть "в никуда": судно снималось обычно в пятницу, ходило без заходов двое суток, потом в воскресенье возвращалось. Публика именно в этих "никудышных" рейсах вела себя вызывающе буйно, ломали мебель, выбрасывали за борт посуду, так что у секьюрити была работа, благодаря им спасли рояль.

Есть ли стукачество на подфлажных судах? А как же без него? Особенно грешат доносительством индусы на пассажирах-рысачках и паромах. Скажем, стюард дописал в компьютере лишние овертаймы, а уроженец Мадраса его разоблачил перед старшим официантом.

На кока Юрия К-ского в крюинговую компанию пришла жалоба от группы моряков рыболовного траулера, промышлявшего на шельфе Сомали. Моряки индийского происхождения ябедничали на кока, что он угнетает их рацион, а из фруктов и зелени, специально закупленной для индусов, квасит брагу, которую пользует вместе с капитаном.

— Какая брага? — возмутилась жена, которой показали донос. — Ему же вообще нельзя ни капли, у него был микроинсульт!

Так что портить кровь есть кому. В перечне вредных факторов, необратимо разрушающих здоровье моряков: частая смена часовых поясов, употребление воды из цементированных танков, вибрация, гиподинамия, блуждающие в надстройке токи Фуко, ограниченность пространства, рециркулированный воздух, в составе которого волокна с ковровых покрытий. Еще фактор сжатости человека, преследуемого страхами и подозрениями, влияние последнего на протяжении нескольких десятилетий обеспечивали пятые помощники капитана. В совокупности все это сказалось на моем поколении, буквально за последние три года умерло до десятка знакомых офицеров с разных судов, среди них стармехи, старшие электромеханики, вторые механики, старшие мотористы, форсунщики, радиооператоры. Души их стали чайками. Это чистый образ. Чайки, как известно, если и следят друг за дружкой краем глаза, кто какую рыбку поймал, не доносят.



Олег ЛАВРЕНТЬЕВ

Заказ

— Опять куртки не прислали! — старпом в сердцах стукнул кулаком по столу.

— Какие куртки? — поднял голову от бумаг капитан.

— Да порки[1], Владимир Сергеевич. Они уже у нас на рубища похожи. Я и так всего две, две заказал, а они... — тут старпом не выдержал и отпустил в адрес компании замысловатое ругательство.

— Ой, Костя, а то ты их не знаешь, — Владимир Сергеевич устало потер кончик носа. — Они нам перчатки в прошлом месяце с боем прислали, а ты — порки.

— Так людям уже ходить не в чем!

— Вот если бы у нас не было курток, то можно было бы попробовать, а так...

— Не было. По бумагам-то они числятся, а на деле — тряпье. Владимир Сергеевич, мне людям в глаза уже стыдно смотреть.

— А мне не стыдно? Сколько мы аванса ждали?

— Они же в следующем порту обещают дать.

— Обещают уже два месяца.

— Да, без денег далеко не уедешь, у меня последние двадцать долларов остались, на станки и крем держу.

— А ты говоришь...

— Нет, ну смотрите сами: металл они прислали весь, даже рифленку и нержавейку. Диски зачистные, отрезные тоже, а две куртки — нет!

— Скупердяи.

— Так ведь октябрь на носу. Сейчас пойдем в Европу, в чем на баке[2] работать?

— Понимаю. Повторю лишь еще раз: если бы у нас их не было, можно было бы настаивать, а так бесполезно.

— Мда, — старпом задумался.

Воспользовавшись паузой, капитан вновь уткнулся в бумаги. Какой-то пункт привлек его внимание. Капитан тихо пробормотал себе под нос:

— Проверить, — и поставил против восемнадцатого номера вопросительный знак. Но едва карандаш нацелился на следующую строчку, как его прервали.

[1] Порка — морская теплая куртка.

[2] Бак — носовая часть судна.

— Владимир Сергеевич, — Костя широко улыбался, — а давайте напишем, что у нас их нет.

— Кого? — не понял капитан.

— Порок.

— Как нет? Они же есть.

— А мы напишем, что нет.

— А раньше были?

— А теперь их... украли.

— Украли?

— Да. Африка все-таки. Гана страна бедная, украли куртки.

— Даже не знаю, за такое по головке не погладят.

— Ну а что мы без порок делать будем? Люди просто замерзнут!

— Правда, но писать, что украли...

— Вы же сами говорите, что иначе нам их не дадут.

— Не дадут.

— Так давайте напишем.

— Мда, — Владимир Сергеевич задумался. "Ведь до чего дело дошло: из-за каких-то двух курток, красная цена которым сорок долларов, пятьдесят от силы, люди должны мерзнуть. В Европе сейчас действительно холодно. Попробуй заставь человека работать, когда у него зуб на зуб не попадает". — Ладно, пиши, что украли, — согласился капитан. — Не хотят по-человечески, будем выбивать.

— Хорошо, я сейчас прямо и напечатаю.

— Да. Пиши: две порки, нет в наличии, украли.

— Хорошо.

— Мда, втравил ты меня в историю, — задумчиво сказал Владимир Сергеевич, пятый раз перечитывая телекс.

Старпом пристыжено молчал.

— За проявленную... *negligence*... халатность, кажется. Да, за проявленную халатность оштрафовать матросов, у которых похищены куртки, офицера по безопасности и капитана. Офицер по безопасности — это ты, Костя. С матросов по семьдесят долларов, с нас по сто.

— Почему с них семьдесят?

— Видимо, стоимость курток.

— За старую порку семьдесят баксов?!

— Греция теперь в Евросоюзе, там все дорого. Но сам факт штрафа тебя, я смотрю, не возмущает.

— Еще как возмущает!

— Я как чувствовал, что х... порем, — ровным голосом продолжал Владимир Сергеевич, — просто голова забита была, заказ проверял.

— Так ведь без курток нельзя...

— А теперь и без курток, и без денег! Ну, мы с тобой ладно, а как я с матросов деньги сниму? Они тут совсем не при чем. Тоже с нас вычитать придется.

— Подождите, Владимир Сергеевич, может, не придется.

— Ты думаешь, Панайотис шутит?

— Нет, не шутит. Может, я что-то придумаю.

— Что тут придумаешь, скажешь, что порки нашли? Так мы уже в море вышли.

— Я пока не знаю, но подождите отвечать, я часик подумаю.

Голова у Константина была светлая, он с легкостью распихивал семнадцать видов груза на четыре порта захода в пять трюмов. Зная это, Владимир Сергеевич склонил голову:

— Что ж, попытка не пытка.

Через час Константин осторожно постучал в каюту капитана:

— Можно, Владимир Сергеевич?

— Заходи, Костя. Что там у тебя?

— Я придумал, как от штрафа отмазаться.

— Ну-ка, ну-ка, — удивился Владимир Сергеевич, — расскажи.

— Значит так, — сделал руками движение старпом, как делают фокусники, показывая, что в платке ничего нет, — давайте напишем, что неправильно перевели слово, английский не родной, и куртки не украли, а отняли.

— Отняли?

— Да, отняли. Не кража, а грабеж!

— Грабеж?

— Конечно. Мы же не обязаны защищать порки до последней капли крови.

— Слушай, как ты это себе на деле представляешь? Ты текст телекса составлял?

— Ну, буквально это звучит как-то так: восемнадцатого ноль десятого в двадцать три пятнадцать к вахтенным матросам подошли трое негров и отняли куртки.

Капитан задумался: "Возможно, идея не так уж и плоха. Не разгильдяйство, а трусость: это ведь уголовно не наказуемо".

— Слушай, а кому в Африке понадобилась теплая куртка? И почему матросы стояли в порках?

— Ночь, ночь, Владимир Сергеевич! Ночью прохладно, и они надели теплые куртки.

— Допустим. А ну, дай бумагу. Так, восемнадцатого, ноль десятого... так. Костя, давай напишем, что их было не трое, а четверо, это реальнее. Все-таки двойной перевес — понятно, почему вахтенные не подняли тревогу.

— А может, написать, что они были вооружены? Ножами. Лезвие к горлу — и не пищи.

— Неплохо, неплохо, — капитан потер руки, его охватил охотничий азарт. — И вообще, они не за куртками пришли! Они пришли за деньгами, но денег не нашли и забрали вещи!

— Здорово, Владимир Сергеевич. Да как я сразу не подумал!

— А может, тогда они не только куртки забрали, а еще что-то? Для четырех человек две куртки это не добыча.

— Верно.

— Что они нам еще не прислали?

— Пожарные шланги.

— Вот, пожарные шланги забрали.

— Зачем они им?

— Продать. Что еще?

— Электроды.

— Электроды пиши.

— Стирального порошка мало.

— Отлично, негры моющее любят.

— Еще фонарики, комбинезоны, медицина, калькуляторы, ведра, книги...

— Стоп, стоп, стоп, ты разошелся. Во-первых, зачем им книги? Во-вторых, смогут ли они все это унести? Их всего четверо.

— Смогут, Владимир Сергеевич. В крайнем случае напишем пятеро.

— Это уже налет какой-то получается.

— Налет? Точно, Владимир Сергеевич, налет! Не каюты грабить они пришли, а судовой сейф!

— Сейф?

— Сейф!

— Он же пустой.

— Они-то этого не знали. Значит так: ворвались пятеро в масках, с ножами... нет, с пушками.

— Да ты что! Гангстеры какие-то выходят.

— А что? В Африке пушку взять несложно. Итак, ворвались пятеро,

с пушками, всех раком, вскрыли сейф, ничего не нашли, со злости забрали кучу вещей, в том числе эти злосчастные куртки.

— А ну, прочитай весь текст.

— Значит так: восемнадцатого ноль десятого в двадцать три пятнадцать к вахтенным матросам подошли пятеро негров в масках. Угрожая оружием, они поднялись в каюту капитана, заставили открыть сейф. Когда увидели, что в сейфе ничего нет, прошлись по пароходу, забрали все самое ценное. Перечень прилагаем. Ну как?

— Значит так, — мрачно сказал капитан, — ты ври, да не завирайся. Еще напиши — на танках приехали. Значит так: четверо, с ножами, забрали куртки и комбезы...

— И шланги!

— Хорошо, и шланги.

— Отлично!

— О комбезах не писали, потому что еще есть, а на шланги составляем заказ.

— Понял!

Молодой грек с недоумением смотрел на телекс: "...Четверо негров, вооруженных ножами, ворвались на судно, забрали куртки, комбинезоны и два шланга".

— Это вообще возможно, Кулис?

— О, да, — толстый суперинтендант откинулся в кресле. — Африка — страшное место, как и Бразилия. Как-то раз в Бразилии к нам зашли два негра, приставили капитану к голове пистолет и забрали сто двадцать тысяч из сейфа. Я тогда был вторым механиком.

— Ужас. А кто был капитаном?

— Да Буртулис.

— Хозяин нашей фирмы?

— Да, это был его последний рейс. Потом он взял кредит в банке, купил первое судно...

Кулис неожиданно замолчал, как будто в голову ему ударила какая-то идея.

— Сто двадцать тысяч, — задумчиво пробормотал он, — тогда это были очень большие деньги.

— Ты о чем? — поинтересовался Василиус.

— Да так, ни о чем, — прервал раздумья Кулис.

— Тогда вернемся к судну. Теперь надо будет прислать им эти куртки и шланги.

— И комбинезоны.

— Комбинезоны у них еще есть, обойдутся.

Природа не боится пустоты...

Песня

Грачи прилетели
На этой неделе.
В холодном апреле
Все так невпопад.
Отпели капели,
Мы жить захотели,
Взлететь не успели,
А птицы летят,
Поют и воркуют,
А люди тоскуют,
Что песню такую
Пропеть лишь хотят,
А птицы летят,
А птицы летят,
О, как они пели!..
Не ждите апреля,
Вставайте, не спите,
Тогда вы взлетите
В жару, в снегопад,
И пусть говорят:
Вот люди летят,
Как птицы летят.

* * *

Был самый первый мой урок
Такой большой, как сена стог,
Такой убогенький и маленький
Лежал старушкой на завалинке.

* * *

Я знать не мог,
Как и никто заранее,

Прощаясь до свидания,
Разлуки срок.

* * *

Душа обязана трудиться! —
Так завещал нам Пастернак,
Но вольная душа как птица
Трудом не может жить никак.
Грустит она в работе тесной,
Как песня в нотах, свет — в руках,
Она, блуждая, ищет место
В свободном мире, в небесах.
Летит она, творит, играя...
Мне нравится душа такая.

* * *

Природа не боится пустоты.
К несчастью, нет и на нее
запрета...
И страшно мне, что скорость
темноты
Такая же всегда, как скорость
света.

Долг

К двухсотлетию великого Поэта

Пушкин должен был казне
Много денег после смерти.
Царь простил, но страшно мне
Без стихов, что в нежном свете
Ни у моря, ни под вишней
Он уж больше не напишет.
Боже правый! Как он мог
Умереть, оставив долг
Слов несказанных ручей
В звуках пламенных речей,
В пламени двухсот свечей?!

* * *

Конец для верности начну с абзаца.
Абзац. Не радуйся, что молод лишь душой.
Абзац. Нет слез, но вот глаза слезятся
От поезда, который вновь ушел.
Мне кажется, что к этому абзацу
Абзац. Приходим медленно, но верно мы.
Абзац. Нет слов, но лишь глаза слезятся.
Абзац. От холода нагрянувшей зимы.



Леонид АВЕРБУХ

И снова несколько ленчиков

Наций великое братство
Длится который уж год.
Главное наше богатство —
Это наш бедный народ...

* * *

Я теперь, наконец, перестал сомневаться
В том (в натуре, ребята, какого рожна?),
Что народу не следует власти бояться,
Власть народного гнева бояться должна...

* * *

Понять друг друга трудно нам, тем паче,
Что четкости нам всем порой недостает:
Мы понимаем указания иначе,
Чем тот, кто эти указания дает...

* * *

Тщится в буднях трудовых народ.
Грешник падший грезит индульгенцией.
Падает вниз маслом бутерброд,
А культура — вниз интеллигенцией...

* * *

Мы все мотаем жизни срок,
Подчас танцуя и играя.
Одних преследует злой рок,
Других — попса, и тоже — злая...

* * *

Незачем толочь нам воду в ступке,
Мямлить нудно, долго и старательно.
Афоризм подобен мини-юбке —
Коротко и очень привлекательно...

* * *

Если стремитесь натужно
Вы долгожителем стать —
Предков своих тогда нужно
Тщательнее выбирать...

* * *

Одни часы имеешь — знаешь время точно,
А если в доме несколько часов —
Уже ты не уверен, и у встречных срочно
— Который час? — ты спрашивать готов...

* * *

Дай Б-г, чтобы духу хватило
В жизни выполнить все, что возможно,
Ведь слабость — огромная сила,
И справиться с ней очень сложно...

* * *

Любовь или привязанность?
Пойми, покуда жив.
Брак — право и обязанность,
Ну, а любовь — порыв...

* * *

Секс и работа полезны здоровью,
Но не могу умолчать вот о чем:
Лучше трудом заниматься с любовью,
Чем заниматься любовью — с трудом...

* * *

Хотите женщину? Дерзайте вдохновенно;
Рискните провести эксперимент:
Вы ей скажите, что вы — импотент,
Она проверит это непременно...

* * *

Специалист что сделать в жизни может?
Свою занять положенную нишу.
Чем кровельщик и психиатр похожи?
Тем, что поехавшую чинят крышу...

* * *

Был вынослив, как слон, и упрям, как осел,
Сохранить интеллект свой пытался усиленно.
Время сгладить способно практически все,
В том числе, как ни жаль, мозговые извилины...

Владимир ТРУХНИН, Ирина ПОЛТОРАК

"Городок" — пятый угол!

О домашних животных

Муж и жена в квартире. Рядом козел.

МУЖ. Всё! Я не могу этого больше терпеть! Когда я соглашался, чтобы твой отец переехал к нам из деревни, ты не сказала, что он будет жить у нас со своим козлом!

ЖЕНА. Ну чем он тебе мешает? Он хорошенький.

МУЖ. Я еще понимаю — коза! Коза приносит молоко. Но для меня вопрос: зачем тебе в доме козел? Это бесполезное тупое животное, от которого нет никакой пользы!

ЖЕНА. Ты знаешь, и я задаю себе этот вопрос уже лет двадцать. На! (*Протягивает ему деньги.*) Принеси хотя бы молоко.

От аптеки до больницы — один шаг

* * *

В аптеке скромно одетый старик протягивает рецепт аптекарю.

АПТЕКАРЬ (*смотрит рецепт*)**.** Отец, кто вам это выписал?

СТАРИК. Доктор.

АПТЕКАРЬ. Он сумасшедший, этот ваш доктор.

СТАРИК. Ну, зачем вы так. Такой заботливый молодой человек, только институт закончил, еще не забыл, чему его учили. Сказал, что это лекарство мне нужно обязательно, чтобы не было инфаркта.

АПТЕКАРЬ. А он сказал вам, что оно стоит десять тысяч рублей?

СТАРИК. Сколько?! Ой... (*Хватается за сердце.*) Кажется, инфаркт... (*Повисает на стойке.*) Точно — инфаркт. Ой-ой-ой...

АПТЕКАРЬ. Не надо так расстраиваться! Зато от инфаркта у нас есть всего за триста!

* * *

В больницу приходит блондинка. Она под руку приводит мужика пришибленного вида. Блондинка останавливает проходящего мимо врача. Он явно торопится.

БЛОНДИНКА. Доктор! Тут такое дело... Вот, значит, случилось такое.

ВРАЧ. Ну, говорите быстрей — я тороплюсь.

БЛОНДИНКА. Значит, вот, это в прошлом году случилось, так я решила, вот, в больницу...

ВРАЧ. Быстрей! Что случилось?

БЛОНДИНКА. Мы с мужем гуляли, значит. Мы любим гулять на свежем воздухе. Пройтись, знаете...

ВРАЧ. Быстрей, прошу вас!

БЛОНДИНКА. И моему мужу на голову упал кирпич. И он уже год молчит.

ВРАЧ. Уже год?! И вы только сейчас пришли? А вам не упал на голову кирпич?

БЛОНДИНКА (*встревоженно*). А что, у меня что-то с прической?

ВРАЧ. Так, ладно. Стойте здесь. Сейчас подойдет санитар — он вас проводит, я потом подойду. Скажете ему — сотрясение мозга.

БЛОНДИНКА. Сотрясение чего?

ВРАЧ. Мозга! Мозга, понимаете? Мозга! Не понимаете? (*Стучит по голове ее мужу, потом ей — одинаковый гулкий звук.*) Х-м... (*Еще раз стучит и прислушивается.*) Ладно, про мозг не говорите, скажете "сотрясение" — и всё!

Для вас, экологи

* * *

За столиком ресторана пьяненький инспектор природоохраны. Подходит официант.

ОФИЦИАНТ. Добро пожаловать в ресторан "Русский лес"! (*Подает меню, клиент листает.*)

ИНСПЕКТОР. Дикий кабан есть?

ОФИЦИАНТ. К сожалению, дикого кабана нет. Кончился.

ИНСПЕКТОР. Нет кабанчика? Ай-яй-яй... А заяц?

ОФИЦИАНТ. И зайца нет. Тоже кончился. Мне очень жаль.

ИСПЕКТОР. Зайчика тоже нет? Нет серенького? Так... А вот дикая утка?

ОФИЦИАНТ. Дикой утки тоже нет. К моему прискорбию.

ИНСПЕКТОР. И уточки нет?! Да что ж это такое... Ну хорошо. А хотя бы тетерев есть?

ОФИЦИАНТ. И тетерев кончился.

ИНСПЕКТОР. И тетерев тоже кончился? Да что вы? Просто ужас какой-то... (*Достает мобильник, набирает.*) Управление природоохраны? Это инспектор Петров. Экстренное сообщение! В "Русском лесу" экологическая катастрофа! Все погибли! Все...

* * *

Утро в тайге. У особнячка стоит местный егерь-нацмен. К нему выходит, зевая, столичный чиновник со спиннингом.

ЧИНОВНИК. Доброе утро! Еле встал так рано... Вчера на вашем знаменитом целлюлозном комбинате трехлетний юбилей отмечали, ну и по традиции...

ЕГЕРЬ. Традиция — это хоросо! А еще наса традиция — по утрам возить гостей на рыбалку, однако.

ЧИНОВНИК. И прекрасно! Я заядлый рыбак. Мне говорили, что у вас тут рыба крупная водится.

ЕГЕРЬ. Как комбината открыли, у нас с каздым годом вся зивность все крупней становится, однако. Огромная просто!

ЧИНОВНИК. Да ладно тебе — огромная. Любят рыбаки приврать... (*Широко расставляет руки.*) Вот такая вот, да? Ха-ха!

ЕГЕРЬ. Вот да-да, вот именно вот такая. В ширину. Оценно больсая рыба, однако.

ЧИНОВНИК. Брехня это все! Знаю я вас. А чего мы ждем?

ЕГЕРЬ. Сейцяс масинка придет — и поедем.

Из-за угла выезжает экскаватор.

ЕГЕРЬ. Всё, присёл экскаватора, мозно ехать.

ЧИНОВНИК. А зачем нам на рыбалке экскаватор?

ЕГЕРЬ. А червей накопать для насей рыбы... Поехали, однако!

Сказочки нашего Городка

На пляже в шезлонге сидит мужчина и читает сыну сказку.

МУЖЧИНА. "... И останутся на бреге, в чешуе, как жар горя, тридцать три богатыря".

СЫН. Папа! Папа! Я хочу пи-пи!

МУЖЧИНА (*оглядывается по сторонам*)**.** М-да... Туалета здесь я не вижу. А ты иди просто в море, покупайся, ну и все такое...

Мальчик убегает в море. Мужчина снова заглядывает в книжку.

МУЖЧИНА (*себе*)**.** Так... Надо отметить, на чем мы остановились. "...Все красавцы молодые, великаны удалые, все равны, как на подбор, с ними дядька Черномор".

Мужчина отрывает взгляд от книги, смотрит в сторону моря, и у него падает челюсть. Из воды выходят 33 богатыря и дядька Черномор. Богатыри скрываются в кустах, а Черномора мужчина останавливает вопросом.

МУЖЧИНА. Простите, а вы кто?

ЧЕРНОМОР. Там же у тебя написано: "С ними дядька Черномор". Извини, тороплюсь!

МУЖЧИНА. Погодите! Эх, жаль, сын не видит!

ЧЕРНОМОР. Не-не-не! Я ждать не могу! Нам у вас дышать нечем!

МУЖЧИНА. А зачем же вы все вообще на берег ходите?

ЧЕРНОМОР. Да, в общем-то, за тем же, за чем вы все в море ходите... (*И бегом бежит вслед за богатырями.*)

Переходим к другим новостям

Милицейская хроника

В последнее время во многих городах появились серийные убийцы. Они убивают своих жен, когда те смотрят сериалы.

Из северной столицы сообщают

На судоверфях Санкт-Петербурга заложили три новых военных корабля из серии "Герои России". Они будут называться "Адмирал Ушаков", "Маршал Конев" и "Штандартенфюрер Штирлиц".

Новости шоу-бизнеса

На конкурсе поп-звезд победила попа певицы Клавы Ручкиной. Она заняла первые три места.

Новости сельского хозяйства

Как доказали работники молочной фермы "Млечный путь" Гореловского района Удоевской области, импортная корова голландской породы может давать в день не только 10-12 литров молока, но и 5 литров, а иногда даже 3.

Новости науки

Нашими учеными раскрыт секрет останкинской колбасы. Пользуясь методом профессора Герасимова, удалось установить, как она выглядела при жизни.



Феликс КОХРИХТ

...Шумит, бежит Гвадалквивир...



Аллея скульптур Сальвадора Дали в Марбелье

"Ночной зефир струит эфир..." — напевала моя тогда еще молодая мама, приводя меня в изумление. Начитанный мальчик, я, тем не менее, знал значения лишь глаголов, а существительные оставались загадкой... Став постарше, узнал и про легкий ветерок, и про эфемерное его дуновение, и про то, что Гвадалквивир — река Испании, воспетая Пушкиным, который в этой стране и вообще за границами Российской империи (если не считать спорного кавказского Эрзрума) не бывал. Не пустили...

Гвадалквивир протекает по одной из земель Испании — Андалусии.

Если бы она дала миру только фламенко, корриду и херес — и этого было бы достаточно, для того чтобы стремиться сюда, на Юг Испании, с юных лет, когда впервые были прочитаны стихи Лорки и романы Хемингуэя. Терпкое белое вино со "скачущим" для нашего уха ударением мне удалось попробовать лишь в зрелые годы и убедиться, что нужно пить его на родине напитка — в одноименном андалусийском городе...

Если говорить о корриде, то задолго до поэта Федерико Гарсиа Лорки ее воспел художник Франсиско Гойя. В начале 18-го века он был пленен и околдован искусством тореро Педро Ромеро и Пепе Хилло, уроженцев горной Ронды, древнего города, словно разрубленного пополам ударом гигантского меча. Над пропастью перекинут мост, ведущий к первой в истории арене, где бой быков превратился из кровавого единоборства человека и зверя в ритуальное Действо, но и в Спектакль со своей строгой драматургией.

В Музее корриды мы видели эстампы Гойи и костюмы его героев, удивившие мальчиковыми размерами камзолов, панталон, туфель... Легендарные испанские мастера тавромахии обладали маленьким ростом (как и древние минойцы с острова Крит, где зародилось искусство игр человека с быком), но могучим духом и отвагой. Но шпаги в руках малышей-то-

реро были "взрослыми", и сегодня поражают своими размерами и смертоносным "оскалом". Но куда внушительнее и страшнее выглядят головы и рога сраженных ими быков. По-моему, нынешние — значительно меньше, а вот красавцы тореро — крупнее...

Я не поклонник боя быков, но все же, стоя в центре арены, залитой палящим солнцем, кажется, все же что-то понял в характере испанцев, бросающих вызов опасному противнику, бескрайнему, неведомому пространству, беспощадному Року... Их храбрость, неукротимость, целеустремленность, зачастую граничащие с жесткостью, верность избранным идеалам — все это проявляется на протяжении веков. И в годы Реконкисты, когда войска королей Фердинанда и Изабеллы отвоевали страну у мавров, веками правивших ею, и в эпоху Конкисты — открытия Колумбом Америки и завоевания Нового Света, и в 20-м веке— в братоубийственной гражданской войне 1936-1939 годов, с которой неразрывно связаны судьбы и Лорки, и Хемингуэя, и миллионов людей разных национальностей, втянутых в этот первый масштабный конфликт между фашизмом и демократией.

Уроженец Гранады, Лорка не был коммунистом, скорее — интеллигентом-либералом, не терпящим грубости и чванства военщины, да еще с фашистским душком. Франкисты расстреляли его в августе 1936-го.

Мы поднялись на крепостные стены мавританского чуда — Альгамбры — спустя 70 лет, чтобы убедиться в гениальности поэта, воспевшего Гранаду: "Забыть ли тебя, мой город! В тоске о морской прохладе ты спишь, разметав по камню не знавшие гребня пряди...".



Памятник Дон Жуану в Севилье

"От Севильи до Гранады..." Помню, как в детстве находил на карте названия этих городов, думая, что на дороге между ними, на склонах Сьерра-Невады, в постоялых дворах и королевских дворцах, действительно "в тихом сумраке ночей раздаются серенады, раздается звон мечей". Многие мои сверстники, начитавшись мистификаций А.К. Толстого про эти самые "мечи", стихов Пушкина, романа Сервантеса, пьес Лопе де Веги, новелл Мериме, представляли себе Испанию именно такой...

Впрочем, почти такой мы увидели Севилью — современный миллионный полис, где можно побывать в доме Дон Жуана, увидеть здание табачной фабрики — место работы роковой Кармен. А вот тюрьма, где Сервантес начинал сочинять роман про Дон Кихота, не сохранилась... В огромном соборе — гробница Колумба, начинавшего из Севильи свое великое плаванье...

И в Севилье, и в Гранаде, и в Кордове — по всей Южной Испании, включая Каталонию, с 10-го века жили евреи, пять столетий занимавшие видные места при дворах и мавританских султанов, и христианских королей. Они были искусными дипломатами, не раз "перетиравшими" конфликтные ситуации, банкирами, ссужавшими обе стороны, купцами, торговцами, врачами, алхимиками и химиками... Весом вклад иудейской этики, ментальности и мировоззрения в литературу и философию Испании. В Кордове установлен памятник великому философу Маймониду, который, несмотря на свой авторитет и заслуги, должен был бежать в Египет а вместе с ним — все 200 тысяч испанских евреев-сефардов... Случилось это в конце 15-го века, когда распоясалась Инквизиция, сокрушенная лишь Наполеоном, — почти четыре столетия спустя...

И сегодня, в 21 веке, в Андалусии ощущается своеобразие сплава архитектуры, искусства, культуры, кухни разных цивилизаций, родившихся и угасших в этих местах. Да и в характере граждан Испании, среди предков которых были представители многих рас и этносов... Наш друг, родившийся в Одессе, а ныне — известный испанский архитектор Маноло Нуньес-Яновский (отец — республиканец из Барселоны, мать — одесская студентка) полагает, что в жилах каждого испанца есть капля и мавританской, и еврейской крови.

Может быть, поэтому я чувствовал себя как дома и в переулках старой Гранады, и на широких проспектах современной Севильи, и в трактире горного Михаса, и в курортных городках Коста-дель-Соль — Берега Солнца, откуда до Африки рукой подать, скажем, до марокканского Танжера, а за соседним Гибралтаром — Атлантика...

Об этом — строки рифмованного путевого дневника и фотографии, на которых нет Гвадалквивира. Река со столь звучным названием, увы, ничем не примечательна, особенно в знойные летние месяцы, когда становится мелководной, и даже странно, что когда-то по ней из Севильи в Кадис плыли каравеллы Колумба...

От Севильи до Гранады…

В Севилье чары мавританских колдунов
воззвать способны из литературных снов
с табачной фабрики строптивую девчонку,
идальго славного со шпагой звонкой.
Кармен и Дон Жуан!
Каков роман!

* * *

В день рождения пращура —
под колокольный звон —
к его гробнице приходит
адмирал испанского флота
дон Кристобаль Колон.

* * *

Мелькнет в толпе знакомое лицо...
Носик с горбинкой, точена губа...
— Батюшки! Это-то кто?
Неужто, блин, Альба?

* * *

Там, где Кармен вертела
сигары на бедре своем грешном,
долбят Мериме студиозусы
университета здешнего.

* * *

Пытают инквизиторы еврея — стараются, пыхтят, потеют...
А тот, терпеть уж силы не имея, коммерческою с ними делится идеей:
"Меняю ваш сапог испанский — с доплатой —
на сапог италианский..."

* * *

Альгамбра!
Бриллиантов амбары!
Султанского быта аксессуары!
Огромное количество тантрической еды!
Адские гаремы.
И райские сады.

* * *

В горных селеньях Гранады — уж точно —
Нет ни супермаркетов, ни торговых точек.
Творог, сметану и молоко развозит здесь Тевье-молочник.
Ему помогает всегда и во всем еврейский покладистый ослик.

* * *

Вот в Кордове воровка на доверии
романс поет — все об испанской жандармерии...

* * *

"Колоколам Кордовы
зорька рада.
В колокола звонкие
бьет Гранада..."
Здесь — малая родина Лорки,
а мы все талдычим Светлова
из пионерского часослова:
"И губы шептали: Грена..."
А может быть, больше не на...

Но пропасть бездонна!

* * *

Первые тореро — мужички из Ронды,
с улыбкою загадочной давинчьевой Мадонны.
Стройные паяцыки, гойевские мальчики —
фарфоровые пальчики.

Их камзолы и штиблеты
пришлись бы впору нашим детям...
А быки — всегда огромны:
даже на трибуне — стремно...
За тройным кордоном, за крепким забором,
я пою куплеты про Тореадора!

* * *

Волшебный пейзаж, киношный пейзаж.
Для фентези дивный готов антураж.
Но Ронда — не лента из фильмофонда.
И пропасть — бездонна, любезные доны...

* * *

Синьоры!
Да будьте же донами!
Скиньтесь по еврику иль хоть по рублю!
Трубы горят!
Если откажете, буду жаловаться королю!

* * *

Испанец испанца встречает
приветливым вскриком: "Hola!"
И делают вид, что оба не знают:
Хуан во дворце живет-поживает,
Рауль же — босяк — ни двора, ни кола...

Ах! Какое было лето!

Коста-дель-Соль!
Море Средиземное
здесь производит соль...
На крышах дремлют аисты...
Похлебки здесь наваристы —
ядреная фасоль...
Здесь Карменситы ласковы.
Стервозная Ассоль.

* * *

В порту андалусийском
на яхте — триколор российский.
По закоулкам бухты возит
нас головастый паровозик.
Шныряют рыбки у причала,
как будто в море места мало.
В Одессе б плавали недолго,
вмиг оказавшись на Привозе...

* * *

На пляже в Марбелье старый еврей
украдкой пасет табунок Дульсиней...
На катере мчится морская пехота:
Шестнадцать бравых Санчо Панс —
и ни одного, синьоры, Дон Кихота!

* * *

Миллиардеры вытащили бонус —
швартуют яхты в Порто-Банус,
но знал еще Сервантес,
что Фортуна — девка,
внезапно нам показывает анус...

* * *

Забыв приличья
и жены запреты,
горланю канто-хондо я!
Бью в кастаньеты!

* * *

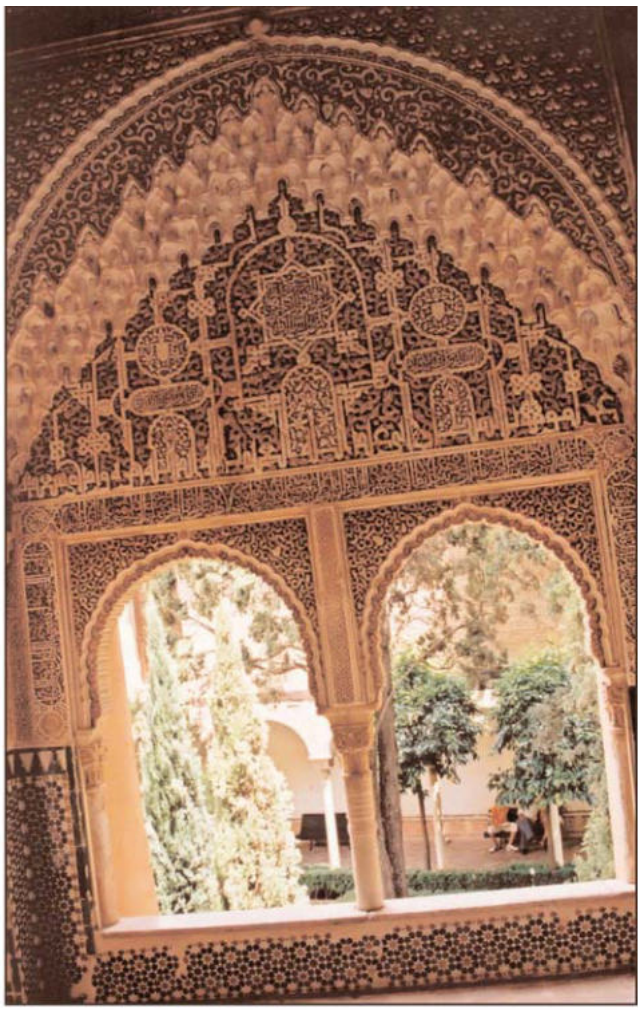
Какая боль!
Какая боль!
Остаться без денег
на Коста-дель-Соль!

* * *

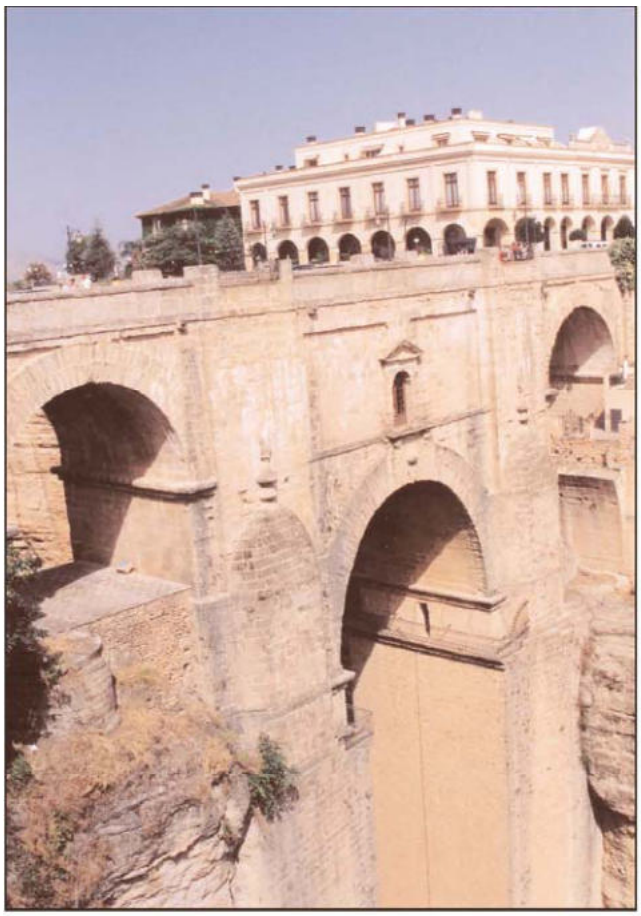
Ах, какое было лето!
Херес, Кармен и кастаньеты!

Фото автора и Татьяны ВЕРБИЦКОЙ



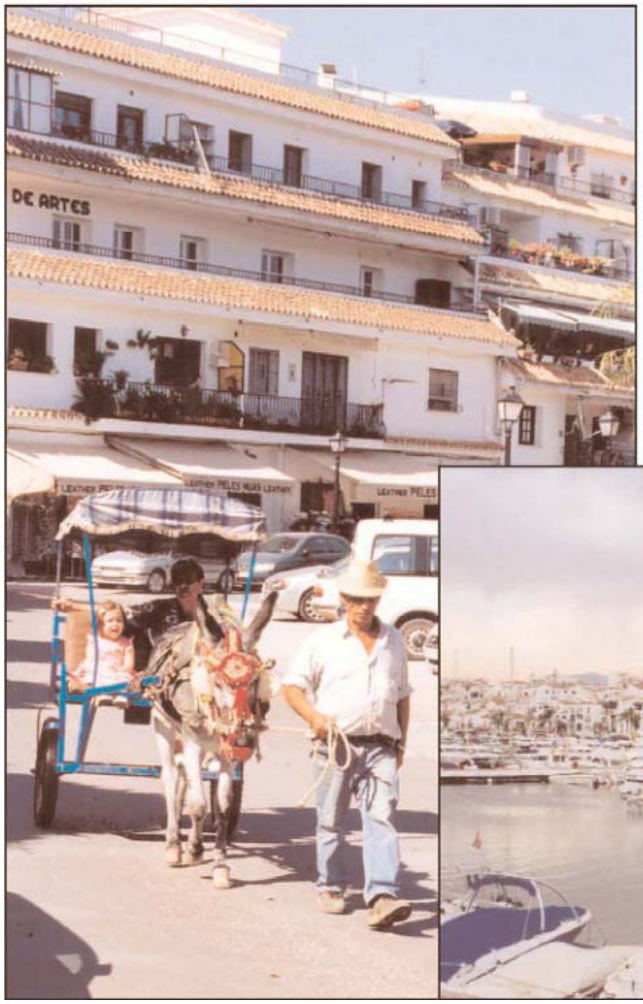


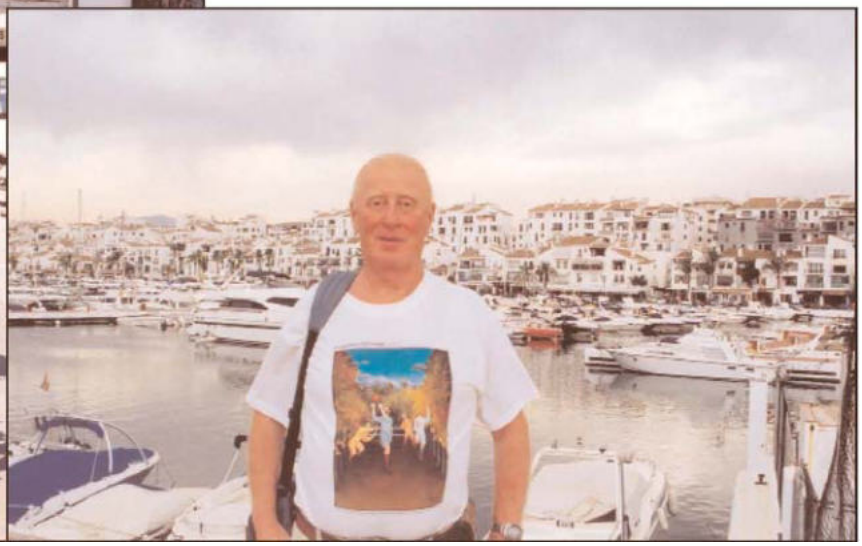









DE ARTES



Энциклопедия, стихи, пародии



С.Р. ГРИНЕВЕЦКИЙ, И.С. ЗОНИН, С.С. ЖИЛЬЦОВ
"Черноморская энциклопедия"
Москва, Международные отношения, 2006

Илья Ильф чтению романов предпочитал чтение энциклопедий. Думаю, и этот фолиант он бы поставил на свою книжную полку. Вас интересуют все ветра, дующие над Понтом Эвксинским, вас интересует берег турецкий, а может быть, экологическая ситуация в различных странах, выходящих к морским просторам... И еще на сотни вопросов ответит эта региональная энциклопедия, впервые обобщившая историю и географию, науки и искусство, биографии великих мореплавателей и государственных мужей, причастных к освоению побережья и моря.

Конечно, в ней немало места отведено Одесской области. Думается, в этом заслуга, прежде всего, С.Р. Гриневецкого. Энциклопедию можно и нужно расширять, дополнять, уточнять. К примеру, из мало достоверных источников сюда перекочевала литовская крепость Качибей, построенная Витовтом и давшая основание Хаджибею. К счастью, таких недоразумений немного. Они легко могут быть устранены. А сейчас авторы собираются приняться за "Энциклопедию Придунавья".



Виталий АМУРСКИЙ
Трамвай А
Москва, МИК, 2006

Прежде всего, поздравляем члена нашего редакционного совета, живущего в Париже, Виталия Амурского с выходом в Москве превосходной книги стихов.

Тонкие, изящные, я бы сказал, элегантные, они свидетельствуют о глубокой погруженности в русскую культуру — не только в серебряный век, но и в наш, "железный". Но это не рациональное осмысление фактов, а глубоко прочувствованная чувственная боль об ушедшей Москве, радость и горесть истинного поэта, для которого любой человеческий жест, жест природы — повод для ассоциаций.

Вот, к примеру, самое крошечное стихотворение из этого сборника:

Сам рисует карандаш
Милой родины пейзаж:
На окне бутылка,
За окном — Бутырка.



Семен ЛИВШИН
Дама с собачкой Баскервилей
Москва, Зебра Е, 2006

Всегда считал, что в прозаической пародии и после смерти А. Архангельского Семену Лившину нет равных. И подтверждением тому для меня послужило предисловие Аркадия Арканова, из которого цитирую три строки: "Я с удовольствием слежу за тем, как шлифуется дар Лившина-пародиста. Пожалуй, сегодня он лучший в этом жанре".

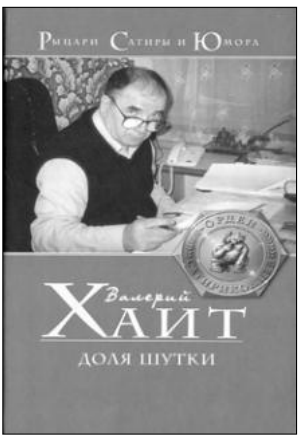
Представлять одесситам среднего и старшего поколения С. Лившина нет нужды. Но младшее не знает, как много значили для города рейды "Вечерней Одессы", осуществленные Лившиным, его фельетоны, пародии. Думаю, в классику уже вошли "Дерибасовская угол Елисейских полей" (подражание В. Катаеву), "К норд-осту от зюйд-веста" (подражание В. Конецкому), "Ихнее сиятельство Митяй" (подражание В. Пикулю). Убежден, что и новые пародии, а их в книге большинство, надолго запомнятся читателю. Как, к примеру, пародия-памфлет "Двести лет, как жизни нет" (подражание А. Солженицыну).

Так что, и живя в далеком Сан-Диего (США), можно любить и пропагандировать или пародировать русскую литературу.

Евгений ГОЛУБОВСКИЙ

Иду в долю!

Каких только рыцарских орденов не учреждали на протяжении столетий монархи, князья церкви, члены тайных обществ... Казалось, что в третьем тысячелетии эта тенденция пошла на спад, но недавно родился еще один — "Орден Сатириконцев", учрежденный в честь некогда выходившего блистательного юмористического журнала. Среди его авторов — и на-



ши земляки, чьи смешные и остроумные произведения спустя много-много лет были опубликованы в толстенном томе "Одесский юмор", ставшем украшением серии "Сатира и юмор России XX века" (Москва, издательство "Эксмо"). Его составитель, Валерий Хаит, считает эту работу, пожалуй, самой значительной и ответственной в своей жизни.

Ему есть с чем сравнивать. Сорок лет назад Валерий возглавил первую сборную КВН Одессы, ставшую чемпионом СССР, а двадцать лет спустя, в 1986-м, знаменитые "Одесские джентльмены" повторили этот успех, опять же под его водительством. Будучи в 1966-м членом команды, сражавшейся с московским мединым (капитан — Мотя Левентон), я на конкурсе "Реклама" экспромтом провозгласил: "Меняю два "Фиата" на одного Хаита!" — и сегодня могу это повторить.

Аккурат к юбилею дважды Капитана, ныне главного редактора дружественного нашему альманаху журнала "Фонтан", в том же московском издательстве вышла его очередная книга "Доля шутки". Название следует из эпиграфа, предпосланного автором: "В каждой шутке — только доля шутки. Остальное — правда...". Предположение это принадлежит неизвестному одесситу, и было услышано и записано В.И. Хаитом на одной из улиц Южной Пальмиры.

Лучшее из услышанного от родственников, друзей, коллег по юмористическому цеху, соседей, попутчиков вошло в сборник, украшенный на обложке звездой "Ордена Сатириконцев", без сомнения, Первой степени. Следует отметить, что самые смачные реплики принадлежат, на мой взгляд, его супруге Юле. Впрочем, у каждого читателя есть возможность сравнить и сделать свой выбор в пользу, скажем, Олега Школьника, Юрия Михайлика, Михаила Пойзнера, новоселов Брайтон-Бич или старожилов Привоза...

Я же с удовольствием иду в долю с Валерием Хаитом, соглашаясь с мудрым одесситом, заметившим: "Чтобы борщ получился, ему нужно полностью отдаться!". Уверен, этот рецепт справедлив для всех случаев жизни, в том числе и для тех, кто собирается писать книгу. Тем более — шутливую.

Феликс КОХРИХТ

Забытые и знаменитые



Владимир КРИШТОПЕНКО
Поэзия
Одесса, Астропринт, 2006

Одесский Дом-музей Н.К. Рериха выпустил книгу стихов недавно ушедшего художника Владимира Криштопенко. Его живопись и графика были всегда поэтичны. Книги, а он писал именно циклами, книгами, составлял для себя, своих самых близких друзей. Оказалось, что в них так много мудрости, что она нужна всем. Спасибо руководителю Дома-музея Елене Григорьевне Петренко, что она подарила городу этот томик, где удачно сопрягаются рисунки художника и стихи поэта.



Валерий БАРАНОВСКИЙ
Маленькие романы
Одесса, Круг, 2006

Журналиста, киноведа, критика, публициста одесская читающая публика знает давно. С его прозой знакомится впервые, хоть писал рассказы (романы) Валерий Барановский много лет. А это значит, что книга состоялась. Мне почти до спазм в горле понравился "Мой маленький дядюшка". Думаю, каждый в этой книге найдет свой роман, узнает себя в героях.



Алена ЯВОРСКАЯ
Забытые и знаменитые
Одесса, Optimum, 2006

Прежде всего, хочу поблагодарить издателей Б. Эйдельмана и А. Таубеншляка, собравших статьи Алены Яворской под одну обложку. Как много бы ни писали об одесской школе, лакуны остаются. В какой-то мере их заполняет и эта книга, особенно тогда, когда автор выступает не как популяризатор, а как исследователь. На книжной полке "Одессики" появилась еще одна нужная книга.

Евгений ГОЛУБОВСКИЙ

"Вместе с ними"



Так называется маленькая изящная книга старейших одесских библиофилов и краеведов Ольги Юдовны Ноткиной и Виктора Семеновича Фельдмана — истинных одесситов, которых по праву именуют совестью нашего города. Говоря о них, очень не хочется прибегать к пафосу и патетике, однако именно такие люди составляют "теин в чаю, букет в благородном вине", некий тонизирующий Одессу эликсир, формируют неповторимые, аутентичные ее черты. Это благородные лица "раньшего времени", и хорошо бы нам писать свои собственные сущностные портреты с подобных эталонных образцов.

"Вместе с ними" — сборник лаконичных, эскизных зарисовок, фрагменты мемуаров, отображающих избранные персоналии. "Мы, уходя из жизни, — пишут авторы во введении, — остались самыми пожилыми сотрудниками библиотеки (Научной библиотеки Одесского национального университета имени И.И. Мечникова. — **О. Г.**). Мы благодарны многим,

с кем общались, кто внес свою лепту в процветание библиотеки, и мы на правах еще сохранившихся преклонного возраста сотрудников решили в силу наших скромных возможностей оставить о них память, как об ушедших, так и о живущих".

"Уходя из жизни..." — как много мужества, самоиронии и здравого смысла надо для примирения с собственной биографией, вписанной в абсолютно независимый исторический контекст — агрессивный, тревожный, непредсказуемо подлый и пошлый. Здесь видится лишь два варианта прочтения: апеллировать к наличествующему контексту, списывать на него все свои неудачи, вынужденные поступки и проступки, разнообразную несостоятельность, или же мудро принимать все так, как оно есть, выискивая и согревая сердцем лишь позитивное. Этот второй подход как будто очевиден и, тем не менее, категория "позитивистов" катастрофически уступает в численности "негативистам". В.С. Фельдман и О.Ю. Ноткина — из редких бескорыстных искателей и дарителей добра, освоивших несложную, в общем-то, практику его приумножения. Отсюда следует, что хороших людей следует не только жаловать при жизни, но и продлевать после ухода из нее.

Благодарная память — жанр сохранения и приумножения добра. Трогательные зарисовки авторов воскрешают к жизни их коллег и друзей: Л.К. Брун, Т.М. Гольд, А.В. Захарову (Можаровскую), Л.Е. Кандидова, В.И. Литовченко, А.А. Мышакова, Н.В. Павлюка, А.К. Папаспираки, Ф.Е. Петруня, Э.В. Пилипчук, М.В. Рапопорт. Вперемежку — портреты представителей следующих генераций достойных библиографов, замечательных людей, дорогих и близких Ольге Юдовне и Виктору Семеновичу: Э.В. Мартыновской, Л.И. Побочной, М.А. Подрезовой, Е.В. Полевщиковой, Е.В. Савельевой, В.В. Самодуровой.

Прямолинейные, бесхитростные, безыскусственные впечатления и наблюдения, никакой литературщины, претензий, морализаторства, старческого брюзжания, искренняя доверительная интонация. Во многих очерках — удивительно меткие наблюдения, одним штрихом, незначительным как бы эпизодом, диалогом, случайно подхваченной фразой исчерпывающе, рельефно отражающие сущность того или иного персонажа. "Напуганная жизнью" — о Т.М. Гольд, "Що це за самостійність?" — о Н.А. Савчуке, "Теперь я знаю, почему ты такой хитрый..." — о И.М. Коляде, "Ей благодарен весь кошачий мир без ПМЖ на Преображенской, 24..." — о Е.В. Савельевой и т. п. Превосходно!

Какие, в самом деле, светлые, но примелькавшиеся лица окружают нас

в повседневной текучке! Как говорится, опасная для зренья близость. Обидное обесцвечиванье и обесценивание. Чего тогда стоят и наши с вами эксклюзивные судьбы... Разумеется, шедевры предпочтительнее рассматривать в Лувре и Эрмитаже. Впрочем, дворцов с грановитыми палатами на всех не хватает. А потому — научиться бы "пользоваться" друг другом, научиться бы пользовать (пользовать — устаревшее *лечить*, *врачевать*) друг друга. Хорошие люди не должны обесцениваться, им надлежит расти в цене. Когда это поймут — пусть не все, но многие, — тогда, вероятно, жизнь станет менее подлой, менее пошлой и менее агрессивной. А "Вместе с ними" — маленькая книжка с огромным потенциалом — приближает это время.

Олег ГУБАРЬ

Корабли Михаила Пойзнера



Передо мной книжка о море и моряках, об Одессе и одесситах. Книжка не совсем обычная.

Автор ее Михаил Пойзнер известен как морской гидротехник, как знаток и ценитель старой Одессы. Знаменательно, что именно Михаил Борисович, человек не случайный в морской отрасли, оказался небезразличным к нашей морской истории.

События, описываемые в его книге, хотя и находятся не на такой значительной исторической дистанции, но, по правде сказать, забыты, мало изучены и абсолютно неизвестны молодому поколению.

А ведь еще совсем недавно этими событиями, я имею в виду захват танкера "Туапсе" и трагедию "Умани", жил весь огромный Советский Союз. Не говоря уже об Одессе. Тогда, как никогда раньше, стало ясно, что Одесса — это морской город. Город, где каждому жителю есть дело "до морских дел". Когда море — это дом родной...

В этой цепочке несколько обособленно стоит подвиг ледокола "А. Сибиряков" в годы второй мировой войны. Тем не менее, нельзя забывать и эту страницу истории. Как говорится, война учит...

Я очень хорошо помню события вокруг захвата чанкайшистами танке-

ра "Туапсе". В те годы я уже работал старшим инженером службы портов ЧМП. И даже должен был получить квартиру в нашем доме в Одессе, на ул. Ленина, 7. Но... ряд квартир предоставили морякам, возвращающимся с "Туапсе".

Обстановка в пароходстве тех лет была тревожной — такие эпизоды в нашей практике ранее никогда не имели места. Разбой и пиратство! Вместе с тем была слабая информация: что же там происходило с нашими людьми? Может быть, для "высоких эшелонов власти" все было ясно, но основной состав пароходства недоумевал.

И уже потом пришлось работать с бывшими "туапсинцами".

Жаль, что оставшихся в живых героев-"туапсинцев" Одесса потихоньку забыла... А вот М.Б. Пойзнер напомнил. Напомнил обстоятельно и глубоко, с большим знанием дела.

...Когда затонула "Умань", я был председателем Одесского горисполкома, по-теперешнему мэром Одессы. Для города это был настоящий шок. Утраты невосполнимы. Пароходство замерло... Буквально поднялась вся Одесса! Весь Приморский бульвар и примыкающая Пушкинская, аж до Дерибасовской, были заполнены людьми. Это была скорбь без всякой показухи.

Я хоронил погибших. На кладбище долго продолжался митинг. Выступали многие. Я не мог сдержать слезы. Не мог говорить... Ведь я знал многих из тех, кто ушел в рейс и не вернулся. Как мэр оказывал посильную помощь их семьям. Горисполком выделил квартиры. Правда, и мы не все могли...

В принципе, специалистам причины гибели "Умани" были понятны, но объяснить это людям было не так просто.

Потом забыли и про "Умань". Материалы, приведенные в книге М.Б. Пойзнера, дают ответы на многие вопросы, касающиеся гибели "Умани".

Работая в середине 60-х годов зам. начальника ЧМП, я лично был знаком с Анатолием Алексеевичем Качаравой — тогдашним начальником Грузинского морского пароходства и, как оказалось, бывшим капитаном "А. Сибирякова". Знал и многих его заместителей, пытавшихся поставить это новое пароходство на ноги. В этой связи, безусловно, интересны факты о бое "А. Сибирякова", малейшие обстоятельства и детали этого события.

Было много несправедливости, было много героизма — на то она и война... А подвиг комиссара "А. Сибирякова" только усиливает и оза-

ряет величие подвига, совершенного его экипажем во имя нашей общей Победы.

Спасибо М.Б. Пойзнеру за одержимость, с которой он шаг за шагом открывал все новые страницы подвига "А. Сибирякова" и его комиссара — З.А. Элимелаха.

Трогательно, как смог автор пронести через всю жизнь преданность детским впечатлениям, которые потом были озвучены и обращены к широкому кругу интересующихся морем и морскими знаковыми событиями.

Поражает кругозор автора, ссылки на первоисточники, настойчивая переписка, глубокий анализ добытых документов. И этот кропотливый труд увенчался успехом. Исключительна сама форма подачи материала. Девизом "факты и только факты" пронизана вся книга.

Особо отмечу: очень четко передана атмосфера, царившая в Одессе во времена захвата "Туапсе" и гибели "Умани". Этому способствуют приведенные монологи непосредственных участников описываемых событий. Может быть, это самые ценные, самые главные свидетельства, — без фальши и приукрашивания.

Зная, как неохотно люди идут на откровенные разговоры (да еще когда это записывается), можно только представить, с какими трудностями пришлось столкнуться автору. Даже не для написания этой книги — для истории мореплавания, для истории Одессы. Для того чтобы, в конце концов, запечатлеть то неоднозначное время — запечатлеть профессионально и объективно.

Несомненно, одним из главных героев книги является Одесса — Одесса во всем ее многообразии людей, характеров, поступков, улиц и жизненных перекрестков.

Сам факт появления таких книг, как "Корабли моей памяти" — факт, который переоценить трудно...

П.А. ЦЮРУПА,
Почетный гражданин города Одессы,
заместитель начальника Черноморского морского пароходства
(1961-1962, 1965-1967, 1970, 1974-1978 гг.),
мэр Одессы (1962-1965 гг.)

Моя Одесса на старых открытках



Вышел объемистый прекрасно изданный том, название которого я сделал заголовком этих заметок, добавив, будучи одесситом в пятом поколении, местоимение "моя". Уверен, тысячи земляков, где бы они сегодня не жили, получили подарок, позволяющий лучше узнать прошлое нашего города, совершить путешествие во времени и увидеть Южную Пальмиру молодой, растущей, процветающей, давшей миру множество выдающихся личностей.

И все это благодаря многолетней деятельности Анатолия Дроздовского, одного из самых авторитетных и уважаемых собирателей свидетельств одесской истории. Том содержит значительную и наиболее интересную часть его уникальной коллекции открыток, изданных в Одессе в 19-м — начале 20-го веков.

Структура издания такова, что мы получили возможность как бы стать адресатами открыток, отправленных когда-то нашими предками во все концы тогдашнего мира. Для своих посланий они выбирали разные сюжеты, и сегодня мы узнаём, как создавались легендарные архитектурные ансамбли, как формировались центр города и его окраины, какие суда швартовались в нашем порту, во что одевались, в какие театры и рестораны ходили наши прадедушки и их подруги...

Перечисление всех разделов издания заняло бы много места, и я отсылаю вас к певоисточнику, который станет лучшим подарком всем, кто любит Одессу и хотел бы побольше узнать о ней.

На презентации в Литературном музее было сказано немало добрых слов в адрес собирателя, его супруги Евы Красновой (автора текста), дизайнера Леонида Брука, типографии "Моряк". Уверен, этот труд станет предметом вдумчивого разговора профессионалов — историков, культурологов, искусствоведов и, разумеется, коллег-собирателей.

Я же с волнением, радостью и некоторой ностальгической грустью нахожу на его страницах изображения домов, где жили мои предки, реалии их жизни, а вот, кажется, и они — такие молодые, веселые, дружелюбные граждане вольного Города, и не предполагающие, что их ждет, что ждет Одессу впереди — в веке-волкодаве, который начинался так беззаботно...

Феликс КОХРИХТ

Содержание

От редакции 3

ИСТОРИЯ, КРАЕВЕДЕНИЕ

Александр ТРЕТЬЯК
Канцлер Александр Воронцов о монопольной компании 6

Роман БРОДАВКО
Иван Ризнич, внук Ризнича 11

Олег ГУБАРЬ
"Одесские катакомбы" 14

Александр КРАЙНИЙ
Дедушка Валериан Михайлович 21

Олег ГУБАРЬ
Как формировался Городской сад? 28

ПРОЗА

Аркадий ЛЬВОВ
Шестой боро Нью-Йорка 47

Сергей РЯДЧЕНКО
Человек в среде культурной 67

Ефим ЯРОШЕВСКИЙ
Главы из повести "Лето и ливни" 82

Норма МАНН
Гестаповна 91

Лилия ИШУТКИНА
Конечная остановка 100

Алена ЯВОРСКАЯ
Кошки и женщины 105

ПОЭЗИЯ

Андрей ПУСТОГАРОВ
Без оглядки 111

Рита БАЛЬМИНА
Мегаполис 116

Татьяна ОРБАТОВА
Жажда жизни 121

Инна РУДИ
"Нам снятся страхи и желанья..." 125

Белла ВЕРНИКОВА
О чем мечтали классики 127

ДРАМАТУРГИЯ

Александр МАРДАНЬ
Антракт 131

ЖИЗНЬ – ИСКУССТВО – ЖИЗНЬ

АТРИБУЦИЯ
Виталий АБРАМОВ
Неизвестное произведение Кандинского 185

Валентин МАКСИМЕНКО
Вспоминая Юрия Дынова: из калейдоскопа памяти 196

Ольга КОТОВА
Думы о творчестве и биографии 205

Ирина КАСАЦКАЯ
"Попечитель, благотворитель, меценат" 208
Публикация Ольги БАРКОВСКОЙ

ЮБИЛЕЙ
Кавалер ордена Одессы 214
Анна ГОЛУБОВСКАЯ
"Как многое переплелось вокруг тебя..." 215

ПУБЛИКАЦИИ

Вера ЗУБАРЕВА
Меж властью "я" и "мы" 218
Мариам ЮЗЕФОВСКАЯ
Бесаме мучо 223

Владимир НИКОЛАЕВ
Пять редакторов 236

НАШИ ПРЕДШЕСТВЕННИКИ

Татьяна ЩУРОВА
"Пусть арфа сломана, аккорд еще рыдает..." 255

АХ, ОДЕССА

Владимир КАТКЕВИЧ
Стукач на судне 263

Олег ЛАВРЕНТЬЕВ
Заказ 283

Григорий РЕДЬКО
Природа не боится пустоты... 288

Леонид АВЕРБУХ
И снова несколько ленчиков 291

Владимир ТРУХНИН, Ирина ПОЛТОРАК
"Городок" — пятый угол! 293

ПУТЕШЕСТВИЕ

Феликс КОХРИХТ
...Шумит, бежит Гвадалквивир... 298

ИЗДАНО В...

Евгений ГОЛУБОВСКИЙ
Энциклопедия, стихи, пародии 306

Феликс КОХРИХТ
Иду в долю! 307

Евгений ГОЛУБОВСКИЙ
Забытые и знаменитые 309

Олег ГУБАРЬ
"Вместе с ними" 310

П.А. ЦЮРУПА
Корабли Михаила Пойзнера 312

Феликс КОХРИХТ
Моя Одесса на старых открытках 315

Литературно-художественное издание

ДЕРИБАСОВСКАЯ — РИШЕЛЬЕВСКАЯ

Одесский альманах

Книга 27

DERIBASOVSKAYA — RISHELIEVSKAYA

Odessa almanac

Book 27

Издается с 2000 года

Технический редактор Андрей Вишненко
Корректор Татьяна Коциевская

Оригинал-макет, верстка
ТИА "Вікна-Одеса"
Тел. 23-13-60

Подписано в печать хх.хх.2006.
Бумага офсетная. Печать офсетная.
Формат 60х84/16
Физ. печ. л. 20,75. Усл. печ. л. 19,2
Зак. № 2. Тираж 500 экз.

www.odessitclub.org

Отпечатано в типографии издательства "ВМВ"
Свидетельство ДК № 225 от 25.12.2000.
65053 Одесса, прт. Добровольского, 82-а
Тел. 52-22-03